

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Учебное пособие

Екатеринбург - 2009

Федеральное агентство по науке и инновациям
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Учебное пособие

Екатеринбург - 2009

УДК 32.019.5(075.8)
ББК Ф06
С 56

С 56 Современная политическая коммуникация: Учебное пособие / Отв. Ред. А.П. Чудинов / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 292 с.
ISBN 978-5-7186-0420-7

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор В.В. Химик
(Санкт-Петербургский государственный университет);
доктор филологических наук, профессор Н.Б. Руженцева
(Уральский государственный педагогический университет).

Пособие адресовано студентам и аспирантам, специализирующимся в области связей с общественностью, политологии, лингвистики и межкультурной коммуникации, социологии, рекламной деятельности, журналистики, государственного и муниципального управления, а также всем, кто интересуется языком политики, методами и приемами речевого воздействия в политической сфере.

Данная книга стала своего рода итогом международной школы молодых ученых «Современная политическая коммуникация», которая была проведена в Екатеринбурге осенью 2009 года в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», финансируемой Федеральным агентством по науке и инновациям. Авторы рассматривают теорию и практику современной политической коммуникации: общие вопросы политической лингвистики, ее понятийно-терминологический аппарат, дискурсивные характеристики и функции политической коммуникации, средства и способы борьбы за политическую власть в процессе коммуникативного воздействия на политическое сознание общества.

УДК 32.019.5(075.8)
ББК Ф06

Издание материалов научной школы осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям (ГК №02.741.11.2094)



© ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ	6
Политическая лингвистика как научная дисциплина	6
Возникновение и основные этапы развития политической лингвистики	9
Основные направления в современной политической лингвистике	17
Понятийный аппарат и терминология политической лингвистики	26
Политическая коммуникация.....	26
Языковая картина политического мира.....	35
Глава 2. ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА, ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ	42
Типовые свойства политической коммуникации	42
Дискурсивные характеристики политической коммуникации.....	58
Функции политической коммуникации.....	64
Глава 3. ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ	72
Политическая лексика и фразеология.....	72
Лексико-стилистические свойства современных политических текстов.....	77
Стилистические фигуры и тропы	84
Интертекстуальность и интерстилевое тонирование текста.....	90

Глава 4. НОМИНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И СЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	97
1. Номинация. Апеллятивы языка политика как свернутые оценочные высказывания	108
2. Категоризация. Парадигматика языка советской действительности как смыслового кода ориентированного (заряженного) языкового сознания	137
Глава 5. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР КАК ИНДИКАТОРЫ СИЛЫ И БЕССИЛИЯ ОБЩЕСТВА	203
Глава 6. ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН	221
Песенный дискурс конца века: Я и Мы-культура. Ликование и печаль	224
Дискурс любви и смерти в песне конца века	232
Лирическая песня как предписывающий дискурс	245
Глава 7. КАУЗАЛЬНАЯ СИЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ...	256
Глава 8. ОКСЮМОРОН ИЛИ НЕДОПОНИМАНИЕ? УНИВЕРСАЛИСТСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО МЕТАЯЗЫКА АННЫ ВЕЖБИЦКОЙ	273

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие стало одним из итогов деятельности международной научной школы молодых ученых «Современная политическая коммуникация», которая была проведена в Екатеринбурге осенью 2009 года в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», финансируемой Федеральным агентством по науке и инновациям.

Книга предназначена для студентов и аспирантов высших учебных заведений, которые овладевают гуманитарными специальностями, в той или иной степени связанными с изучением взаимоотношений языка и общества. К числу этих специальностей относятся «Филология», «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Политология», «Социология», «Рекламная деятельность», «Связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление», «Журналистика».

Основная задача учебного пособия состоит в ознакомлении студентов и аспирантов с теорией и практикой современной политической коммуникации. Поэтому в пособии охарактеризованы основные положения политической лингвистики, рассмотрена история ее возникновения и развития, выявлены типовые свойства политической коммуникации, ее дискурсивные характеристики и функции, описаны ведущие лексико-стилистические средства; проанализирована роль метафоры в политической коммуникации.

Изучение теории и практики политической коммуникации важно для студентов и аспирантов, поскольку будет способствовать лучшему пониманию, анализу и продуцированию (в том числе в процессе перевода на другие языки) соответствующих текстов. Одновременно изучение политической лингвистики поможет студентам лучше понимать происходящие в стране политические процессы, научиться видеть подлинный смысл выступлений политических лидеров и используемые ими способы манипуляции общественным сознанием.

Авторский коллектив данной книги сложился в процессе творческого общения преподавателей научной школы молодежи. Первые три главы данной книги подготовлены профессором Анатолием Чудиновым (Екатеринбург, Россия). Четвертая глава написана профессором Петром Червиньски (Катовице, Польша), пятая и шестая главы – профессором Элеонорой Лассан (Вильнюс, Литва), седьмая – профессором Ричардом Андерсоном (Лос-Анджелес, США), восьмая – профессором Патриком Серио (Лозанна, Швейцария).

Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Прежде чем приступить к изучению любой науки необходимо рассмотреть ее предмет и цели, выделить ее ведущие постулаты. На начальном этапе изучения важно определить место данной науки в общей системе знаний, ее взаимосвязи с другими научными дисциплинами. Не менее полезно рассмотреть причины и историю возникновения соответствующей науки, выявить ее ведущие направления, познакомиться с существующими научными школами и идеями широко известных специалистов.

Политическая лингвистика как научная дисциплина

В последние десятилетия наиболее перспективные научные направления чаще всего возникают в зоне соприкосновения различных областей знания. Одним из таких направлений стала политическая лингвистика, новая для России наука, возникшая на пересечении лингвистики с политологией и учитывающая также достижения этнологии, социальной психологии, социологии и других гуманитарных наук. Необходимость возникновения и развития нового научного направления определяется возрастающим интересом общества к условиям и механизмам политической коммуникации.

Политическая лингвистика тесно связана с другими лингвистическими направлениями – с социолингвистикой, занимающейся проблемами взаимодействия языка и общества, с функциональной стилистикой и особенно с исследованиями публицистического стиля, с классической и современной риторикой, с когнитивной лингвистикой и лингвистикой текста.

Для политической лингвистики в полной мере характерны такие черты современного языкознания, как мультидисциплинарность (использование методологий различных наук), антропоцентризм (человек, языковая личность становится точкой отсчета для исследования языковых явлений), экспансионизм (тенденция к расширению области лингвистических изысканий), функционализм (изучение языка в действии, в дискурсе, при реализации им своих функций) и экспланаторность (стремление не просто описать факты, но и дать им объяснение).

Политическая лингвистика тесно связана и с науками, изучающими индивидуальное, социальное и национальное сознание – с социальной психологией, культурологией, социологией, политологией, этнографией.

Предмет исследования политической лингвистики – политическая коммуникация, то есть речевая деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для выработки об-

щественного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе. Каждый человек, который хотя бы изредка читает газеты, включает радио или телевизор, становится адресатом политической коммуникации. Когда этот человек идет на выборы, он участвует в политической жизни и делает это не без влияния субъектов политической коммуникации. При таком подходе к сфере интересов политической лингвистики относится не только передача политической информации, но и все, что связано с восприятием и оценкой политической реальности в процессе коммуникативной деятельности.

Главная функция политической коммуникации – борьба за политическую власть на основе использования коммуникативной деятельности: политическая коммуникация призвана оказать прямое или косвенное влияние на распределение власти (путем выборов, назначений, создание общественного мнения и др.) и ее использование (принятие законов, издание указов, постановлений и др.). Политическая коммуникация отражает существующую политическую реальность, изменяется вместе с ней и участвует в ее преобразовании.

Основная цель политической лингвистики – исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим состоянием общества, что создает условия для выработки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности. Политическая коммуникация оказывает влияние на распределение и использование власти благодаря тому, что она служит средством воздействия на сознание принимающих политические решения людей (избирателей, депутатов, чиновников и др.). Политическая коммуникация не только передает информацию, но и оказывает эмоциональное воздействие на адресата, преобразует существующую в сознании человека политическую картину мира.

Современная политическая лингвистика активно занимается общими проблемами политической коммуникации (анализирует ее отличия от коммуникации в других сферах), изучает проблемы жанров политической речи (лозунг, листовка, программа, газетная статья, выступление на митинге, парламентская полемика и др.) и особенности функционирования политических текстов. Наша наука активно обращается к проблемам идиостилия отдельных политиков, политических партий и направлений, рассматривает стратегии, тактики и приемы политической коммуникации, изучает композицию, лексику и фразеологию политических текстов, использование в них разнообразных образных средств. К числу важнейших направлений политической лингвистики относятся также рассмотрение отдельных политических концептов в рамках соответствующего языка и национальной культуры, обращение к проблемам понимания политических реалий того или иного государства гражданами

других государств, сопоставительное исследование политической коммуникации в различных странах и на разных этапах развития общества.

Важнейший постулат современной политической лингвистики – дискурсивный подход к изучению политических текстов. Это означает, что каждый конкретный текст рассматривается в контексте политической ситуации, в которой он создан, в его соотношении с другими текстами, с учетом целевых установок, политических взглядов и личностных качеств автора, специфики восприятия этого текста различными людьми. Обязательно учитывается та роль, которую этот текст может играть в системе политических текстов и – шире – в политической жизни страны. Например, одна и та же идея и даже одни и те же высказывания будут совершенно по-разному восприниматься в тексте газетной статьи журналиста и в официальном заявлении Президента Российской Федерации или Президента Соединенных Штатов Америки. Совершенно различный вес могут иметь высказывания одного и того же политика, произнесенные им в пылу предвыборной борьбы и после вступления на важный государственный пост.

Традиционно власть относится к числу высших социальных ценностей, а поэтому в борьбе за власть используются все людские возможности и достижения науки. Для получения нужного результата авторы политических текстов затрачивают колоссальные усилия. Поэтому при анализе политической коммуникации особенно заметно, и высокое мастерство, и творческое убожество авторов, их коммуникативные успехи и неудачи.

Необходимо различать политическую лингвистику, ориентированную на изучение политической коммуникации, и исследования в области языковой политики государства, которые относятся к сфере интересов социолингвистики. Несколько упрощая проблему, можно сказать, что специалистов по политической лингвистике интересует то, как говорят политики, а специалисты по языковой политике занимаются тем, что политики делают (или должны делать) для оптимального использования языка. Поэтому к сфере интересов политической лингвистики не относятся столь важные направления работы, как анализ проблем функционирования государственного и иных языков в стране (начиная с вопроса о самой необходимости официального признания государственного языка), изучение проблем языков межнационального общения и языков международного общения (мировых языков), государственная регламентация графики (например, решение Государственной Думы об использовании в России исключительно кириллических письменностей), вопрос об отношении к заимствованиям. Все эти проблемы относятся к государственной политике в сфере использования языка в целом, а не только к политической коммуникации, что и «выводит» их за рамки политической лингвистики в том понимании, которое лежит в основе настоящего исследования.

Политическое лингвистика – это научное направление, имеющее большую прикладную значимость. Изучение опыта коммуникативной деятельности в политической сфере может способствовать выработке конкретных рекомендаций для политических функционеров, журналистов, специалистов по связям с общественностью. В демократическом обществе всем гражданам необходимы устойчивые навыки политической коммуникации как в сфере продуцирования речи, так и в сфере ее восприятия. Критический анализ современной политической коммуникации поможет сделать более гармоничной коммуникативную практику новых поколений политических лидеров и журналистов. Использование мировых стандартов при рассмотрении отечественной политической коммуникации будет способствовать формированию положительного имиджа России в представлении зарубежной общественности.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие проблемы изучает политическая лингвистика?
2. Каковы отношения политической лингвистики с политологией и лингвистикой? С какими другими научными направлениями в той или иной степени связана политическая лингвистика?
3. Почему дискурсивный подход к исследованию политической коммуникации называют важнейшим постулатом политической лингвистики?
4. В какой мере к сфере интересов политической лингвистики относятся проблемы поддержки нашим государством изучения русского языка в зарубежных странах и функционирования русского языка в международных организациях?
5. В какой мере к сфере интересов политической лингвистики относится сопоставительное изучение особенностей коммуникативной практики российских и американских президентов?
6. Существует немало анекдотов, связанных с речевой практикой таких отечественных политиков, как Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, В.С. Черномырдин. В какой степени эти материалы интересны для политической лингвистики?
7. В чем вы видите практическую значимость исследований по политической лингвистике? В какой степени эти исследования могут быть интересны активистам политических партий, журналистам, высшим государственным служащим и обычным гражданам?
8. Какое практическое значение могут иметь лингвополитические исследования, обращенные к опыту других стран и эпох?

Возникновение и основные этапы развития политической лингвистики

Обращение к предыстории той или иной науки, внимательный анализ этапов ее развития, материалам давно отгоревших дискуссий неред-

ко позволяет нам лучше понять проблемы соответствующей науки на современном этапе ее развития.

Истоки современной политической лингвистики можно обнаружить уже в античной риторике: Проблемы политического красноречия активно занимались уже в Древней Греции и Риме. Изучение политической коммуникации оказывается социально востребованным прежде всего в демократическом обществе, а поэтому соответствующие исследования вновь появились вместе с развитием демократии в Западной Европе. Рассмотрим основные этапы в истории изучения политической коммуникации.

1. Первоначально (то есть до возникновения политической лингвистики) публикации по проблемам политической коммуникации носили преимущественно «рецептурный» и аналитический (восхваляющий или дискредитирующий) характер. В публикациях первого типа авторы стремились показать своим читателям, каким образом можно добиться успеха в публичных выступлениях или иной речевой деятельности. Среди ярких примеров подобных изданий можно назвать труды Дейла Карнеги и Поля Сопера, в которых рассмотрено множество конкретных выступлений и публикаций, а также предложены достаточно эффективные рекомендации. В публикациях второго типа основное внимание уделялось детальному описанию риторического мастерства конкретных политических деятелей и/или осуждению коммуникативных практик других политических лидеров.

2. Политическая лингвистика как самостоятельное научное направление возникла во второй половине XX века. Обращаясь к начальному этапу развития этой науки, специалисты называют, помимо филологов, исследовавших социальные аспекты функционирования языка, английского писателя Джорджа Оруэлла и немецкого литературоведа Виктора Клемперера.

Первый из них написал в 1948 году роман-антиутопию «1984», в котором были описаны принцип «двоемыслия» (doublethink) и словарь «новояза» (newspeak), то есть на конкретных примерах были охарактеризованы способы речевого манипулирования человеческим сознанием в целях завоевания и удержания политической власти в тоталитарном государстве. Джордж Оруэлл наглядно показал, каким образом при помощи языка можно заставить человека поверить лжи и считать ее подлинной правдой, как именно можно положить в основу государственной идеологии оксюморонные лозунги «Война – это мир», «Свобода – это рабство» и «Незнание – это сила». Пророческий дар Дж. Оруэлла постоянно отмечают современные специалисты по политической пропаганде: иногда кажется, что именно по рецептам «новояза» советские войска в Афганистане решили называть ограниченным контингентом, а саму эту войну – интернациональной помощью. Аналогичные приемы использо-

вали и американские лидеры, которые называли свои военные действия против Югославии и Ирака «борьбой за установление демократии».

Описанный Джорджем Оруэллом, «новояз» был плодом его фантазии, предположением о том, к чему может привести развитие тоталитарных идей в Великобритании. Немецкий филолог Виктор Клемперер подробно охарактеризовал «новояз», за которым он имел несчастье наблюдать 12 лет. Его книга «ЛТИ. Записная книжка филолога» (издана в 1947 г.) была посвящена коммуникативной практике германского фашизма, а буквы «ЛТИ» в ее названии обозначают «Лингвистика Третьей империи». Следует отметить, что практика нацистского «новояза» оказалась значительно многообразнее и изощреннее созданной Джорджем Оруэллом теории. Например, оказалось, что вовсе необязательно запрещать то или иное выражение – достаточно взять его в кавычки. Например, «немецкий поэт» Гейне – это уже совсем не немецкий и не совсем поэт; соответственно написание «*выдающийся ученый*» Эйнштейн позволяет поставить под сомнение гениальность выдающегося физика. На службу идеям фашизма в гитлеровской Германии были поставлены и многие другие языковые средства: особенно детально Виктор Клемперер описывает символику и метафорику фашистской пропаганды, а также практику запрета на «неудобные» слова и понятия с одновременной пропагандой «новых» слов и идей.

Позднее появилось описание коммунистического новояза и языкового сопротивления ему в Польше, Восточной Германии, Чехии, России и других государствах существовавшего во второй половине прошлого века «социалистического лагеря». Эти исследования позволили обнаружить множество сопоставимых фактов и закономерностей. Вместе с тем обнаруживались и признаки национальных тоталитарных дискурсов: например, в советском политическом дискурсе очень значимыми были политические определения, кардинально преобразующие смысл и эмоциональную окраску слова. Так, в советском новоязе *Буржуазный гуманизм* или *Абстрактный гуманизм* – это вовсе не человеколюбие, а негативно оцениваемое проявление слабости, недостаточная жестокость по отношению к политическим противникам, представителям «эксплуаторских классов» и просто сомневающимся. С другой стороны, в качестве *Социалистического гуманизма* могли быть представлены жестокие действия «против классово чуждых элементов», особенно если эти действия воспринимались как полезные «для трудового народа» в его «классовой борьбе». Например, в некоторых учебных пособиях в качестве примера социалистического гуманизма описывался эпизод из романа Александра Фадеева «Разгром»: командир партизанского отряда Левинсон «экспроприрует» (проще говоря, отбирает) у крестьянина свинью, необходимую для приготовления пищи голодным партизанам.

Специалисты выделили характерные черты тоталитарного дискурса, для которого, как правило, свойственны централизация пропагандистской деятельности, претензии на абсолютную истину, идеологизация всех сторон жизни, лозунговость и пристрастие к заклинаниям. Среди признаков тоталитаризма выделяют также ритуальность политической коммуникации, превалирование монолога «вождей» над диалогичными формами коммуникации, пропагандистский триумфализм, резкую дифференциацию СВОИХ и ЧУЖИХ, пропаганду простых и в то же время крайне эффективных путей решения проблем.

3. На следующем этапе развития политической лингвистики зарубежные специалисты (Р. Водак, Д. Воттс, Т.А. ван Дейк, Дж. Лакофф, К. Хаккер, Л. Хан, Й. Хейзинг, Н. Хомский и др.) обратились к изучению коммуникативной практики в современных западных демократических государствах. Эти исследования показали, что и в условиях демократии постоянно используется языковая манипуляция сознанием, но это более изощренная манипуляция.

Новые политические условия привели к изменению методов коммуникативного воздействия, но политика – это всегда борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно становится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании адресата необходимую манипулятору картину мира. Например, опытный политик не будет призывать к сокращению социальных программ для малоимущих, он будет говорить только о «снижении налогов». Однако хорошо известно, за счет каких средств обычно финансируется помощь малообеспеченным гражданам. Умелый специалист будет предлагать бороться за социальную справедливость, за «сокращение пропасти между богатыми и бедными», и не всякий избиратель сразу поймет, что это призыв к повышению прямых или косвенных налогов, а платить их приходится не только миллионерам. Точно также опытный политик будет говорить не о сокращении помощи малоимущим, а о важности снижения налогов, однако легко предположить, какие именно статьи бюджета пострадают после сокращения налоговых поступлений.

Подобные факты широко обсуждаются в критической теории Франкфуртской школы, представители которой (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер) начали изучать формы тоталитаризма, антидемократизма, националистического шовинизма после окончания второй мировой войны. Аналогичные материалы представлены также во многих публикациях англоязычных авторов.

4. В конце прошлого века в зарубежной лингвистике оформилось новое направление – критический дискурс-анализ, который изучает способы, с помощью которых социальная власть осуществляет свое господство в обществе. Специалисты стремятся выяснить, как именно при помощи коммуникативной деятельности предписывается и воспроизво-

дится социальное неравенство, а также наметить способы языкового сопротивления. Представители этого направления занимают активную социальную позицию, они ищут пути для предупреждения социальных конфликтов. Эти исследования представляют собой своего рода реакцию на традиционные публикации «рецептурного» и «восхваляющего» направлений предшествующей научной парадигмы.

Материалом для критического дискурс-анализа становятся политические тексты, создаваемые в ситуации социального риска и отражающие неравенство коммуникантов. Определение «критический» используется в подобных исследованиях для того, чтобы подчеркнуть обычно скрытые для неспециалистов связи между языком, властью и идеологией. Детальное изучение текстов помогает выявить имплицитно выраженные бессознательные установки коммуникантов и на этой основе показать результаты воздействия дискурса на восприятие информации. С 1990 года выходит специальный журнал «Discourse and Society» («Дискурс и общество»), представляющий публикации названного направления, созданные в различных странах.

В работах специалистов по критическому дискурс-анализу особое внимание уделяется социальному, гендерному (половому) и этническому неравенству. Внимание авторов особенно привлекают факты злоупотребления властью в различных сферах общественной жизни. В частности, феминистские критические исследования представляют женщин как угнетенную социальную группу, характеризуют многообразные коммуникативные проблемы, являющиеся следствием угнетенного положения женщин в патриархальном мужском обществе. Не меньшее внимание уделяется коммуникативным аспектам этнического и расового неравенства.

Внимание исследователей особенно привлекают отрицательные образы «чужих» как представителей иных рас, этносов и культур. Примером могут служить исследовательские программы, выполненные под руководством Т. ван Дейка в Голландии. При реализации этих программ изучается то, как суринамцы, турки, марокканцы и другие «чужаки» представлены в публикациях голландских СМИ, учебниках, парламентских дебатах, корпоративном дискурсе и др. В исследованиях, выполненных под руководством Рут Водак (Венский университет), детально охарактеризован антииммигрантский и антисемитский дискурс в Австрии. Подобные научные программы активно реализуются и в иных демократических государствах.

Важный результат сопоставления националистических дискурсов в различных европейских странах состоит в обнаружении значительного сходства между стереотипами, предубеждениями и другими формами вербального умаления «чужих», которые преимущественно представлены как нарушающие традиционные нормы, то есть лентяи, преступники, нравственные уроды или фанатики.

В России XVIII – первой половины XIX века проблемы использования языка в социальной сфере изучались преимущественно в рамках риторики. Вопросы политической речи во второй половине XIX – начале XX века затрагивались прежде всего в публицистике, где велись острые политические дискуссии между сторонниками революционных, либеральных и консервативных взглядов, между марксистами разных направлений, народниками и приверженцами других политических течений. В подобных публикациях основное внимание уделялось критическому рассмотрению коммуникативных практик отдельных политических лидеров.

В истории изучения политического языка советской эпохи можно выделить три периода. Первый из них приходится на 20-е – 30-е гг., когда Г.О. Винокур, С.И. Карцевский, Е.Д. Поливанов, А.М. Селищев, П.Я. Черных, Р.О. Якобсон изучали преобразования, происходящие в русском литературном языке после 1917 года. Были обнаружены значительные изменения в лексической и стилистической системе. Внимание исследователей привлекло появление множества аббревиатур, экспансия варваризмов и диалектизмов, значительное влияние просторечия и одновременно официально-деловой речи, сдвиги в семантике и эмоциональной окраске многих слов. В речевой практике новых политических лидеров страны обнаружилось последовательное стремление к «народности», что привело к изменению коммуникативного идеала, которому стремились соответствовать широкие массы населения. Результатом всех этих процессов стало общее снижение уровня речевой культуры.

Второй период приходится на 30-е – 40-е годы, когда последователи Н.Я. Марра стремились выделить и автономно описать «язык эксплуататоров» и «язык трудящихся» как едва ли не отдельные системы в рамках национального языка. Советские специалисты стремились охарактеризовать факторы, способствующие успеху в речевом воздействии на массовую аудиторию. Определенный историко-лингвистический интерес представляют также опубликованные в этот период работы, в которых представлен лингво-политический анализ «языка и стиля» некоторых советских политических лидеров (С.М. Киров, М.И. Калинин, В.И. Ленин, И.В. Сталин и др.). Авторы указанных исследований отмечали ораторское мастерство большевистских руководителей, «народность» их речи (в смысле ее доступности для широких масс). С этими выводами (если с пониманием отнестись к тому, что в таких работах доминировал восхваляющий пафос) следует согласиться: плохой оратор просто не способен стать лидером в стране, где кипят революционные страсти, или победить в острых внутрипартийных дискуссиях, так характерных для первых лет советской власти.

Третий период в изучении советского политического языка относится к 50-м – 80-м годам, когда проблемы политической речи рассматри-

вались в публикациях по теории и практике ораторского искусства и лекторского мастерства (Г.З. Апресян, Л.А. Введенская, Н.Н. Кохтев, В.В. Одинцов и др.), при освещении деятельности средств массовой коммуникации (Ю.А. Бельчиков, В.Г. Костомаров, Д.Э. Розенталь, Г.Я. Солганик и др.), в исследованиях по вопросам агитации и пропаганды. Подобные публикации носили преимущественно «рецептурный» характер. Проблемы политической лингвистики занимали важное место и в некоторых публикациях, посвященных развитию русского языка в послеоктябрьский период, его стилистической дифференциации, обогащению его лексико-фразеологического фонда (П.Н. Денисов, С.Г. Капралова, А.Н. Кожин, Т.Б. Крючкова, М.В. Панов, И.Ф. Протченко и др.). Среди советских специалистов были и блестящие мастера эзопова языка, и искренние сторонники господствующей идеологии, и люди, для которых сама возможность заниматься наукой значила больше, чем рассматриваемый материал. Наши языковеды смогли многое сделать и многое сказать (иногда между строк).

Следует отметить, что в советский период едва ли не всякое опубликованное в нашей стране исследование по проблемам политической речи было изначально скомпрометировано. Как известно, в условиях жесткой цензуры и самоцензуры было крайне сложно объективно охарактеризовать особенности речи как коммунистических лидеров (идейная чистота и высокая должность как бы предопределяли их речевое мастерство), так и их политических противников; допускались лишь своего рода «советы» агитаторам, стремящимся увеличить воздействие своей пропаганды, рекомендации журналистам по проблемам «языка и стиля» в средствах массовой коммуникации, а также критический анализ языка «буржуазной» прессы. Положение изменилось только после начала перестройки, когда гласность сделала возможной публикацию хотя бы сколько-нибудь объективных исследований.

Совершенно особое место в изучении отечественного политического языка занимают зарубежные исследования (Андре Мазон, Астрид Бэк-лунд, Эгон Бадер, Патрик Серио и др.), среди которых важное место занимают публикации российских эмигрантов (С.М. Волконский, И. Земцов, С.И. Карцевский, Л. Ржевский, А. и Т. Фесенко и др.) и специалистов из бывших советских республик – ныне суверенных государств (А.Д. Дуличенко, В.В. Дубичинский, Э.Р. Лассан, С.Н. Муране, Б.Ю. Норман и др.).

Как справедливо писал С. Есенин, «лицом к лицу лица не увидеть»: взгляд «со стороны» иногда позволяет увидеть даже больше, чем наблюдения над языковой ситуацией «изнутри». Кроме того, нельзя забывать, что жесткая цензура и самоцензура часто не позволяли советским лингвистам в полной мере высказать свою точку зрения, тогда как авторы, работавшие за рубежом, были в этом отношении относительно свободны.

С другой стороны, многие эмигранты «первой волны» оказались слишком суровыми критиками и отвергали едва ли не любые инновации послереволюционного периода. В некоторых таких публикациях (например, в книге Андрея и Татьяны Фесенко «Русский язык при Советах») ненависть к лидерам советского государства отчетливо проявлялась и при критике языковых изменений, проходящих в советской России.

Новый этап в развитии отечественной политической лингвистики начался в период перестройки социальной системы нашего общества. Обсуждение проблем политической коммуникации на предшествующих этапах происходило по существу вне контекста мировой науки. Западные публикации по этой проблематике считались идеологически порочными и по различным причинам почти не были известны в нашей стране. Положение изменилось только в конце XX века, когда демократизация общественной жизни сделала политическую коммуникацию в России предметом массового интереса. В этот период у нас стала возможной объективная оценка трудов крупнейших зарубежных специалистов в области политической коммуникации и – самое главное – достаточно объективное исследование речевой практики действующих политических лидеров. Как и на Западе, среди современных российских публикаций представлены исследования, которые можно отнести к различным направлениям – рецептурному, аналитическому (восхваляющему и дискредитирующему) и критическому; материалом для этих исследований служат как тоталитарные, так и демократические коммуникативные практики.

Специальные исследования показывают, что на смену советскому «новоязу» в политическую практику пришел новый политический язык. Вместе с тем критически мыслящие специалисты считают, что современный «постновояз» еще далек от идеала, что на смену пропагандистскому триумфализму, лозунговости, стандартизованности и ритуальности пришли механическое следование западным образцам, безответственность и чрезмерная раскрепощенность, способствующие успеху в реализации новых способов манипуляции сознанием читателей и слушателей.

Представленный обзор показывает, что политическая лингвистика как в России, так и за ее рубежами за несколько десятилетий своего существования добилась значительных успехов. Характерными чертами современного состояния этой науки в России является ее методологическое сближение с зарубежными исследованиями и существенное расширение сферы исследований.

Контрольные вопросы и задания

1. Почему публикации писателя Джорджа Оруэлла и литературоведа Виктора Клемперера считаются лежащими в основе современной политической лингвистики?

2. Что такое «новояз» в представлении Джорджа Оруэлла? Что сближает английский «новояз», охарактеризованный Оруэллом, с польским, немецким или советским «новоязом»?

3. Сопоставьте особенности рецептурного, аналитического (восхваляющего и дискредитирующего) и критического направлений в политической лингвистике.

4. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития зарубежной политической лингвистики.

5. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития отечественной политической лингвистики.

6. Почему некоторые закономерности «советского языка» в публикациях зарубежных ученых оказались лучше охарактеризованы, чем в работах советских авторов?

7. Почему наша политическая лингвистика развивалась иначе, чем западная? Почему можно говорить о сближении в современных условиях отечественной и зарубежной политической лингвистики?

8. Что такое российский «постновояз», как он соотносится с советским «новоязом»?

9. Следует ли надеяться на то, что с развитием демократии отечественный политический язык перестанет быть средством борьбы за власть и уже не будет использоваться в манипулятивных целях?

10. Проанализируйте одну из научных публикаций, указанных ниже в разделе «Дополнительная литература» с позиций противопоставлений, рассмотренных в настоящем разделе.

Основные направления в современной политической лингвистике

В современной отечественной политической лингвистике сформировалось несколько относительно автономных, хотя и взаимосвязанных направлений. Возможна классификация современных отечественных политико-лингвистических исследований по используемым методам исследования, по изучаемому периоду, по рассматриваемому языковому ярусу и некоторым другим основаниям. Рассмотрим основные противопоставления, выявляющиеся при анализе конкретных публикаций.

1. Исследования в области теоретических основ политической лингвистики – анализ конкретных единиц в рамках политических текстов. К первой группе относятся публикации, авторы которых стремятся осмыслить общие категории политической лингвистики, сформулировать теоретические основы этой науки, охарактеризовать ее понятийный аппарат и терминологию. Так, в учебнике А.Н. Баранова (2001) политическая лингвистика представлена как одно из направлений прикладной лингвистики, охарактеризованы предмет, задачи и методы ука-

занного научного направления. В таких публикациях рассматриваются методологические основы политической лингвистики и специфика политического языка, даются определения основных понятий политической лингвистики.

Характерными признаками языка политики являются смысловая неопределенность (политик часто высказывает свое мнение в максимально обобщенном виде), фантомность (многие знаки политического языка не имеют реального денотата) фидеистичность (иррациональность, опора на подсознание), эзотеричность (подлинный смысл многих политических высказываний понятен только избранным), дистанцированность и театральность.

2. Исследование советского политического языка – изучение языка постсоветской эпохи. При «хронологической» (ориентированной на исследуемый исторический период развития русского политического языка) классификации противопоставляются публикации, посвященные, с одной стороны, «тоталитарному языку» советского периода, а с другой – политической речи постсоветской эпохи (начиная с «перестройки»). Ярким примером исследований первого типа может служить монография Н.А. Купиной «Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции» (1995), в которой тщательно рассматривается словарь советских идеологов, относящихся к политической, философской, религиозной, этической и художественной сферам, а также языковое сопротивление и языковое противостояние коммунистической идеологии внутри России. В монографии А.П. Романенко «Советская словесная культура: образ риторика» (2000) представлено детальное описание советского риторического идеала, образа «идеального» советского риторика. Проблемы «русско-советского языка» и языкового сопротивления рассматривают и многие другие специалисты.

Эти исследования показывают, что в политическом языке советской эпохи действительно существовало двуязычие («диглоссия, по А. Вежбицкой), точнее – использовалось несколько «диалектов» (официальный, диссидентский, обывательский, «потаенный»). Не следует считать, что весь русский политический язык в советскую эпоху был неуклюж, бюрократичен и малопонятен. Таким была только одна из его форм, а именно официальный язык, который его критики называли «новояз». Но свойства этого языка определялись его предназначением. Следует подчеркнуть, что советский «новояз» – это не язык всего советского народа, а официальный язык тоталитарного общества. Бюрократичность, «двоемыслие» (по Дж. Оруэллу), максимальная обезличенность, эзотеричность (наличие смыслов, понятных только специалистам), ритуальность – это естественные свойства официальной политической коммуникации, которые в той или иной мере присутствуют и во многих современных политических текстах. Разумеется, бюрократическим и не-

уклюжим был не русский язык, а коммуникативная деятельность большинства советских лидеров, речевая практика которых если не считалась образцовой, то по меньшей мере воспринималась как наиболее соответствующая духу эпохи.

Если же сравнивать русско-советский язык и русский политический язык новейшего времени, то следует отметить, что в прошлом осталась жесткая регламентация, которая определяла строгое следование всевозможным нормам (языковым, речевым, жанровым, этическим, композиционным и иным) и ограничивала проявления индивидуальности. Эта регламентация в каких-то случаях играла положительную роль (например, не допускала использования грубо-просторечной и жаргонной лексики, ограничивала поток заимствований), но именно она и определяла те качества «советского» языка, которые в одних случаях вызывают его критику, а в других – некоторую ностальгию.

3. Нормативный и дескриптивный подходы к изучению политического языка. В современной отечественной политической лингвистике отчетливо разграничиваются дескриптивный (описательный) и нормативный подходы к оценке инноваций. В первом случае авторы фиксируют новые явления, не стремясь при этом дать им позитивную или негативную оценку. Во втором случае новые явления «подвергаются досмотру» с позиций традиционной речевой нормы; высказывается даже мысль о необходимости создания лингвоэкологии – особой науки, призванной «защищать» классический русский язык. Авторы подобных работ тщательно фиксируют всевозможные реальные и мнимые недостатки в речи российских политиков и журналистов, справедливо демонстрируя при этом, что отечественная политическая элита по своему риторическому мастерству еще очень далека от Демосфена и Цицерона, что прямой телеэфир слишком безжалостен и что напрасно в некоторых СМИ сократили должности литературного редактора и корректора. Нередко в подобных работах критика современной речи и сетования на общую «порчу» русского языка совмещаются с критикой современной политической ситуации и современных политических лидеров.

Как известно, речевое творчество современных политиков и журналистов – едва ли не основной источник беспокойства лингвистических пуристов, ибо многочисленные нарушения традиционных литературных норм вызывает тревогу и у общества в целом. Подборки «перлов» политического слога стали в последние годы едва ли не постоянной рубрикой многих авторитетных средств массовой информации («Литературная газета», «Аргументы и факты», «Итого», «Комсомольская правда» и др.), речевые ошибки политиков и журналистов нередко становятся и предметом тщательного разбора профессиональных филологов.

Задача таких публикаций – это не только фиксация ошибок конкретного автора: важнее выявить тенденции в использовании языковых

средств, в их функционировании в повседневной речевой коммуникации, в различных ее сферах. В подобных публикациях широко представлены конкретные примеры коммуникативных неудач и их теоретическое осмысление, рекомендации по предупреждению ошибок широко представлены и в ряде других публикаций.

Следует признать, что современный русский язык находится в состоянии динамичного развития, а многочисленные ошибки конкретных политиков и журналистов могут служить свидетельством низкой речевой культуры лишь отдельных носителей русского языка.

Кардинальные социальные изменения всегда вызывают крупные преобразования в языке (вспомним утрату российской государственности в XIII веке, «Смутное время» на рубеже XVI и XVII столетий, Петровские реформы или гражданскую войну в начале прошлого века), но никакие политические катаклизмы не способны погубить или хотя бы «испортить» русский язык. Его развитие продолжается, в нем обнаруживаются новые ресурсы, а явления, пугавшие современников, бесследно уходят или начинают восприниматься как вполне естественные и необходимые. Поэтому нужно быть крайне осторожным при оценке новых феноменов и не путать косноязычие отдельных политиков с деградацией русского языка.

4. Автономное исследование отдельных языковых уровней политического языка. Значительный интерес представляют исследования, ориентированные на автономное изучение отдельных уровней современного политического языка (фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса). Наиболее заметны изменения в лексике и фразеологии. Каждый новый поворот в историческом развитии государства приводит к языковой «перестройке», создает свой лексико-фразеологический тезаурус, включающий также концептуальные метафоры и символы. Поэтому вполне закономерно множество исследований по проблемам политического лексикона постсоветского периода. Очень интересны лексикографические издания, фиксирующие новые явления в русской лексико-фразеологической системе постсоветской эпохи: подготовленный под руководством В.И. Максимова «Словарь перестройки» (1992), «Словарь новых значений и слов языка газеты» С.В. Молокова и В.Н. Киселева (1996), «Словарь перифраз русского языка (на материале газетной публицистики)» А.Б. Новикова (1999), подготовленный Л.Г. Самотик «Словарь выразительных средств языка политика (на материале текстов губернатора Красноярского края А.И. Лебеда)» (2002) и др.

Не менее ощутимы изменения стилистической системы русского национального языка и процессы его пополнения заимствованной лексикой. Для русского литературного языка последних лет особенно характерны два явления: интенсификация процессов заимствования иностранных слов и значительное влияние жаргонной и просторечной язы-

ковой среды. Вместе с тем замечено, что в последнее время не произошли кардинальные изменения в фонетике и грамматике.

5. Исследование жанров и стилей политического языка. Значительное количество публикаций посвящено изучению специфики отдельных жанров и стилей политического языка. Языковеды изучают специфику парламентских дебатов, особенности митинговой речи, язык средств массовой информации. Лингвополитические исследования посвящены анализу настенных надписей, лозунгов, предвыборной полемики, политического скандала. Специально рассматриваются жанры протеста, поддержки, рационально-аналитические и аналитико-статистические жанры, юмористические жанры и виртуально ориентированные низкие жанры.

Лингвополитические исследования показывают, что в постсоветский период прошло значительное обновление как самого арсенала жанровых средств отечественной политической коммуникации, так и внутренних закономерностей жанров и стилей политической речи.

6. Исследование идиостилей различных политических лидеров, политических направлений и партий. Значительный интерес представляют публикации, посвященные идиолектам ведущих политических лидеров современной России. Языковеды обращаются к «речевым портретам» ведущих политиков в сопоставлении с политическими портретами российских политических лидеров прежних эпох. Специалисты стремятся также охарактеризовать роль идиостиля в формировании харизматического восприятия политика, обращаются к особенностям речи конкретных политических лидеров.

В отдельную группу следует выделить исследования, посвященные взаимосвязи политической позиции и речевых средств ее выражения. В частности обнаружено, что политические экстремисты (как правые, так и левые) более склонны использовать метафорические образы. Легко заметить повышенную агрессивность речи ряда современных политиков, придерживающихся националистических и коммунистических взглядов. Едва ли не все авторы отмечают, что в постсоветский период речевые портреты политиков становятся более узнаваемыми, ярче проявляется индивидуальность, но не все черты такого рода индивидуальности заслуживают одобрения.

7. Дискурсивное исследование коммуникативных ролей, ритуалов, стратегий и тактик. В рамках данного направления анализируется коммуникативное поведение субъектов политической деятельности. Современные политические лидеры, стремясь добиться успеха у избирателей, нередко используют своего рода «речевые маски». Речевое поведение в значительной степени зависит от социально-коммуникативной роли политика, которая зависит от его социального статуса, от используемых стратегий, тактик и речевых приемов.

Важное место в исследованиях политической коммуникации занимает критический анализ (по Т.А. ван Дейку и Р.Водак) проявлений социального неравенства и коммуникативных манипуляций сознанием адресата. Многие специалисты отмечают повышенную агрессивность современной политической речи, в том числе активное использование конфронтационных стратегий и тактик речевого поведения (угрозы, игнорирование, дискредитация, ложь, наклеивание ярлыков, оскорбления и др.). К сожалению, в современной политической речи легко обнаружить многочисленные примеры использования бранных (в том числе нецензурных) выражений. Показательно, что речевая агрессивность в ее разнообразных проявлениях особенно возрастает в периоды обострения социальной ситуации, в том числе во время избирательных кампаний.

8. Когнитивные, лингвокультурологические и традиционные методы исследования политической коммуникации. Яркий признак современных исследований в области политической коммуникации – использование разнообразной методологии. С этой точки зрения выделяются исследования, выполненные с использованием методик, характерных для когнитивистики, социолингвистики, лингвокультурологии, лингвистики текста, риторики и культуры речи.

Многие современные исследования ориентированы на использование методов когнитивной лингвистики, в том числе теории метафорического моделирования. Авторы подобных публикаций исходят из единства речемыслительной деятельности и рассматривают речевую деятельность как проявление специфического мышления. В этом отношении значительный интерес вызывают публикации, авторы которых стремятся выяснить, как именно метафорически представляется тот или иной политический феномен.

При социолингвистическом подходе к изучению политических текстов выясняется, что политический дискурс российского общества в последнее десятилетие XX века отличается кардинальным обновлением содержания и формы коммуникативной деятельности. Новый политический язык характеризуется стремлением к индивидуальному стилю, отличается экспрессивностью, а также яркостью, граничащей с карнавальностью, и раскрепощенностью, находящейся на рубеже со вседозволенностью и политическим хамством. Специфику этого дискурса в значительной степени определяют и характерные для социального сознания концептуальные векторы тревожности, подозрительности, неверия и агрессивности, ощущение «неправильности» существующего положения дел и отсутствия надежных идеологических ориентиров, «национальной идеи», объединяющей общество. Как это часто бывает в революционные эпохи, общественное сознание чрезвычайно быстро наполняется необъяснимым доверием не только к некоторым политическим

лидерам и партиям, но даже к некоторым политическим терминам и метафорам, но столь же стремительно и утрачивает иллюзии.

Значительный интерес представляют публикации, подготовленные с использованием методик политической психолингвистики, во многом заимствованных из психоэтики. Специалисты стремятся обнаружить то, как проявляются в политической коммуникации личностные качества автора.

Во многих исследованиях используется методика лингвостилистического анализа. Особое место занимают публикации, в основе которых лежат методы, приемы и терминология традиционной и обновляющейся риторики, также иных научных школ и направлений.

Многообразие используемых методов и методик обогащает политическую лингвистику: каждый метод имеет свои достоинства и позволяет обнаружить некоторые факты и закономерности, не привлекавшие внимания исследователей, принадлежащих к иным научным школам.

9. Сопоставительные исследования. Совершенно особое место занимают публикации, посвященные сопоставительному анализу политической коммуникации в России и других государствах. В каждой стране есть национальные особенности в способах восприятия и языкового представления политической действительности, что объясняется национальной ментальностью и историческими условиями формирования политической культуры. Сопоставление политической коммуникации различных стран и эпох позволяет отчетливее дифференцировать «свое» и «чужое», случайное и закономерное, «общечеловеческое» и свойственное только тому или другому национальному дискурсу. Все это способствует лучшему взаимопониманию между народами и межкультурной толерантности.

Показательно, что для авторов сопоставительных исследований, как правило, нехарактерен обличительный пафос: изучение зарубежной политической коммуникации показывает, что многие свойства политического дискурса, казавшиеся исключительно российскими пороками, обнаруживаются и в коммуникативных практиках политиков из самых демократичных стран. К сожалению, в отличие от многих других народов, нам свойственно излишне критическое отношение к собственному политическому опыту и слишком большие надежды на использование заимствованных политических идей и технологий.

10. Политическая лингвистика «в маске» и «без маски».

Как показывает представленный обзор, в последние годы политическая лингвистика превратилась в самостоятельное направление лингвистических исследований. Принадлежность публикаций к этому направлению часто отражается в их названиях, при формулировании цели и задач исследования, при определении предмета и объекта изучения, при характеристике материала, лежащего в основе работы. Во многих дру-

гих случаях исследования по политической коммуникации представляются читателям как бы «в маске», то есть без акцентирования собственно лингвополитической сущности публикации. Можно выделить несколько вариантов такой «маскировки».

Во-первых, некоторые авторы представляют свои результаты как относящиеся к современному русскому языку в целом.

Во-вторых, материалы по исследованию политической коммуникации часто представляются как результаты изучения языка средств массовой информации. Как известно, политический дискурс пересекается с языком СМИ, и далеко не всегда существует необходимость (и возможность) однозначно отнести материалы публикации к тому или другому дискурсу. Среди других источников сведений по политической лингвистике можно назвать исследования по культуре речи, по лексикологии и фразеологии, по теории и практике журналистики, по психологии, социологии и политологии. Разумеется, подобные публикации должны быть учтены при определении общих тенденций развития русской политической коммуникации.

Многообразие школ и направлений в современной политической лингвистике отражает тот интерес, который проявляется к политической речи, и то многообразие материала, методик, аспектов анализа и позиций, которое характерно для современной отечественной науки. В наиболее общем виде каждое конкретное современное исследование в области отечественной политической лингвистики можно охарактеризовать с использованием следующей системы не всегда эксплицитно выраженных противопоставлений:

1. Исследования в области теории политической лингвистики – описание отдельных элементов политического языка.

2. Хронологические рамки исследования: советская или постсоветская эпоха.

3. Поуровневый анализ языка (в том числе лексики, фонетики, словообразования, морфологии, синтаксиса) – комплексное исследование текста.

4. Нормативный подход (анализ с позиций соответствия норме, обычно критический, с призывами к борьбе с «порчей русского языка») – дескриптивный (описательный) подход, то есть фиксация и изучение новых явлений без их оценки.

5. Изучение отдельных политических жанров, стилей, нарративов и текстов – исследование общих признаков политического языка.

6. Исследование идиостилей отдельных политических лидеров, политических направлений и партий – изучение общих закономерностей политического языка.

7. Дискурсивное изучение коммуникативных ролей, ритуалов, стратегий и тактик – лингвистическое изучение политического языка.

8. Использование методов психолингвистики, когнитивистики, социолингвистики, лингвокультурологии, структурализма, риторики, психолингвистики и др.

9. Изучение отечественной политической речи - сопоставительные исследования, выявление общих и особенных признаков политических дискурсов различных стран и эпох.

10. Собственно политическая лингвистика – материалы по политической лингвистике, содержащиеся в исследованиях, ориентированных на смежные области науки.

Важно подчеркнуть, что во многих публикациях используются разнообразные методы и приемы изучения политической коммуникации, совмещаются нормативный и описательный аспекты исследования, последовательно изучаются различные языковые уровни и текстовые характеристики, привлекаются материалы, относящиеся к разным этапам развития русского политического языка.

Контрольные вопросы и задания

1. Чем отличаются публикации в рамках описательного и нормативного подходов к политической коммуникации?

2. Какие лингвистические методы используются при изучении политической коммуникации?

3. В какой мере сопоставительные исследования могут быть полезны специалистам по российской политической коммуникации?

4. Почему в некоторых публикациях лингвополитический характер исследования не отражается в заголовке?

5. Назовите ведущие направления современной политической лингвистики.

6. В советский период было опубликовано множество исследований, посвященных языку и стилю советской пропаганды и речевому мастерству лидеров страны. Чем можно объяснить тот факт, что современные лингвисты снова и снова обращаются к этому материалу?

7. Какой уровень языка (фонетический, лексический, морфологический или синтаксический) чаще становится материалом для лингвополитических исследований? Чем можно объяснить подобные различия?

8. Чем можно объяснить тот факт, что в современных политических публикациях значительно больше языковых ошибок и недочетов, чем в публикациях советской эпохи? Свидетельствует ли это о порче русского языка?

9. В какой мере представляют интерес для политической лингвистики речевые практики Бориса Ельцина или Джорджа Буша, российских коммунистов или национал-патриотов? Чему отдают предпочтение современные ученые: изучению идиостилей или исследованию общих закономерностей политического языка?

Понятийный аппарат и терминология политической лингвистики

Среди направлений современного языкознания преобладают такие, которые объясняются общностью методологической базы, в этих направлениях существуют признаваемые большинством исследователей определения, термины, постулаты и принципы. К числу подобных направлений относятся, например, сравнительно-историческое языкознание, психолингвистика, когнитивная лингвистика. Исследования по политической лингвистике представляют собой общность несколько иного рода. Они объединены прежде всего изучаемым материалом (политический язык, политические тексты, политический дискурс), а поэтому в этой области знаний до настоящего времени не существует единой теоретической основы, методологии и терминологии. Однако необходим некоторый понятийный и терминологический минимум, без которого невозможно хотя бы элементарное взаимопонимание между специалистами и тем более систематическое изложение основ политической лингвистики.

Один из возможных комплексов базисных понятий и терминов политической лингвистики представлен в настоящем разделе, в первой части которого рассмотрены понятия, связанные с политической коммуникацией, а во второй – понятия, связанные с языковой (лингвоментальной) картиной политического мира.

Политическая коммуникация

Политическая коммуникация – это процесс общения между участниками политической деятельности. Термин *коммуникация* восходит к латинскому *communico*, что означает *делаю общим, связываю, общаюсь*. Современные специалисты называют коммуникацией совместную деятельность по кодированию, передаче и восприятию информации. В коммуникации участвуют две стороны: адресант (говорящий или пишущий) и адресат (слушающий или читающий). Основной способ передачи политической информации – вербальный, то есть с использованием языка, однако существуют и невербальные средства передачи политической информации (изображения, символы, мимика, жесты, позы и др.). В настоящем учебном пособии ведущее место занимает вербальная коммуникация, а поэтому ниже рассматриваются основные понятия и термины, связанные с использованием языка в политической коммуникации.

1. Политический язык. Вопрос о существовании политического языка как особой знаковой подсистемы в составе национального языка является дискуссионным. Некоторые ученые считают, что политическая

коммуникация происходит на совершенно особом варианте русского языка, который следует называть именно политическим языком. Сторонники противоположной точки зрения считают, что собственно языковые черты своеобразия политической коммуникации немногочисленны и малосущественны, что они не выходят за рамки грамматических и даже лексических норм русского языка.

На этом основании подвергается сомнению даже само использование термина «язык» по отношению к предмету нашего изучения. И действительно, кажется вполне обоснованным вопрос: можно ли называть «языком» одну из лексико-фразеологических подсистем современного литературного языка? Однако хорошо известно, что в разговорной, научной или официально-деловой речи специфических признаков не меньше, чем в политической речи, а поэтому термин «политический язык» имеет не меньше прав на существование, чем по-прежнему используемые лингвистами термины «официально-деловой язык», «разговорный язык» или «научный язык». Поэтому *политический язык* – это, конечно, не особый национальный язык, а ориентированный на сферу политики вариант национального (русского, английского или иного) языка. В последние годы для того, чтобы избежать нестрогого употребления термина *язык*, многие специалисты предпочитают говорить о специфике «научной речи» или «официально-деловой речи»; соответственно при исследованиях политических текстов часто предпочитают говорить лишь об особенностях политической речи или политической коммуникации.

2. Политический текст. В лингвистике текст – это объединенная смысловой связью последовательность слов (предложений), основными свойствами которой являются связность и цельность. Политический текст может относиться к различным жанрам, он может быть устным (выступление на митинге или в парламентской дискуссии, доклад на партийном съезде, телеинтервью политического лидера и др.) и письменным (передовая или аналитическая статья в газете, листовка, программа политической партии и др.).

Содержательный признак рассматриваемого вида текстов – это отражение в них деятельности партий, других общественных организаций, органов государственной власти, общественных и государственных лидеров и активистов, направленного развития (в широком смысле) социальной и экономической структуры общества.

Целевой признак политического характера текста – это его предназначенность для воздействия на политическую ситуацию при помощи пропаганды определенных идей, эмоционального воздействия на граждан страны и побуждения их к политическим действиям. Иначе говоря, для политического текста характерна прямая или косвенная ориентированность на вопросы распределения и использования политической вла-

сти. Во многих политических текстах содержится изложение фактов и мнений, но такая информация призвана служить еще одним аргументом для убеждения адресата и, в конечном итоге, на его политическую позицию.

Контекст – это фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу (например, слово) и достаточный для определения значения этой единицы в данном тексте. Сама определяемая единица не входит в состав контекста. В одних случаях для правильного понимания смысла того или иного слова достаточно одного предложения, в других – необходимо учитывать значительно более обширный фрагмент текста и даже весь текст. По этому признаку различают узкий и широкий контекст. Некоторые специалисты понимают рассматриваемое понятие очень широко и поэтому используют также термины *политический контекст*, *ситуативный контекст* и *эстралингвистический контекст*, однако представляется, что для обозначения соответствующих понятий лучше использовать другие термины (*политический дискурс*, *политический нарратив*), о которых будет сказано ниже.

3. Политическая речь. В лингвистике речь (речевая деятельность) – это процесс использования языка, результатом речевой деятельности является создание текста. Соответственно политическая речь – это использование общенародного языка в процессе создания политического текста. Специфика политической речи определяется ее содержанием и проблематикой (распределение власти между государствами, в государстве и в его структурах), функциями (воздействие на политическую картину мира адресата, эмоциональное воздействие на адресата, склонение адресата к тем или иным действиям), идеологической обусловленностью при отборе и употреблении лексики и иных элементов, а также использованием характерных для этого вида деятельности коммуникативных стратегий и тактик.

В тех случаях, когда необходимо подчеркнуть участие в речевой деятельности не только адресанта (то есть говорящего или пишущего), но и адресата (то есть слушающего или читающего), часто используется термин «политическая коммуникация».

В политической коммуникации в отличие от бытовой или художественной субъектом и адресатом речевой деятельности во многих случаях является не человек как частное лицо, а человек как представитель определенной политической организации или властной структуры. Например, многие политические документы формально как бы не имеют автора и обнародуются от имени организации, государственной структуры; соответственно речь, написанная референтом, воспринимается и анализируется как речь президента, а многие политические документы подписываются не их реальным составителем, а руководителем политической организации или властной структуры.

4. Стиль политического языка. Стиль политического языка (политический языковой стиль) – это речевые особенности использования национального языка, присущие определенному политику, определенной политической партии или организации.

Особенности политического языкового стиля могут быть связаны с предпочтением, отдаваемым самым различным языковым средствам. Например, специалисты сравнили тексты интервью, которые давали журналистам ведущие политики современной России. Было выяснено, что самыми многословными были ответы М.С. Горбачева, а самыми краткими – ответы Б.Н. Ельцина. Президент М.С. Горбачев нередко использовал книжные необщеупотребительные слова иностранного происхождения, а в речи действующего Президента России иногда встречаются жаргонные слова и выражения.

Во многих случаях специалисты рассматривают не языковые особенности отдельных политиков, а способы выражения, характерные для типичных представителей тех или иных политических партий. Например, отечественные выразители либеральных ценностей (Б. Немцов, И. Хакамада, Е. Гайдар) максимально активно используют заимствованные политические термины, тогда как представители национально-патриотических сил во многих случаях предпочитают традиционно русские обозначения.

В современной отечественной политической лингвистике активно ведется изучение как стилистических особенностей политических партий, так и идиостилей отдельных политиков.

5. Политическая сфера коммуникации и ее разновидности. Вопрос о принципах выделения сфер коммуникации, об их соотношении со сферами использования традиционно выделяемых функциональных стилей и о самом количестве таких сфер относится к числу дискуссионных. Несомненно только, что выделяемые в современной лингвистике сферы коммуникации лишь частично соотносятся со сферами использования тех или иных функциональных стилей.

К числу ведущих сфер коммуникации, помимо политической, относятся следующие: финансовая, юридическая, производственная, медицинская, научная, педагогическая, религиозная, бытовая, сфера массовой информации и сфера искусств. Эти сферы противопоставлены друг другу по целям общения: в политической сфере целью является борьба за власть, в юридической – регулирование правоотношений, в финансовой – учет и распределение, в научной – выявление законов организации и развития природы, человека и общества, в педагогической – социализация личности и др.

Субъектом деятельности в политической коммуникации является человек как гражданин, как представитель политического объединения или государственного органа; субъектом коммуникации может быть и ис-

ключительно политическое объединение или государственный орган. В финансовой сфере субъектом коммуникации являются продавец или покупатель (это может быть частное лицо, организация или представитель этой организации). Соответственно в юридической сфере осуществляется коммуникация между органами власти, организациями и физическими лицами (но закон строго определяет возраст, состояние здоровья и другие условия юридической дееспособности человека). В религиозной сфере человек общается с Богом и его «представителями» на Земле.

Как известно, в современной функциональной стилистике выделяется пять основных функциональных стилей (функциональных типов) речи – научный, публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный (М.Н. Кожина, Д.Н. Шмелев и др.). Исследуемые в политической лингвистике тексты, как правило, относятся к публицистическому или официально-деловому стилю. Специальные наблюдения показывают, что научное или художественное описание политических событий, бытовые разговоры «о политике» строятся по иным стилистическим законам, чем политические тексты в официально-деловом и публицистическом стилях. Поэтому художественные, бытовые и научные тексты политической тематики можно отнести лишь к дальней периферии политической речи.

В зависимости от того, кто и для кого создает тексты, целесообразно различать следующие разновидности (уровни, подсферы), относящиеся к ядру политической коммуникации:

1) Аппаратная (служебная, внутренняя, бюрократическая) политическая коммуникация, ориентированная на общение внутри государственных или общественных структур. Такая коммуникация предназначена только «для посвященных», формальным признаком соответствующих текстов нередко служат грифы «секретно», «для служебного пользования». Несанкционированная «утечка» такой информации может служить причиной служебного расследования.

2) Политическая коммуникация в публичной политической деятельности. Подобная коммуникация является формой осуществления профессиональной и общественной деятельности политических лидеров и активистов; в качестве адресата здесь выступают самые разнообразные слои населения. Наиболее яркие примеры такой деятельности – это предвыборная агитация, парламентские дебаты (особенно если депутат надеется, что его выступление станет известно избирателям), официальные выступления руководителей государства и его структур, рассчитанные на массовую аудиторию.

3) Политическая коммуникация, осуществляемая журналистами и при посредстве журналистов. Такая коммуникация также рассчитана на массовую аудиторию; примерами могут служить интервью, аналитическая статья в газете, написанная журналистом, политологом или поли-

тиком (часто при помощи специалиста по СМИ). Журналисты в рассматриваемом случае привлекают внимание аудитории к проблеме, предлагают пути ее решения, сообщают об отношении к ней политических организаций и их лидеров, помогают политикам в решении их задач. Политически неактивные граждане воспринимают политическую информацию преимущественно в том виде, как она предстает в СМИ.

4) Политическая речевая деятельность «рядовых» граждан (не профессионалов в области политической коммуникации), которые участвуют в митингах, собраниях, демонстрациях. Такие коммуниканты обычно воспринимаются как своего рода представители «народа», избирателей, «трудящихся» или каких-то групп граждан, связанных профессией, возрастом, местом проживания и др.

Иногда в качестве особого уровня выделяют парламентскую и переговорную коммуникацию. Возможна и иная точка зрения: публичные выступления в парламенте можно считать разновидностью публичной политической деятельности, а закрытая для публики работа в комитетах очень близка к аппаратной коммуникации. Разновидностью последней можно считать и коммуникацию в процессе переговоров.

6. Жанры политической речи. Каждой коммуникативной ситуации в политической речи соответствует свой корпус жанров. Различают политические жанры устной речи (выступление на митинге, доклад, беседа, дебаты, интервью и др.) и жанры письменной речи (программа, листовка, газетная статья, письмо политическому лидеру и др.). Жанр – это важное средство индивидуализации текста, его соотношения с условиями речевой деятельности. Для каждого жанра существуют строгие правила организации текста.

В зависимости от функции различаются ритуальные жанры (инаугурационное обращение, приветственное слово и др.), ориентационные жанры (доклады, указы, договоры, соглашения), агональные жанры (лозунг, листовка, выступление на митинге, речевка) и информативные жанры (газетная информация, обращения граждан к политикам или в СМИ).

По объему информации среди жанров политической речи различаются малые (лозунг, слоган, речевка), средние (выступление на митинге или в парламенте, листовка, газетная статья и др.) и крупные (партийная программа, политический доклад, книга политической публицистики и др.).

В зависимости от цели высказывания в политической коммуникации различают информативные, оценочные и императивные жанры. Показательно, что информация, оценка и императив могут присутствовать в одном и том же тексте. Например, в агитационной предвыборной листовке обычно содержится информация о кандидате, его положительная оценка и призыв оказать ему доверие. Вместе с тем существуют тексты, в которых заметно преобладает один из названных выше жанровых при-

знаков. Примером преимущественно информативного жанра могут служить автобиографические книги политических лидеров.

Ярким примером императивности могут служить лозунги, широко использовавшиеся в советском политическом языке. Лозунг – это фраза, которая в краткой и яркой форме передает руководящую идею, актуальную задачу или требование. Хороший лозунг, как правило, отличается эстетической организацией формы, для чего используются метафоры, эллипсис, анафора, лексический повтор, синтаксический параллелизм и другие средства выразительности. В истории политической коммуникации навеки останутся лучшие (с точки зрения мастерства их создателей) советские лозунги: «Мы – не рабы, рабы – не мы», «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!», «Пятилетку – в четыре года!», «Профсоюзы – крылья советов!», «Партия – наш рулевой», «Экономика должна быть экономной».

Современные специалисты по организации политических кампаний предпочитают использовать не традиционные обозначения «лозунг» и «призыв», а пришедшее из английского языка слово «слоган». При этом иногда пытаются обнаружить некоторые смысловые различия между рассматриваемыми идеологемами. Например, дифференциация слогана и лозунга может быть ориентирована на разграничение коммунистической и либеральной пропаганды. Кроме того, анализ специальной литературы показывает, что слово «слоган» часто используется как общее наименование для любой яркой, запоминающейся фразы (или ее компонента), в том числе такой, которая не является собственно лозунгом, то есть не передает основную идею, а просто привлекают внимание к лозунгу или закрепляют его в сознании. К числу таких «слоганов-нелозунгов» специалисты по теории рекламы причисляют заголовки, завершающие текст эхо-фразы, саунд-байты. Примером саунд-байта может служить фраза, которую президент США Буш-старший часто повторял, предваряя особо важную часть своей речи: «Следите за моими губами».

Хороший слоган легко и прочно запоминается. Ярким примером могут служить некоторые зарубежные слоганы *Лейборизм не работает* (Великобритания, консерваторы). *Социализм слишком дорог* (Австрия, правые). *Сердце всегда будет биться слева* (левые, Франция). *Большинство получит большинство* (центристы, Франция). Удачные слоганы появились в последние годы в России: *Голосуй или проиграешь! Выбери сердцем!* (Б. Ельцин). *Ваша судьба – в ваших руках* (Г. Зюганов). *Нам здесь жить* (Е. Дарькин). *Наш дом Россия: Не допустим революции* (В. Черномырдин). *Не за награды... Могу, значит должен* (А. Лебедь). *Не дай Бог* (против Г. Зюганова). *Не граждане для государства, а государство для граждан* (Г. Явлинский). *Кто в лесу хозяин? Медведь* («Единство»).

Слоган может быть предъявлен автономно (например написан на транспаранте или даже на заборе) и в составе текста (например, в листовке, телепередаче или газетной статье). В последнем случае он должен быть выделен шрифтом, цветом, месторасположением и/или другими средствами. Это позволяет слогану реализовать свои основные функции: привлечь внимание, вызвать интерес, предложить идею, закрепить ее в сознании адресата.

7. Политический дискурс. Важнейший для политической лингвистики термин «дискурс» не имеет до настоящего времени единого определения. Как показывает Патрик Серио (1999), во французской лингвистике термин *дискурс* может обозначать и речевую деятельность, и текст, и контекст, и высказывание в его взаимосвязях с коммуникативной ситуацией. Похожая ситуация существует и в российской науке: дискурс определяется как «текущая речевая деятельность в данной сфере», «творимый в речи связный текст», «завершенное коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии участников коммуникации посредством вербальных текстов и/или других знаковых комплексов в определенной ситуации и в определенных социокультурных условиях общения». Как показывают специальные обзоры, в современной науке не существует единого понимания и видового термина «политический дискурс».

Представляется, что нет необходимости использовать термин «дискурс» для обозначения понятий, за которыми в лингвистике уже давно закрепились устойчивые названия. Едва ли есть смысл называть дискурсом контекст (как фрагмент текста), текст, нарратив (а также какое-либо иное объединение текстов) или речевую деятельность. В современной лингвистике дискурс обычно трактуется как более широкое понятие. Так, по определению Т.А. ван Дейка, дискурс – это сложное единство языковой формы, значения и действия, которое соответствует понятию «коммуникативное событие» (Дейк 1989, с. 46). Преимущество такого подхода в том, что дискурс не ограничивается рамками собственно текста, а включает также социальный контекст коммуникации, характеризующий ее участников, процессы продуцирования и восприятия речи с учетом фоновых знаний. По словам Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова, дискурс – это «сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» (1989, с. 8). По образному выражению Н.Д. Арутюновой, дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» (1998, с. 137).

Политическая «жизнь», определяющая восприятие текста, максимально многообразна. Поэтому в содержание **политического дискурса** должны быть включены все присутствующие в сознании говорящего и слушающего (пишущего и читающего) компоненты, способные влиять

на порождение и восприятие речи. К числу этих компонентов относятся другие тексты, содержание которых учитывается автором и адресатом данного текста, политические взгляды автора и его задачи при создании текста, представление автора об адресате, политическая ситуация, в которой создается и «живет» данный текст.

Изучение политического текста и его элементов в дискурсе – это прежде всего исследование степени воздействия на данный текст и на его восприятие адресатом разнообразных языковых, культурологических, социальных, экономических, политических, национальных и иных факторов. Многие ученые считают, что «текст» – это понятие собственно лингвистическое (высшая единица синтаксиса), а термин «дискурс» имеет лингво-социальный характер, это предмет исследования лингвокультурологии, социолингвистики, политической лингвистики.

В необходимых случаях выделяют специфику митингового или парламентского дискурса, регионального или федерального дискурса, фиксируют особенности дискурса конкретной избирательной кампании или определенного этапа развития политического языка. Например, выражение *митинговый дискурс* обозначает разновидность политического дискурса, в котором на содержание и оформление текстов оказывает воздействие политическая коммуникативная ситуация «митинг», участники митингов вольно или невольно ведут себя именно так, как это принято в соответствующей ситуации, выступления на митинге строятся иначе, чем выступления в парламенте или партийном форуме. При необходимости специалисты изучают также коммуникативные ситуации, в которых политический дискурс взаимодействует с дискурсом иной коммуникативной сферы (религиозным, юридическим, военным и др.).

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните, как соотносятся термины *русский язык, современный русский язык и современный русский политический язык*?
2. Имеются ли в русском политическом языке такие фонемы, морфемы, слова и синтаксические конструкции, которых нет языке русской публицистики или в русском национальном языке?
3. Что такое политический текст? Чем он отличается от публицистического текста? Может ли один и тот же текст одновременно быть и политическим и публицистическим?
4. Назовите содержательный и целевой признаки политического текста.
5. Как соотносятся термины *политическая речь и политическая коммуникация*?
6. Назовите основные задачи и основные уровни политической коммуникации. Входят ли в сферу политической коммуникации политические анекдоты и научные монографии политологов?

7. Приведите примеры малых, средних и крупных жанров политической речи? Какие особенности малых жанров должны учитывать политики?

8. В какой степени жанровые признаки политического текста зависят от коммуникативной ситуации и личности автора?

9. Насколько удачными являются следующие слоганы: *Сердце всегда будет биться слева* (французские социалисты), *Не граждане для государства, а государство для граждан* (Г. Явлинский). *Кто в лесу хозяин? Медведь* («Единство»). Чем эти слоганы могут привлечь внимание избирателей и повлиять на их выбор?

10. Какое из предлагаемых обозначений лучше использовать: *язык Ю.М. Лужкова*, *стиль Ю.М. Лужкова*, *речь Ю.М. Лужкова*? Обоснуйте свою точку зрения.

Языковая картина политического мира

Одно из основных понятий современной лингвистики – «языковая картина мира», то есть целостная совокупность образов действительности, которая существует в индивидуальном или коллективном сознании и отражается в коммуникативной деятельности. Поскольку языковая картина мира существует не в языке, а в сознании, то многие специалисты предпочитают использовать термин *лингвоментальная картина политического мира*.

Политическая сфера – это важная часть национальной культуры. Языковая картина политического мира представляет собой сложное объединение ментальных единиц (концептов, стереотипов, сценариев, концептуальных полей, ценностей и др.), относящихся к политической сфере коммуникации и политическому дискурсу. Большинство этих единиц зафиксированы в языке при помощи слов, составных наименований, фразеологизмов и в той или иной мере навязывают человеку определенное видение мира, особенно в аспекте его категоризации и оценки. Рассмотрим особенности конкретных единиц, образующих языковую картину политического мира.

1. Политические концепты. В современной лингвистике *концепт* – это единица сознания (ментальная единица), которая обозначается словом (фразеологизмом, составным наименованием и др.). Наибольший интерес для науки представляют концепты, представляющие важнейшие элементы национального политического сознания. Совокупность таких концептов образует политическую концептосферу, в которой концентрируется политическая культура нации.

Содержание концепта значительно шире содержания, обозначающего данный концепт слова (термина), поскольку в содержание концепта входят не только понятийные, но и эмоциональные, ценностные, куль-

турно-исторические и образные компоненты. Рассмотрим с этой точки зрения структуру концепта Государственная Дума.

1. Понятийный компонент. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государственная Дума – это нижняя палата Федерального собрания как высшего законодательного органа страны. В связи с этим членов Государственной Думы нередко называют парламентариями, что подчеркивает близость их прав и обязанностей функциям депутатов парламентов других стран.

2. Культурно-исторический компонент. Название современного российского парламента, с одной стороны, подчеркивает преемственность этого законодательного органа с Государственной Думой российской империи, а с другой – по существу противопоставлено названию Совета Федерации – высшего законодательного органа Советского Союза. В сознании нашего общества присутствуют также события, связанные с появлением постсоветских органов государственной власти, и вооруженное столкновение между сторонниками президента и парламента в 1993 году.

3. Образный компонент. Государственная дума – это, во-первых, величественное здание в центре Москвы, а во-вторых – установленная процедура принятия судьбоносных для России решений.

4. Ценностный компонент. В современном обществе демократия – это одна из главных политических ценностей. Государственная Дума – это важная часть демократического устройства современной России, важнейшая составляющая законодательной власти.

5. Эмоциональный компонент. В России с давних пор нет должного уважения к власти и людям, ее олицетворяющим. К сожалению, деятельность депутатов Государственной Думы и их личные качества не всегда вызывают у наших граждан только положительные эмоции. Негативной оценке в значительной степени способствовали также памятные для страны скандалы и физические столкновения в стенах Думы.

Концепт охватывает все богатство содержания слова и представлений носителей данной культуры о характере явления, стоящего за словом, взятым во всем многообразии его разнообразных качеств, признаков, связей и оценок.

2. Ментальные сферы (ментальные поля). Образующие языковую картину политического мира концепты могут относиться к различным сферам политической сферы. В процессе классификации разграничиваются сферы внутренней и внешней политики. К сфере внешней политики относится языковая «карта» политического мира, образы зарубежных стран, населяющих и народов, глобальные объединения по религиозным, расовым и социокультурным признакам. Например, в современном русском национальном сознании разграничиваются ближнее и дальнее зарубежье, страны западной и восточной цивилизации, страны католи-

ческой, православной, протестантской, мусульманской, буддистской и иных религий. К этой же сфере относятся типовые представления о различных государствах (например, концепты «Франция», «Соединенные Штаты», «Япония») и о национальном характере тех или иных народов (этнические стереотипы), о взаимоотношении России с различными государствами и цивилизациями. Со временем эти представления изменяются, а вместе с этим преобразуются языковые единицы, которые отражают, или, по выражению Е.С. Кубряковой, «схватывают» концепты как ментальные единицы. Вместе с тем в процессе речевой деятельности происходит кристаллизация новых концептов, для фиксации которых нередко применяются уже готовые лексические единицы, в том числе с использованием ресурсов метафоризации.

Языковая картина политического мира включает ментальные поля «Субъекты политической деятельности» (политические партии и организации, политические лидеры и активисты, граждане, избиратели и др.), «Органы государственной власти» (федеральные и региональные, представительной, исполнительной и судебной), «Политическая борьба и ее формы» (митинги, демонстрации, выборы и др.), «Политическая агитация» и др.

Названные ментальные поля существуют в национальных картинах всех современных цивилизованных народов; как правило, совпадают даже составляющие эти поля концепты. Вместе с тем, каждый язык представляет собой оригинальную категоризацию и оценку политической реальности. Например, при общности функций наш концепт «милиция» воспринимается в русском национальном сознании не так, как концепты «полиция» в представлении граждан Германии или США. Наши соотечественники значительно меньше, чем американцы или немцы, верят в то, что результаты политических выборов в их родной стране подводятся объективно и действительно позволяют выявить наиболее достойных кандидатов.

3. Стереотипы в политическом дискурсе. Понятие «стереотип», предложенное ещё в начале прошлого века американским журналистом У. Липпманном для характеристики особенностей массового сознания, в настоящее время нашло широкое применение в политической лингвистике. **Стереотип – это схематичное и стандартное представление о политическом феномене, отличающееся устойчивостью и эмоциональной окраской.** Например, в соответствии со стереотипными для российского сознания представлениями итальянцы музыкальны, эмоциональны, чрезмерно жестикулируют, обожают макароны. Разумеется, речь идёт не о всеобщих, а только типичных качествах; подобные свойства характерны не для каждого итальянца, а лишь для большинства представителей этой нации, что не исключает существования разного рода индивидуальных отклонений.

Стереотипы формируются под влиянием социальных условий и предшествующего опыта. В зависимости от сферы существования (нация в целом, члены определенной партии, представители профессиональных или иных социумов и др.) различают стереотипы национальные, партийные, социумные, групповые и личностные.

Стереотипы возникают в силу действия двух тенденций человеческого сознания: стремления к **конкретизации**, то есть к сближению абстрактных сущностей с какими-то конкретными образами, и тенденции к упрощению, редукционизму, суть которой сводится к выделению нескольких признаков в качестве ведущих для обозначения сложных явлений. Например, в отечественной ментальности закрепились стереотипы о немецкой педантичности, африканском темпераменте, вспыльчивости итальянцев, упрямстве финнов, медлительности эстонцев и французской галантности.

Исследователи отмечают, что национальные стереотипы, с одной стороны, облегчают межнациональное взаимодействие, так как они выступают как своего рода ориентиры для «среднего человека», не обладающего запасом знаний и способностью быстро разобраться в сплетении фактов, мнений, цифр.

С другой стороны, национальные стереотипы слишком упрощают столь сложное явление, как национальный характер. Специалисты отмечают, что каждая нация склоняется к завышенной самооценке и недооценке групп чужих, которые преимущественно представлены в аспекте социокультурных различий, отклонений от господствующих норм и ценностей, жестокости и угрозы. В стереотипных представлениях национальные различия между этносами усилены и увеличены, а сходства игнорируются и уменьшаются.

Специалисты различают гетеростереотипы (представления о других) и автостереотипы (представления о самом себе как некоторой культуры, образ «себя»). Анализ стереотипов восприятия нацией самой себя позволяет лучше понять национальное самосознание, национальные ценности, образ мышления. Позитивные национальные автостереотипы создают возвышающий имидж своей нации, а негативные гетеростереотипы зачастую формируют «образ врага», то есть негативные представления о нации, государстве или группе государств, которые используются для контроля над массовым сознанием и для культивирования чувств страха, недоверия и враждебности. «Образ врага» имеет свой антипод – «образ друга», то есть намеренное акцентирование позитивного имиджа (например, в пропаганде времён «реального социализма»).

Важно подчеркнуть, что стереотипное восприятие «чужого» этноса характеризует не столько его, сколько этнос, в котором оно образовалось и бытует. Оценки какой-либо нации со стороны людей иных национальностей весьма различны, поскольку национальные стереотипы

представляют собой своего рода проецирование «своих» ценностей на «чужие». Именно этим объясняется, например, тот факт, что восприятие французов в русском национальном сознании значительно отличается от испанского или немецкого национального сознания. Внедрение стереотипов в массовое сознание, как правило, не преследует цели сознательно оскорбить другую нацию. Сталкиваясь с по-иному структурированной картиной мира, с иными морально-этическими ценностными ориентирами определённого социума, стереотипы восприятия «чужого» мобилизуют общественное мнение своей страны, формируя негативный имидж другой нации, что неизбежно обедняет и сужает сферу интересов адресата и эффективность культурного диалога.

4. Ценности и антиценности в политическом дискурсе. Политическое сознание отдельного человека, социума или нации в целом в значительной степени определяет принимаемая система ценностей и антиценностей. В данном случае «ценность» – это то, что субъекты политической деятельности (конкретные люди, политические движения, партии и др.) считают наиболее важным для себя, к чему они стремятся, за что готовы бороться. Соответственно, «антиценность» – это то, что воспринимается как нежелательное, вредное, против чего борются субъекты политической деятельности.

При наиболее общем подходе целесообразно использовать следующую классификацию политических ценностей:

1) Высшие ценности – человечество, человек.

2) Материальные ценности – природные ресурсы, труд, орудия и продукты труда, необходимые для существования человечества и его воспроизводства.

3) Ценности социальной жизни – различные общественные образования, возникающие в ходе прогрессивного развития человечества, общественные институты, необходимые для жизнедеятельности общества: семья, нация, класс, государство.

4) Ценности духовной жизни и культуры – научные знания, философские, нравственные, эстетические и другие представления, идеи, нормы, идеалы, призванные удовлетворять духовные потребности.

5) Политические ценности – свобода, демократия, права человека, права нации и др.

С точки зрения значимости предметов для общества и человека, ценности можно разделить на две группы:

1) абсолютные ценности – предметы или свойства, которые везде и всегда сохраняют для людей значение безусловной ценности: жизнь, здоровье, знания.

2) относительные ценности – предметы и их свойства, значение которых меняется по каким-либо причинам (историческим, классовым и др.).

При выявлении системы ценностей того или иного субъекта политической деятельности используются следующие критерии.

1) Высокая частотность слов, обозначающих соответствующие ценности и антиценности, в соответствующих текстах. Например, В.В. Путин в своих выступлениях постоянно обращается к таким ценностям, как *свобода, демократия, экономический рост*.

2) Представление ценностей и антиценностей в качестве объекта борьбы. Президент России В.В. Путин заявляет: *«Наша позиция ясна – защищать гражданские, политические, экономические свободы»*.

3) Толкование слов (определение понятий), обозначающих соответствующие ценности и антиценности. Так, в речах В.В. Путин считает нужным обратиться к этимологии слова *демократия*: *«Демократия – это власть народа»*. В качестве элементов толкования можно рассматривать и своего рода справки об истории соответствующих ценностей. Ср.: *«В свое время демократия применялась в Древней Руси в прямом ее варианте и в древнем Новгороде, и во Пскове. Это так называемое народное вече, когда народ весь собирается на площади и решает прямо на месте ключевые вопросы своей жизни»* (В.В. Путин).

4) Конкретизация представлений о ценностях и антиценностях. Например, президент России В.В. Путин следующим образом конкретизирует ценность *свобода*: *«Наша задача – научиться использовать инструменты государства для обеспечения свободы – свободы личности, свободы предпринимательства, свободы развития институтов гражданского общества»*.

5) Характеристика и особенно сопоставление «наших» (то есть своих собственных, своей партии, своей страны) и «чуждых» (то есть характерных для других партий, идеологий или государств) ценностей и антиценностей. Например, В.В. Путин в своих выступлениях противопоставляет *демократию* таким феноменам, как *тоталитаризм, репрессии, заключение, изгнание*.

Заканчивая рассмотрение языковой картины политического мира, необходимо отметить, что знаменитый тезис В. фон Гумбольдта «язык есть выражение духа народа» в полной мере относится и к сфере интересов политической лингвистики. Отметим только, что этот дух, с одной стороны, имеет глубокие исторические корни, а с другой – трансформируется вместе с изменением социально-политических условий.

Представленный обзор свидетельствует, что политическая лингвистика на современном этапе ее развития превратилась в особое научное направление, для которого характерны не только специфические объект и принципы исследования, но и особый понятийно-терминологический аппарат, особый предмет изучения. Вместе с тем, политическая лингвистика в ее современном состоянии не имеет каких-либо особых, присущих только для нее методов научного исследования, она по-прежнему

отличается мультидисциплинарностью подходов и широким спектром относительно автономных направлений.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое языковая картина политического мира? Каковы составляющие этой картины?
2. Могут ли те или иные фрагменты языковой картины политического мира совпадать у российских коммунистов и членов партии «Яблоко»? Могут ли полностью совпадать у различных партий языковые картины политического мира?
3. Что такое политический концепт, какие компоненты составляют его содержание?
4. Что такое концептуальное поле? Назовите ведущие концептуальные поля, присутствующие в политической картине мира.
5. В какой мере существующие стереотипы отражают реальные национальные характеры русских, поляков или французов?
6. Должны ли политические лидеры учитывать стереотипы, существующие в национальном сознании? Обоснуйте свое мнение.
7. Что такое автостереотипы и гетеростереотипы? В какой степени совпадают мнение о *своих* и *чужих* в представлениях разных народов?
8. Раскройте сущность понятий *ценности* и *антиценности* в политической лингвистике. В какой мере совпадают и в какой степени различаются ценности и антиценности в политической картине мира партий, представленных в существующей Государственной думе?
9. Каким образом специалисты выявляют стереотипы и ценности, присущие картине мира того или иного политика?
10. Выделите термины политической лингвистики, которые использует автор одной из научных статей, указанных в библиографии, и раскройте содержание этих терминов.

Глава 2. ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА, ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

При всем многообразии политических стилей и жанров, при всех различиях коммуникативных стратегий и тактик, используемых в политической коммуникации, при всей значимости специфики конкретных дискурсов специалисты стремятся выделить некоторые общие черты, свойственные самым разнообразным политическим текстам. Эти общие признаки в значительной степени связаны со специфическими функциями политической коммуникации и дискурсивными характеристиками ее осуществления.

Типовые свойства политической коммуникации

Речь политика должна обладать множеством, казалось бы, противоречащих друг другу качеств. Она должна быть понятна всем, и в то же время некоторые ее детали должны уловить только «посвященные». Политик должен говорить именно так, как требует его статус и ситуация, и вместе с тем выражать собственную позицию. Слова политика должны быть концентрированным выражением мнения его избирателей, и вместе с тем он должен выражать собственную точку зрения, оказывать влияние на политические настроения в обществе. Политик должен уметь решительно отстаивать свою точку зрения и вместе с тем он обязан быть толерантным к иным воззрениям.

Изучение закономерностей политической коммуникации позволяет выделить следующие ее типовые свойства, представленные в виде своего рода антиномий - противоречивых тенденций, каждая из которых в той или иной мере отражает сущность объекта.

1. Ритуальность и информативность политической коммуникации. Казалось бы, политические тексты должны быть максимально информативными, то есть реализующими коммуникативную функцию, передающими новую информацию, однако политическая коммуникация нередко оказывается ритуальной, то есть такой, для которой характерны фиксированность формы и отсутствие установки на новизну содержания. Например, в публичном политическом дискурсе советской эпохи существовали освященные традицией правила политической коммуникации: всем посвященным было известно, кто, что, когда и в какой форме должен сказать, а также кто и как должен отреагировать на слова выступающего (бурные аплодисменты, просто аплодисменты, выступления в прениях, последующая организация собраний для выражения поддержки и др.). Типичный пример ритуальной политической коммуникации - партийный съезды или сессии Верховного Совета периода

развитого социализма. Программы таких форумов были заранее тщательно спланированы, а делегаты и депутаты превращались в участников грандиозного спектакля.

Основная задача публичной ритуальной коммуникации – фиксация своей приверженности существующим правилам и подтверждение своей социальной роли; с этой точки зрения ритуал противопоставлен диалогу как свободному обмену мнениями. Вместе с тем политические функционеры и журналисты «советской школы» гордились своим умением «в рамках дозволенного» и со ссылками на классиков марксизма поставить сложнейшую проблему, то есть превратить ритуальную коммуникацию в информативную.

Представляется, что современная политическая коммуникация часто бывает не менее ритуальной, чем в советские времена, но сейчас изменились ритуальные правила и соответствующие им роли. Современный ритуал – это исполнение ролей «народного заступника», «поборника прав человека», «патриота», «центриста», «рыночника», «ортодоксального коммуниста», активиста движения зеленых и др. Например, если намечается строительство нефтепровода для экспортных операций, то можно заранее предположить, что одни политики будут говорить о загубленной природе, другие – о распродаже сырьевых ресурсов и превращении России в сырьевой придаток Запада, третьи – о выгодах экономического сотрудничества, а четвертые – о том, что полученные за проданную нефть деньги все равно разделят бюрократы и олигархи, а народ останется обездоленным.

Если в советский период, когда официально существовала лишь одна политическая партия, ритуальная коммуникация была информативно ориентирована на поддержку властных структур, то современный ритуал имеет критическую направленность. При оценке едва ли любого действия правительства правая оппозиция характеризует его как ущемляющее права личности и экономическую свободу, а левая (национал-патриотическая и коммунистическая) – как противоречащее национальным традициям, ведущее к разграблению государства и обнищанию народа, очередной шаг к отказу от социальных завоеваний советской эпохи. Иначе говоря, ритуал стал, во-первых, иным, во-вторых – более разнообразным.

Ритуальность может проявляться в различной степени: существуют ситуации, когда политическая коммуникация абсолютно ритуальна, но во многих других случаях ритуальность минимальна и коммуниканты стремятся сделать свое выступление нестандартным по форме и максимально информативным по содержанию.

2. Институциональность и личностный характер политической коммуникации. В социолингвистике разграничивают два ведущих вида дискурса: персональный (личностный) и институциональный. В первом

случае говорящий выступает как личность, со всеми присущими ей индивидуальными характеристиками и особенностями.

Во втором случае говорящий выступает как представитель определенного социального института и как носитель определенного социального статуса, что предопределяет соблюдение установленных статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных норм. Такое общение – это «коммуникация в своеобразных масках» (В.И. Карасик), за которыми скрываются личностные качества.

Политическая коммуникация преимущественно институциональна: это означает, что общение происходит не столько между конкретными Иваном Петровичем и Василием Сидоровичем, сколько между представителем одного социального института (правительства, парламента, общественной организации, муниципалитета и т.п.) и представителем другого социального института или «гражданином», «избирателем». В каждом социальном институте существует определенный стандарт поведения, в том числе речевого. Соответственно принадлежность человека к каждому социальному институту предопределяет соблюдение им правил поведения, существующих для каждой формы политического коммуникативного взаимодействия (митинг, парламентская полемика, работа в парламентских комитетах, интервью, встреча с избирателями, поздравление, награждение и др.).

В институциональном общении, в отличие от личностного, жестко зафиксирован статус каждого коммуниканта (избиратель, депутат, представитель общественной неполитической организации, лидер партии и др.), его политическая роль (например, представитель правящей партии, представитель конструктивной или непримиримой оппозиции, государственный служащий определенного ранга).

Социальный институт предопределяет строгую систему целесообразно ориентированных стандартов поведения в тех или иных ситуациях, и эти стандарты имеют иной характер, чем при личностном общении. Например, если политическое обращение адресовано «Министру образования Российской Федерации Владимиру Филиппову», то ответить на него в той или иной форме может не только сам министр, но и его заместитель, поскольку в данном случае социальный статус важнее личностного. Совсем иначе обстоит дело в личностной коммуникации: на личное письмо родственников к Владимиру Филиппову в каких-то ситуациях от имени семьи может ответить жена или сын министра, но этого не будет делать его заместитель.

В каждом языке существуют специальные языковые средства, сигнализирующие об институциональном или личностном характере коммуникации, о ситуации и о социальных ролях коммуникантов. Например, в русской речи очень показателен выбор обращения: в зависимости от ситуации политический лидер обращается к «дорогим товарищам», к

«господам», к «россиянам», к «соотечественникам» или к «уважаемым избирателям». При личной коммуникации возможно обращение по сокращенному имени, по отчеству (без имени), а также общение с использованием местоимения «ты». В политической коммуникации постоянно наблюдается взаимодействие: устранение личностного начала превращает участников институционального общения бездушных роботов, однако существует грань, выход за которую воспринимается как нарушение существующих норм.

Уровень институциональности сокращается в жанрах, совмещающих признаки публицистического, личностного и политического дискурса, особенно в тех ситуациях, когда политические проблемы отражаются в средствах массовой информации с использованием специальных жанров (репортаж, фельетон, колонка обозревателя и др.). Вместе с тем во многих случаях даже политики стремятся сделать свое выступление более естественным, приближающимся по своим внешним признакам к бытовому диалогу. Примером может служить следующий фрагмент из парламентского выступления писателя-депутата Чингиза Айтматова:

«Вот здесь сидит мой друг Алесь. Я к Адамовичу обращаюсь. Мы с тобой, Алесь, старые друзья, мы с тобой понимаем друг друга с полуслова... Поэтому не время сейчас, Алесь дорогой, терзать собственные души и вводить какую-то смуту...»

Такое построение речи производит впечатление особой доверительности, искренности, позволяет сказать больше, чем это позволяет официальная обстановка.

3. Эзотеричность и общедоступность политической коммуникации. Политические тексты, казалось бы, должны быть максимально доступными для адресата, политики постоянно говорят о своей близости к народу, о выражении его интересов. Чтобы народ поддерживал ту или иную политическую партию, речь ее лидеров должна быть по меньшей мере понятна избирателям. Однако в действительности многие политические тексты являются в той или иной мере эзотеричными. Эзотеричность коммуникации – это ее доступность только для специалистов, для людей, способных почувствовать в ней скрытый смысл, подтекст, для которых важно не только то, что сказал политик, но и то, как он это сказал и о чем он умолчал.

В некоторых исследованиях, посвященных русскому политическому языку советского периода, эзотеричность представляется как типичное свойство лишь советского «новояза». Это не совсем верно: эзотеричность в несколько иной форме присутствует и в современном российском политическом дискурсе, она легко обнаруживается и при анализе зарубежных текстов.

Следует различать эзотеричность и смысловую неопределенность высказывания. При эзотеричности смысл понятен хотя бы специали-

стам, при неопределенном ответе участник диалога вообще не предоставляет запрашиваемую информацию или предоставляет ее в неполном виде. Существуют стили и жанры речи, где важнейшим требованиям к манере изложения является смысловая точность, а неопределенность высказывания считается его серьезным недостатком. Например, авторы научных текстов ради точности готовы пожертвовать красотой слога. Совершенно иначе обстоит дело в политической речи, где красивый лозунг часто оказывается более эффективным, чем самая тщательная рациональная аргументация.

По словам знаменитого французского министра иностранных дел князя Талейрана, слова используются дипломатом для того, чтобы скрывать свои мысли. Этот афоризм в значительной степени относится и к политикам, которые просто обязаны уметь отвечать на каверзные вопросы, не разглашая конфиденциальной информации и не давая повода для упреков.

Политические лидеры во многих случаях вынуждены изъясняться в максимально обобщенной форме, употреблять слова и выражения, которые различные адресаты понимают по-своему. Например, призывы М.С. Горбачева к перестройке были поддержаны подавляющим большинством населения страны, в том числе Центральным Комитетом КПСС, во многом потому, что первоначально не были конкретизированы цели перестройки и пути ее осуществления.

Существуют политические понятия и лозунги с максимально обобщенным содержанием. Так, призывы к свободе, демократии, социальной справедливости, патриотизму готовы поддержать все крупные политические партии в цивилизованных странах, но многие из этих партий по-своему объясняют сущность политической свободы, демократии, социальной справедливости и патриотизма. Например, советские руководители уверяли весь мир (и, возможно, сами в это верили), что Советский Союз – это самая свободная страна в мире, но в выступлениях многих зарубежных лидеров говорилось о поработанных народах России. Возможности различного понимания смысла одних и тех же слов создают условия сокрытия подлинного смысла политического текста.

4. Редукционизм и полнота информации в политическом тексте.

Реальная политическая действительность редко может быть объективно охарактеризована с использованием только черных и белых красок. В деятельности любой партии можно найти как достижения, так и неудачи, среди партийных лидеров встречаются не только кристально чистые и чрезвычайно талантливые люди, но и политики с изъянами в моральной, деловой или волевой сфере. В прошлом нашей страны были и блестящие победы, и обидные неудачи. Однако в политической коммуникации, особенно в периоды обострения политической борьбы, нет места детальному объективному анализу. Особенно показательны тексты, соз-

данные в периоды избирательных кампаний. Один и тот же кандидат в депутаты изображается то безупречным рыцарем со светлой головой и большим опытом, то преступником, рвущимся к власти в корыстных целях и не способным осознать, какую ответственность он пытается взвалить на свои слабые плечи. В одних публикациях советское прошлое нашей страны предстает как сплошной ГУЛАГ, а в других – как победный марш энтузиастов, руководимых мудрыми вождями. Рассматриваемую особенность политической коммуникации называют редукционизмом политического дискурса, бинарностью ценностных оппозиций или схематизацией политической коммуникации.

Редукционизм – естественная черта политической коммуникации. Политическая речь рассчитана на массового адресата, в идеале текст листовки, предвыборный слоган и другие подобные материалы должны быть понятны всем читателям. Между тем еще древние риторы говорили, что излишняя детализация способна затуманить суть проблемы, особенно в сознании малоподготовленного человека. Хорошо известно, что в науке и искусстве вопрос об истинности теорий и гениальности их создателей не должны решаться голосованием, особенно если в таком голосовании примут участие профаны. В политике судьбоносные для государства решения принимаются как раз путем всеобщих выборов, большинство участников которых не являются профессиональными политиками.

Степень редукционизма в значительной степени зависит от жанра текста, его автора, адресата и политической ситуации. Максимальная степень редукции характерна для малых жанров (слоган, тезисы, листовка, плакат); предполагается, что максимально взвешенным и многоаспектным изложение должно быть в аналитических материалах для внутривнутрипартийного пользования. Степень редукционизма выше в текстах, ориентированных на массового адресата, и ниже в текстах, предназначенных для специалистов. Редукционизм политической коммуникации особенно усиливается в периоды обострения политической борьбы. Замечено, что наиболее категоричны в своих высказываниях политики крайне левых и крайне правых взглядов.

Редукционизм проявляется в политической коммуникация самых различных стран, но, возможно, он особенно характерен для России. Академик Д.С. Лихачев справедливо отмечал такие черты русского менталитета, как тенденция к крайностям, к биполярному черно-белому мышлению, нелюбовь к компромиссам. В нашей политической жизни это проявляется в виде однозначных характеристик: свой или чужой, правильный или неверный, хорошо или плохо, патриотизм или космополитизм, а это лишает характеристики оттенков и нюансов.

5. Стандартность и экспрессивность в политической коммуникации. Три десятилетия назад В.Г. Костомаров выделил как основную

черту газетного языка – постоянное взаимодействие экспрессии и стандарта. Подобное свойство характерно и для политической коммуникации.

Экспрессивность высказываний предполагает максимальное использование выразительных средств, что делает восприятие текста интересным для адресата, придает тексту эстетическую значимость. К числу выразительных средств относят разнообразные стилистические фигуры (антитеза, инверсия, эллипсис, сравнение и др.), средства экспрессивного синтаксиса, окказиональные слова, трансформация фразеологизмов и др. Сюда же относятся метафорические и метонимические обозначения, особенно в тех случаях, когда наблюдается яркая образность, необычность словоупотребления.

Стандартность высказываний обеспечивает их доступность для самого широкого круга читателей и слушателей: при восприятии текста с высокой степенью стандартности людям не надо тратить много усилий для уяснения смысла. В подобных текстах используется преимущественно общеупотребительная высокочастотная лексика; стандартность предполагает также преимущественное использование слов именно в тех значениях, которые зафиксированы толковыми словарями. К числу рассматриваемых средств относятся также «стертые», потерявшие образность метафоры, превратившиеся в штампы. Тексты, насыщенные подобными средствами и лишенные выразительности, часто воспринимаются как «серые», «безликие», малоинтересные.

Соотношение экспрессии и стандарта на разных этапах развития политической коммуникации может быть неодинаковым. Так, среди типичных признаков советского «новояза» называли его высокую стандартизованность и осторожное отношение к использованию выразительных средств.

Для современного политического языка характерно противоположное соотношение экспрессии и стандарта: мы живем в период высокой степени экспрессивности политической коммуникации, это особенно относится к текстам, создаваемым левыми и правыми экстремистами. Примером может служить следующий отрывок из интервью В. Цепляева с депутатом Государственной Думы журналистом Александром Невзоровым:

– *Когда говорят о возрождении России, я немножко холодею. Какую именно Россию возродить? Не было ни одного века, ни одного десятилетия, когда бы Россия не занималась пожиранием своих граждан.*

Нам вообще противопоказан порядок. Это главный враг экономики России. Ведь наш бизнес по сути дела тот же Раскольников. У него еще с топора капает, а к нему уже лезут с НДСом по поводу отобранных у процентщицы побрякушек. Ну дайте вы человеку отдышаться, топор вытереть, пересчитать добытые драгоценности. А потом приставайте!

– Но ведь Путин – олицетворение идеи порядка, государственник. Вы поддерживаете его, но против порядка?

– Я просто объясняю, что порядок для нас губителен. В России это либо опричнина, либо лагеря, либо управдомы-стучачи. А то, что Путин наводит порядок... Слава богу, на 95% это имитация. По-моему, президент тоже подозревает, что порядок в экономике может ее удушить. Путин получил страну, чуть-чуть подвытащенную Ельциным из полной задницы. Чем больше будет государственности, тем скорее мы вернемся обратно.

Важно подчеркнуть, что сами по себе стандартизированность или экспрессивность политического текста не должны оцениваться как положительные или отрицательные качества: вполне стандартные выражения есть даже в только что процитированном тексте (*возрождение России, олицетворение идеи порядка* и др.), элементы экспрессивности присутствовали даже в докладах Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Разным может быть только соотношение между стандартностью и экспрессией, что зависит от политической эпохи, жанра, индивидуальности автора и множества других дискурсивных характеристик.

7. Диалогичность и монологичность политического текста.

Современный политический текст часто строится и воспринимается как своего рода диалог с другими людьми, текстами и культурами: автор развивает и детализирует высказанные ранее идеи, полемизирует с ними, дает свою интерпретацию фактов. Политическая речь диалогична по своей природе, она ориентирована не столько на самовыражение, сколько на воздействие. Политик, в отличие от литератора, не может писать только «для избранных», «для интеллектуалов» и с презрением отвергать «чернь». Талантливый политик способен вступать в диалог со всеми слоями общества.

Существуют, по меньшей мере, три ведущих формы диалогичности. Первая из них – это собственно диалогичность, при которой в создании текста участвуют несколько говорящих. Показательно, если советские лидеры предпочитали монологический стиль общения и постоянно выступали с длинными речами и докладами, то современные политики значительно большее внимание уделяют речевому общению в виде бесед, интервью, пресс-конференций или дебатов со своими политическими оппонентами.

Вторая форма диалогичности – это диалоги «на расстоянии»: в этом случае политический лидер отвечает на заранее присланные вопросы или комментирует высказывания иных политиков, дает оценку существующим точкам зрения. Диалог становится более престижным, а поэтому диалогичные по форме фрагменты все чаще встречаются в устных и письменных монологических текстах (публицистических книгах, предвыборных программах и др.).

Третьей формой диалогичности политической речи является интертекстуальность, представляющая диалог культур во времени и пространстве. Современный политический текст часто оказывается насыщенным множеством скрытых и откровенных цитат, реминисценций, аллюзий, метафор; его полное восприятие возможно только в дискурсе, с использованием множества фоновых знаний из различных областей культуры. Использование в тексте прецедентных культурных знаков делают изложение более интеллектуальным, формируют новые смыслы, вводит текущие события в общеисторический и культурный контекст. Эти культурные знаки позволяют сделать сообщение более ярким, привлекающим внимание и одновременно ввести в изложение некоторые элементы языковой игры, предложить читателям для кого-то прозрачную, для кого-то достаточно сложную загадку.

Рассмотрим с точки зрения интертекстуальности следующий фрагмент из написанной Александром Прохановым передовой статьи газеты «Завтра» (2003, № 11).

Страна, как в обморок, впадает в очередные думские выборы. Лицо Вешнякова все больше напоминает «веселого Роджерса». Эстрадные певцы, вошедшие в партию «Единство», похожи на «людей Флинта, поющих песенки». Пустота проправительственного блока – это гулкая пустота склепа, откуда вынесли покойника и где валяется поношенная жилетка Черномырдина. На ней по-турецки уселись Грызлов, Лужков, Морозов, Шойгу, а также несколько малоизвестных подземных гномов, обычно населяющих пустые могилы...

Только коммунисты способны внятно обратиться к народу, обещая ему не памперсы, сликеры, ночные клубы и дискотеки, а великие труды, грандиозные стройки, колоссальное напряжение и в итоге – Русскую Победу. «Большой проект» вернет нас в развитие, когда бездельничающее, безработное, истосковавшееся по делу население станет строить трансконтинентальные дороги, океанские порты, осваивать «северные» и «южные» пути, изобретать технологии, высаживаться на планетах, создавать шедевры искусства и вооружения.

Мобилизация народа неизбежна. Дух не может дремать бесконечно. Россия грезит вождем. Он будет велик, прозорлив и добр. Будет Сталиным и Сергием Радонежским, Петром Великим и Николаем Федоровым. Пушкиным и Королевым. Он среди нас. Ищите его по нимбу вокруг головы.

Внимательный читатель легко обнаружит в рассматриваемой статье и несколько трансформированные строчки знаменитой «Бригантины» Михаила Светлова, и прецедентные имена, и символы прецедентных ситуаций (в первую очередь ситуации «строительства социализма» и ее составляющих), и прецедентные метафоры.

Каждый прецедентный феномен в тексте – это знак бесконечного диалога различных сфер культуры, различных ее поколений и вместе с тем показатель интеллектуального уровня автора и его оценки возможностей адресата. Творческая индивидуальность автора, автономность текста проявляются в удачном отборе элементов интертекстуальности, в умелом отборе самых компонентов из предшествующего опыта человечества для создания нового оригинального текста.

8. Явная и скрытая оценочность в политической коммуникации.

Политическая коммуникация всегда несет в себе не только информацию, но и оценку рассматриваемых реалий. Это объясняется прежде всего тем, что цель политического дискурса состоит не в объективном описании ситуации, а в убеждении адресата и побуждении его к политическим действиям. Ведущим средством этого побуждения служит оценка субъектов политической деятельности, политических институтов, ситуаций и действий.

Оценка в политическом дискурсе может проявляться эксплицитно или имплицитно, то есть в прямой или скрытой форме. Оценка дифференцируется по своего рода шкале: положительная оценка (в большей или меньшей степени), нейтральная оценка и отрицательная оценка (со множеством нюансов). Примером прямой отрицательной оценки может служить следующий фрагмент из выступления В.В. Жириновского в Государственной Думе: *Причины того, что происходит, не надо искать в отдельных реформаторах. Я уже шесть лет здесь выступаю и говорю: все, что происходит в России, копейка в копейку спланировано западными спецслужбами, все, до кандидатур на любые посты в том числе. Поэтому бесполезно здесь нам доказывать, кто у нас самодур. Самодур – Запад. Вот Западу нужна колониальная демократия, и России сегодня навязывают вариант: хотите демократию – только в виде колонии, чтобы вы были сырьевым придатком и уступили часть территории. Еще не всю уступили, еще нужно отдать Кавказ, часть Поволжья, Дальний Восток. Потом нас оставят в покое, но при этом будет колониальный режим... Нас ждет судьба Югославии: расчлениат до упора.*

Различают общую оценку (*хороший или плохой*) и частные оценки. К числу частных относят такие виды оценки, как эстетическая (*красивый – некрасивый*), утилитарная (*полезный – вредный*), моральная (*честный – бессовестный*), интеллектуальная (*умный – недалекый*), нормативная (*правильно – неправильно*), идеологическая (*коммунист – демократ*) и др. Например, при характеристике политического лидера в рамках избирательной кампании средства массовой информации особенно часто используют следующие виды оценки: оценка рейтинга и шансов на победу, морально-этическая оценка, эстетическая оценка, интеллектуальная оценка, утилитарная оценка, телеологическая оценка, идеологическая оценка, оценка опыта и профессиональной компетенции. Ср.: Пу-

тин, хоть и плохой демократ, и холодный рыбоглазый чекист по происхождению, обязан обеспечить окончательный либеральный прорыв, используя свою исключительную популярность и практически ничем не ограниченные полномочия (С.Белковский, Комсомольская правда).

Частные оценки не обязательно имеют положительный или отрицательный модус. В этом случае положительное или отрицательное отношение к соответствующему явлению формируется в сознании адресата. Ср.: *Отчасти консерватор, отчасти либерал в политике, Путин такой же и в одежде. Его никто не видел в ультрамодный костюмах, сорочках и галстуках. Зато в неформальном стиле одежды Путин с лихвой компенсирует вынужденную деловую строгость: он ввел в «высшую» моду (не путать с Высокой) куртки с капюшоном, которые до него руководители страны не носили* (Л. Кафтан, Комсомольская правда). Представляется, что автор в целом положительно оценивает то, как одевается президент, но у читателей могут быть и иные представления.

Объектом оценки в политическом дискурсе чаще всего становятся группы (люди, социумы, явления, вещи и др.), которые воспринимаются как СВОИ или ЧУЖИЕ, а также события и факты, которые находятся в той или иной связи названными группами. Особенно часто объектом негативной оценки становятся политические оппоненты. Ср.: *Андрей Козырев снискал себе славу не только как самый бездарный дипломат высокого ранга, но и как самый прозападный российский министр* (В. Жириновский, Комсомольская правда).

Различают неаргументированную оценку (например, *Он – хороший, Он – современный, Он – демократ* и др.) и оценку аргументированную (*Он – хороший, поскольку заботится о простых людях, защищает их интересы; Он плохой, потому что некомпетентный и эгоистичный*). Как справедливо отмечает В.Н. Базылев (2005), современный политический дискурс в России преимущественно является дискурсом не внушающего (особенность, присущая тоталитарным режимам), а убеждающего характера. Поэтому в российских политических текстах последних лет заметно преобладают аргументированные оценки.

К важным признакам современного российского политического дискурса относят также склонность к крайним безапелляционным оценкам (или все замечательно или все беспросветно) с явным предпочтением негативных оценок. Показательно, что наши избирательные кампании нередко организованы как «война компроматов», что избирателям нередко предлагают выбор по принципу «меньшего из двух зол».

Итак, оценочность – это стилеобразующая черта политической коммуникации, но в конкретных текстах оценки могут быть различными: прямыми и косвенными, позитивными и негативными, общими и частными, аргументированными и неаргументированными; еще более разнообразны конкретные формы выражения оценки и ее объекты.

9. Агрессивность и толерантность в политической коммуникации.

Политическую деятельность отличает постоянная диалектика агрессивности, решительной борьбы за свои идеи и толерантности, терпимости к идеям и поступкам политических единомышленников, союзников и соперников. С одной стороны, политик не может действовать в одиночку (и даже ограничиваться рамками только своей партии), а следовательно, он должен быть терпимым к инакомыслию. С другой стороны, политическая деятельность – это всегда борьба с оппонентами за достижение и удержание власти. В тоталитарном обществе политических оппонентов уничтожают физически, лишают их гражданских прав и возможности заниматься политической деятельностью. В демократическом обществе политических соперников стремятся отстранить от власти путем их дискредитации в социальном сознании.

Специальные исследования показывают, что агрессивность политической коммуникации резко возрастает в периоды, когда политическое решение должны принять широкие массы граждан (выборы, референдум, политические демонстрации и др.). Вместе с тем агрессивность заметно снижается, когда политические соперники вынуждены действовать совместно (например, при работе в парламенте или в муниципалитете, при необходимости бороться со стихией или противостоять давлению из-за рубежа). Коммуникативная (вербальная и невербальная) агрессивность обычно растет параллельно с социальным напряжением в обществе.

Рассмотрим ведущие формы проявления коммуникативной агрессивности в современном отечественном политическом дискурсе.

1. Призывы к физической агрессии и метафорическая характеристика политических действий как физической агрессии. Ср.: *Идет третья мировая война. Мы готовы рисковать собой и идти в штыковую* (В. Стародубцев). *Но должностным лицам некогда заниматься благосостоянием народа, они воюют друг с другом* (М. Светлова). *Степашин помешал Кремлю устроить «резню» в руководстве Газпрома* (М. Ростовский). *Бывшая первая дама северной столицы (Л.Б. Нарусова) будет драться за мандат думки как независимый кандидат* (М. Погодин). *Команда Лужкова вгрызается в глотку» Березовского* (А. Рубцов).

Основные сферы, которые служат в современной политической речи источником метафорических номинаций с агрессивным потенциалом, – это война, преступность и мир животных. Иначе говоря, политические оппоненты в современной политической коммуникации постоянно представляются как преступники, солдаты враждебной армии или кровожадные животные.

2. Использование инвектив (брани, оскорблений). К сожалению, в современном российском политическом дискурсе оскорбление полити-

ческих противников – один из самых распространенных приемов полемики. Ср.:

Наши противники говорили избирателям: «Не верьте этим жирным московским котам» (Е. Карсанова). Тыловые крысы грабят фронтовиков... Да только на проценты с задержанных фронтовикам боевых тыловая крыса в генеральских лампасах может не одну дачу построить (А. Кондрашов). Поубавится в России двуногих мафиозных акул, а у горемык-пенсионеров действительно появятся на столах хлеб и масло (В. Петров). Порой такое ощущение, что Кабинет министров – «сборище бандитов», которые регулярно собираются, чтобы обсудить, что как поделить, с кем свести счеты и кого запугать (К. Маркарян). Ни Кошман, ни те «козлы», которые вокруг него, не знают, как и что делать (С. Герасименко). И.о. президента, как и прежнего, окружают разрушители и жулики. Один из них – Жириновский (А. Терновский). Клиентура тоже не теряется, пиаровцев кидают, как полных лохов (А. Рубцов).

Значительная часть современных отечественных метафорических инвектив – это метафорическое обозначение объекта речевой агрессии как представителя мира животных (*животное, зверь, козел, осел, ишак, акула, шакал, таракан, клоп* и др.); широко используются также образы из военной и криминальной сфер (*шестерка, бандит, вор, лох, оккупант, захватчик, мародер* и др.).

Показательно, что инвективы активно используются в политическом дискурсе государств, которые считаются едва ли не образцами демократии.

3. Выражаемая в грубой, иронической, двусмысленной форме негативная оценка политических оппонентов, национальных, социальных и других групп, политических институтов и т.п. Следует отметить, что сама по себе отрицательная оценка теории и практики политических противников вполне закономерна, политическая борьба – это всегда столкновение мнений. Однако дискуссию нельзя сопровождать оскорблением достоинства оппонентов, что, к сожалению, весьма характерно для современной России. Ср.:

Больше всего новых погон было нарезано Министерством обороны для депутатов от КПРФ и ЛДПР, что следует объяснить успехами этих фракций в строевой подготовке: первые всегда ходят в ногу, а вторые при каждом удобном случае отдают честь (В. Шендерович). Как твякают политические партии друг на друга, имитируя бурную политическую жизнь, в конечном счете значения не имеет (В. Петров). По отношению же к власти лучше всего поза подчинения. Как у хищников. В такой позе тебя не тронут. Более того, допустят до остатков трапезы (В. Егорушкин). Чтобы цапнуть Лужкова ниже пояса, кое-кому пришлось встать на четвереньки (А. Рубцов).

4. Использование специальных знаков агональности, к которым относятся маркеры «чуждости», показатели умаления значимости, выражение недоверия к искренности оппонента и достоверности его суждений. Политические оппоненты представляются как враги и вредители, а не как сограждане, имеющие другие взгляды на пути к процветанию России, как люди, которым безразличны интересы Родины. Ср.:

Только сценарий этой драмы пишется далеко за пределами России (А. Дорофеев). У них нет здесь корней, они не заинтересованы в развитии именно этого региона (И. Ковпак); От программы СПС веет ветром запада (Н. Шипицына).

Совсем иначе представляют «своих», то есть политиков, которым симпатизирует автор: *Мы не залетные птицы из дальних мест – мы здесь родились, живем и работаем (М. Гайсин).*

В подобных случаях охотно используются метафоры с исходными понятийными сферами «Мир растений», «Родство», «Дом», «Человеческое тело» (*здесь наш дом, наши корни; мы – одна семья; сердце, прикипевшее к родной земле; голосованье «сердцем»*). Эти образы акцентируют идею естественности и непрерывности развития жизни, близости и взаимосвязанности человека и природы, подчеркивают важность физического и морального здоровья, крепких корней и другие фундаментальные для русского национального сознания ценности. Конечно, и в этих моделях некоторые концепты способны продуцировать агрессивные образы (например, концепт «мачеха» в модели с исходной сферой «Семья»), однако подобные метафоры нетипичны для названных выше моделей.

Для возбуждения агрессивности используются также маркеры незначительности, малоизвестности, выражение сомнения в способности оппонента к продуктивной деятельности (*неопытный, «зеленый», неразумный, «мальчики в розовых штанишках»*). Для умаления значимости оппоненты характеризуются, как *никому неизвестные, какие-то, разные, всякие, никто* и др. Соответственно «наши» кандидаты – это *люди опытные, знающие, получившие признание*. Широко применяется использование маркеров недоверия к оппоненту, сомнения в его честности, искренности, порядочности: *якобы, пресловутый, так называемый* и др., а также обвинения в присвоения оппонентом общественных и иных не принадлежащих ему ресурсов (денег, власти, природных богатств и т.п.), то есть несправедного богатства. Ср.: *Олигархи питаются теми деньгами, которых не хватает для обеспечения нормального уровня жизни (Д. Гусев). Растет благосостояние кучки дельцов и чиновников, они процветают (А. Бурков).*

Специалисты отмечают повышенную агрессивность современного российского политического дискурса, преобладание угроз и оскорблений над проявлениями уважения к оппоненту и стремлением к политическому согласию и компромиссу.

5. Возбуждение тревожности, неуверенности, ощущения чрезмерной зависимости личности от государства и общества, неудовлетворения существующим в стране положением дел и страха перед будущим. Горечь и обида – мощные источники агрессивности; как известно, даже заяц, оказавшийся в безвыходном положении, становится опасным, он отстаивает свое право на существование всеми возможными способами и способен броситься на любого врага. Рассмотрим в качестве примера начало статьи Александра Проханова «Полковнику Путину никто не пишет» (Завтра, 2002, № 10):

Американские дровосеки раскалывают Россию, как березовый чурак. В распиленный торец с кольцами тысячелетней империи, в радиальные трещины вбивают аккуратные клинья. Несколько – в Среднюю Азию. Еще один – в Грузию. Другой – в Крым. Третий – в Приморье. Осторожно постукивают, расширяют трещины, вгоняют новые клинушки. Чтобы с последним ударом распалась огромная деревянная плаха. Не разлетелась с грохотом в разные стороны, а с мягким треском развалилась грудой поленьев. Долби себе каждое по отдельности колуном, бери в охапку, тащи в печь «нового мирового порядка».

Цыплячье горлышко Путина все крепче сжимает стальная перчатка Буша. И писк все тоньше, глазки все жалобней, лапки почти не держатся, желтые крылышки едва трепещут.

Представление России в виде раскалываемого чурбана, а ее лидера – в виде слабосильного цыпленка возбуждает в каждом патриоте агрессивное состояние, стремление к решительным действиям. Подобный путь к возбуждению агрессивности во многих случаях оказывается даже эффективнее, чем прямые призывы и самые грязные оскорбления политических противников. Отметим также, что в этом тексте используются и другие средства возбуждения агрессивности: маркеры чуждости, неуместная ирония, оскорбительные метафоры. Ср. также:

Если я не выиграю эти выборы, то все равно будет переворот. Потому что народ хочет Сталина. И я народу говорю: «Хотите? Я буду Сталиным! Но без ГУЛАГа и массовых репрессий». Если увижу сопротивление, перейду к репрессиям» (В. Жириновский). Так стоит ли удивляться тому, что у нас позорно низкая продолжительность жизни, что входят в жизнь больные поколения, которым отвечать за судьбу России в следующем веке (Ю. Лужков). Если власть опять будет узурпирована номенклатурой, – она же присвоит себе и все богатства. Уровень жизни народа падает все ниже и ниже (К. Титов).

Характеристика существующей действительности и перспектив развития общества в чрезвычайно мрачных красках, что создает базу для формирования мнения о невозможности успешных социальных преобразований без агрессивных революционных действий неконституционного типа.

6. К числу невербальных знаков коммуникативной агрессивности относят интонацию, мимику, жесты. Конкретные примеры такой агрессивности можно обнаружить, понаблюдав, например, за выступлениями В.В. Жириновского. Эти наблюдения позволят также заметить постоянный параллелизм между вербальной и невербальной агрессивностью.

К сожалению, в нашей стране коммуникативная агрессивность слишком часто переходит в непосредственные физические столкновения, в том числе с использованием оружия. Неудобных политиков убивают не только морально, но и в прямом смысле слова. Политические лидеры позволяют себе выяснять отношения при помощи кулаков и бутылок, а тележурналисты с удовольствием демонстрируют схватки зрителям. В памяти наших граждан надолго останутся октябрьские события 1993 года, когда политические дискуссии между президентом и парламентом закончились вооруженным захватом телевизионных студий и танковым обстрелом Белого Дома. Подобные примеры свидетельствуют, что вербальная агрессия нередко бывает лишь первым этапом физической агрессии.

Рассмотренный материал свидетельствует, что агрессивность стала слишком заметной чертой современной политической жизни в России. Нам не хватает толерантности, терпимости к мнению оппонента, слишком много у наших политических лидеров и журналистов желания оскорбить и унижить инакомыслящих. Вместе с тем следует помнить, что дух соперничества, стремление поддержать «своих» и показать в неприглядном свете «чужих – это типичные свойства всякой политической коммуникации. Но в процессе подобной деятельности не все средства одинаково хороши с моральной точки зрения.

Подводя итоги настоящего раздела, отметим, что рассмотренные выше свойства политической коммуникации (ритуальность и информативность, эзотеричность и общедоступность, редукционизм и полнота изложения, стандартность и экспрессивность, институциональность и персональность, агрессивность и толерантность, скрытая и явная оценочность, интертекстуальность и особый характер авторства) создают необходимые условия для успешного **манипулирования** сознанием и деятельностью адресата. Цели такого манипулирования - это преобразование языковой картины политического мира в сознании адресата, пробуждение в нем необходимых эмоций и побуждение избирателей к политической активности.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое ритуальность политической коммуникации? Существует ли подобная ритуальность в медицинской педагогической или религиозной сферах коммуникации? Должен ли политик участвовать в ритуальных церемониях или лучше не тратить на это свое время? Обоснуйте свой ответ.

2. Что такое эзотеричность политической коммуникации? Существует ли подобная эзотеричность в медицинской, педагогической или религиозной сферах?

3. Можно ли считать эзотеричные высказывания свидетельством лицемерия политика? Обоснуйте свой ответ.

4. Что такое редукционизм политической коммуникации? Существует ли подобный редукционизм в медицинской, педагогической или религиозной сферах?

5. Можно ли считать высказывания, в которых дается неполная информация, свидетельством непорядочности политика? Обоснуйте свой ответ.

6. Что такое институциональность политической коммуникации? Насколько институциональная коммуникация препятствует проявлению личностных качеств политика?

7. Что такое толерантность в коммуникативной деятельности политика? В какой подсфере – парламентской или избирательной – толерантность проявляется в большей степени?

8. Почему в политической коммуникации постоянно обнаруживается как стандартизированность, так и экспрессивность выражения?

9. Охарактеризуйте основные формы диалогичности в политических текстах.

10. В каких формах проявляется интертекстуальность современной политической коммуникации?

11. Почему оценочность представляет собой типичный признак политического текста? Чем различаются имплицитная и эксплицитная оценка?

12. Используя публикации в прессе, подберите примеры общей и частных, позитивных и негативных оценок одного из современных политических лидеров.

13. Назовите основные формы проявления агрессивности в современном политическом дискурсе. В каких политических ситуациях агрессивность особенно возрастает?

14. В чем вы видите причины повышенной агрессивности современного российского политического дискурса? Считаете ли вы, что в советские годы политические противники были более толерантны друг к другу?

15. Проиллюстрируйте перечисленные выше свойства политической коммуникации материалом одной из политических публикаций.

16. Приведите примеры проявления агрессивности из коммуникативной практики какого-либо современного российского политика.

Дискурсивные характеристики политической коммуникации

Всякий политический текст должен оцениваться только в дискурсе, то есть с учетом конкретных условий его создания и функционирования.

В этом отношении велика роль авторства текста и его адресности, а также намерений автора, которые проявляются в используемых коммуникативных стратегиях и тактиках. Важным элементом дискурса является соотношение данного текста с множеством других текстов, ориентированных на описание одних и тех же событий. Дискурсивные характеристики политических текстов изначально существенно отличаются от подобных характеристик иных текстов – научных, художественных, медицинских или педагогических. Рассмотрим ведущие дискурсивные характеристики в политической коммуникации.

1. Авторство политического текста. В истории литературы известны факты несоответствия официального автора текста и его подлинного создателя. Создатель текста, не желая выдавать или официально признавать свое авторство, может выступать под псевдонимом, представлять оригинальный текст как перевод, называть автором своего героя. Известны и случаи, когда писатель (например, Александр Дюма) или человек, мечтающий о литературной славе, представляет себя как автора произведения, хотя в действительности он является только соавтором, редактором или заказчиком текста. Однако на современном этапе развития литературы в абсолютном большинстве случаев официальный автор текста и есть его подлинный создатель, права автора защищены законом, и человек, дорожающий своей репутацией, никогда не согласится поставить свою подпись под чужим текстом.

Совершенно иные отношения между текстом и его создателем существуют в политическом дискурсе, где автором текста обычно считается тот, кто берет на себя ответственность за него. В штате крупного политического лидера, как правило, есть специалист по написанию для политика речей и других текстов. Политическое послание президента или другой важный документ по заданию руководителя может готовить большая группа специалистов, но, озвучивая или подписывая текст, президент берет на себя ответственность за его содержание. Получателей текста интересует мнение президента, а не его помощников. И возможная критика содержащихся в документе положений и оценок, а также способов их выражения будет адресована президенту, а не его помощникам.

Многие политические документы формально вообще не имеют автора и обнародуются от имени государства или его структур, политических организации и движений (Конституция страны, устав партии или ее программа). Соответственно ответственность за содержание этих документов берут на себя правительство, парламент, политическая партия и другие подобные структуры. Формально анонимными часто являются листовки в поддержку кандидатов во время избирательной кампании, лозунги, используемые во время демонстраций, некоторые публикации в СМИ, однако у этих текстов тоже есть создатели и заказчики.

В некоторых политических жанрах принято обозначать не только статусного автора текста, но и других участников его подготовки. Например, при публикации политических мемуаров указываются фамилии лиц, которые осуществляли «литературную обработку», «запись текста» или иным способом «помогали» автору. Впрочем, многие мемуаристы (например, Александр Коржаков, опубликовавший в 1997 году книгу «Борис Ельцин: от рассвета до заката») или совершенно не пользуются услугами литературных помощников, или считают это совершенно излишним не только публичное выражение благодарности, но даже упоминание их фамилий. Иной характер имеет изданная издательством «Вагриус» книга «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» (2000), на второй странице которой указаны авторы – Н.Геворкян, А.Колесников, Н.Тимакова. Преобладающая часть текста в этом издании – это обстоятельные ответы В.В.Путина на вопросы, но поскольку будущий президент не представлен как автор, то он и не несет ответственности за содержание книги.

Итак, в политической коммуникации различают:

- собственно авторские тексты;
- тексты без формального автора;
- тексты со смещенным авторством.

2. Адресность политического текста. Организация политического текста в значительной степени зависит от его адресата. При максимальном обобщенно подходе выделяются три основных адресата политических текстов – политические единомышленники, политические оппоненты и «избиратели» (население).

По количественному критерию разграничиваются индивидуальный, групповой и массовый адресат. Специфика политического дискурса заключается в том, что для политической коммуникации (в отличие, например, от медицинской или педагогической коммуникации) наиболее характерен массовый и групповой адресат. В частности на массового получателя информации ориентированы ритуальные жанры (инаугурационное обращение, радиообращение), ориентационные жанры (доклады, указы, соглашения) и агональные жанры (лозунг, рекламная речь). К числу жанров с групповым адресатом относятся обращения, листовки, выступления на митингах, а к числу. Значительно реже встречаются политические тексты с индивидуальным адресатом: сюда относятся, например, телеграммы и письма граждан к политику или в средства массовой информации, а также ответы на эти обращения.

В зависимости от условий различают непосредственное обращение к адресату и коммуникацию с использованием средств массовой информации. В современных условиях к средствам массовой информации обычно относят печать, радио, телевидение и интернет. Их общими признаками являются использование языка, дистанционность коммуникации и использование технических средств тиражирования и распространения информации. Технологические возможности современных СМИ предоставляют широкие возможности для обращения как широкой аудитории, так и к отдельным социальным, профессиональным, возрастным, гендерным и иным группам.

3. Стратегия и тактика в политической коммуникации. Современная лингвистика заимствовала термины «стратегия» и «тактика» из теории планирования военных действий. Коммуникативная стратегия и коммуникативная тактика – это планирование речевой деятельности, отбор принципов, способов и приемов, которые обеспечат достижение успеха. К стратегии относится планирование в максимально обобщенном виде. В политической коммуникации стратегия ориентирована на изменение политических взглядов адресата, на преобразования его отношения к тем или иным теориям, событиям, людям.

Стратегию выбирают в зависимости от поставленной цели и существующей ситуации. Например, цель предвыборной кампании для любого кандидата – добиться поддержки избирателей. Опыт показывает, для этого используются либо стратегия восхваления деловых и моральных качеств «своего» кандидата, преимуществ его идеологии, либо стратегия дискредитации в глазах избирателей других кандидатов и выдвинувших их партий. В первом случае акцентируются благоприятные перспективы прихода к власти «правильных» кандидатов, а во втором – избирателей пугают тяжелыми последствиями «неправильного» выбора. Стратегический план может быть ориентирован на преимущественно рациональное воздействие, на обращение к чувствам избирателей или на гармоничное сочетание рациональных и эмоциональных аргументов.

Специальный анализ показывает, что в период избирательных кампаний по выборам Государственной Думы и президента России в 1995/1996 и 1999/2000 гг. центристы и правые использовали преимущественно коммуникативные стратегии дискредитации коммунистов и запугивания избирателей последствиями возвращения к власти левых. Об этом свидетельствуют, в частности, основные слоганы указанных избирательных кампаний: *«Голосуй или проиграешь!»*, *«Выбирай сердце!»*, *«Борис, я не прав!»* (от имени Г. Зюганова), *«Вера, Надежда, Любовь!»*, *«Если из искры возгорится пламя – звоните 01»*, *«Не допусти красной смуты: Голосуй за Ельцина!»*, *«Только вместе: Голосуй за Ельцина!»*. Выбор именно названных стратегий, возможно, объясняется тем, что они воспринимались как более эффективные, чем восхваление результатов экономической и социальной политики правых или деловых и моральных качеств их лидеров. Социологические опросы показывали, что Б. Ельцин, А. Чубайс, В. Черномырдин уже не имеют былого авторитета среди избирателей.

Коммуникативная тактика – это конкретные способы реализации стратегии. Для реализации одной стратегии могут быть использованы различные тактики. Например, стратегия дискредитации кандидата может быть реализована в тактиках предсказания печальных последствий, к которым может привести его избрание, в оскорблении кандидата, его близких и дорогих для него символов, в демонстрации негативных лич-

ных качеств кандидата (лживость, жадность, непоследовательность, некомпетентность, необразованность, несамостоятельность и др.), в нелепых для кандидата отзывах о его лидерских и коммуникативных качествах.

Для реализации коммуникативной тактики используются конкретные коммуникативные приемы (коммуникативные ходы). Например, оскорбление может проявляться в распространении слухов, в навешивании ярлыков, в лжеэтимологическом анализе его фамилии, в использовании специфических метафорических обозначений, в специфических сопоставлениях и др. Примером могут служить разнообразные высказывания редактора газеты «Завтра» Александра Проханова о Борисе Ельцине: *Лучшие врачи мира шунтировали это сердце, но Монстр все равно рухнул с кремлевского престола; Ельцин, по частям доставленный в ЦКБ, в корпус «А», и собранный там заново по схеме «Б», по-прежнему дышит в Кремль сильным гнилым дыханием, отчего в кабинете у Путина хлопает форточка и падает президентский штандарт; Любители и smakователи «клубнички» поставят на книжные полки последние мемуары Ельцина рядом с описаниями походов Чикатило, Асламовой, Лимонова.*

4. Политический нарратив – это совокупность политических текстов разных жанров (листовка, лозунг, митинговая речь, партийная программа, аналитическая статья, телеинтервью и др.), сконцентрированных вокруг определенного политического события. В таком же значении иногда используют термин «сверхтекст» и описательное выражение «комплекс текстов, связанных с конкретной политической ситуацией» (референдум, «путч», выборы и др.). В качестве примера политического нарратива можно привести комплексы разнообразных текстов, связанных с российскими президентскими выборами 2004 года или с кампанией за возбуждение процедуры импичмента президента Б.Н. Ельцина в 1999 году.

Политический нарратив всегда существует в определенной политической ситуации и завершается вместе с изменением ситуации. Для политического нарратива характерны тематическое единство, общность основных «героев» (конкретных политиков, партий и др.), общая событийная канва (литературоведы назвали бы ее сюжетом или фабулой), локализованность во времени (например, политический нарратив «Президентские выборы – 2000» начал свое существование незадолго до официального объявления о назначении выборов, а закончил – вскоре после избрания В.В. Путина в России) и в пространстве (например, для региональных выборов – это регион, для федеральных – страна в целом). Очевидно, что пространственная и темпоральная локализованность нарратива не абсолютна: так последние в XX веке российские президентские выборы обсуждали не только в России и это обсуждение продол-

жается (преимущественно в научной литературе, в мемуарах) до сих пор, но это уже дальняя периферия рассматриваемого нарратива.

Важнейшие свойства политического нарратива – многоголосие участников политической борьбы, множественность повествователей и соответственно множественность рациональных и эмоциональных оценок. Каждый из повествователей выделяет в своем тексте те или иные события и, возможно, оставляет за пределами своего внимания какие-то иные факты, по-своему структурирует соответствующую событийную канву, создавая тем самым в своих текстах оригинальную политическую картину мира. Каждый из составляющих нарратив текстов имеет те или иные интенции и ориентирован на определенную аудиторию.

Сюжет политического нарратива – это последовательность определенных фактов: например, назначение на март 2000 года выборов Президента Российской Федерации и некоторые предшествующие ему события (уход Б.Н. Ельцина с поста Президента России в последний день 1999 года и последующее исполнение В.В. Путиным обязанностей Президента), выдвижение кандидатов, агитационная кампания, голосование, подведение его итогов, их обсуждение в средствах массовой информации и т.п.

Этот сюжет отражается во множестве текстов, которые созданы кандидатами на пост Президента, членами их «команд» и политическими оппонентами, журналистами без ярко выраженной политической позиции или же поддерживающими одного из кандидатов, политическими аналитиками и др. У каждого из них свой «голос» – своя точка зрения, специфическая рациональная и эмоциональная оценка элементов нарратива (которая способна развиваться вместе с событиями); существуют также коллективные «голоса» – официальные политические оценки, которые создаются от имени партии или иной организации и принимаются как официальные документы. Со временем подобная оценка может стать по существу общенациональной – принятой большинством граждан государства (например, оценка политического нарратива «Великая Отечественная война»).

Определенные типы политических нарративов (например, парламентские выборы) имеют общие черты: в частности, замечено, что во время избирательной кампании особенно обостряются противоречия между партиями, тогда как парламентарии более толерантны к убеждениям коллег. Однако «нельзя войти дважды в одну и ту же воду» – каждый новый политический нарратив (например, российские парламентские выборы 1995, 1999 2003 гг. или президентские выборы 2000 и 2004 гг.) имеет специфические признаки, отражающие характер конкретной политической ситуации. К числу таких признаков относятся следующие: состав «героев» и «повествователей», находящиеся в центре внимания проблемы, стратегия и тактика борьбы, типовые оценки тех или иных фактов и др.

Итак, политический текст существует в определенном политическом дискурсе. Этот дискурс определяет характер авторства тексте (прямое, смещенное, не выраженное), его адресность, используемые коммуникативные стратегии, тактики и приемы. Политический текст связан многообразными связями с другими текстами, составляющими соответствующий нарратив.

Контрольные вопросы и задания

1. Почему некоторые политические тексты (например, программы политических партий) формально не имеют авторов?

2. Кто несет ответственность за содержание политического текста: его реальный составитель (спичрайтер) или политик, который произносит соответствующий текст с ораторской трибуны? Охарактеризуйте специфику авторства политических текстов.

3. Что такое адресность политического текста? В чем специфика текстов, адресованных широкой аудитории и ее специализированным группам?

4. В чем специфика текстов, адресованных политическим единомышленникам и политическим оппонентам?

5. Тексты каких жанров ориентированы на массового, группового и индивидуального адресата?

6. Как соотносятся термины *речевая (коммуникативная) стратегия*, *речевая (коммуникативная) тактика* и *речевой (коммуникативный) ход*?

7. Какие коммуникативные тактики или приемы могут быть использованы в процессе реализации коммуникативной стратегии *дискредитация оппонента*?

8. Что такое политический дискурс? Почему то или иное высказывание каждого политика должно рассматриваться только в дискурсе, тогда как нам далеко не всегда важно знать, кто автор лирической песни и при каких обстоятельствах она была создана?

9. Что такое политический нарратив? Какие компоненты создают единство политического нарратива?

10. Приведите пример политического нарратива, закончившегося (или начавшегося) в прошлом году, и обоснуйте свое мнение.

11. Проанализируйте одну из публикаций, приведенных в приложении к данному учебному пособию, с точки зрения ее авторства, адресности, используемых стратегий и тактик, а также возможной принадлежности к тому или иному политическому нарративу.

Функции политической коммуникации

Знаменитый американский лингвист российского происхождения Роман Якобсон разграничил шесть основных функций языка (сейчас бы

их предпочли называть функциями речевой, в том числе политической, коммуникации): коммуникативную, побудительную, эмотивную, метаязыковую, фатическую и эстетическую. Эта классификация с теми или иными вариантами принимается и большинством современных специалистов; например, в когнитивной лингвистике особо подчеркивается когнитивная функция, то есть акцентируется роль языка как средства для познания и объяснения действительности. Во многих лингвистических концепциях подчеркивается деятельностная природа языка, то есть тот факт, что речь – это способ деятельности (например, способ выяснения истины или способ коммуникативного столкновения, борьбы между участниками диалога).

Специфика конкретных сфер коммуникации (политической, бытовой, художественной и др.), определяется различной значимостью каждой из этих функций и особенностями их проявления. Например, для бытовой сферы очень важна фатическая функция, то есть использование речевой деятельности как средства установления и поддержания контакта между участниками беседы. Для художественной сферы особенно значима эстетическая функция, то есть использование языка как средства эстетического освоения действительности. Как уже говорилось выше, основная функция политической коммуникации – это борьба за политическую власть, с этой точки зрения язык воспринимается как средство для завоевания социальной власти и управления обществом. Поэтому в политической коммуникации все названные выше функции подчинены осуществлению главной функции.

Рассмотрим закономерности реализации функций коммуникации в политической речи.

1. Когнитивная функция – это использование языка для концептуализации мира, создание личностной, а затем и групповой (партийной) политической картины мира. Язык неотделим от мышления, и организация мышления – это важнейшее назначение языка. В соответствии с представлениями современной когнитивной лингвистики язык не просто является средством для отражения действительности и передачи мыслей – в процессе речемыслительной деятельности человек создает свой образ мира, а его деятельность определяется сложившимися представлениями о мире. Например, подведение той или иной партии под категории «фашисты», «экстремисты», «либералы», «демократы» – это способ категоризации и объяснения политической реальности.

Политическое мышление воплощено в речевых структурах, и специфика этого мышления нередко проявляется в речевой деятельности вне зависимости от желаний говорящего. Например, метафорическое обозначение родной страны как концлагеря или общего дома, как летящей к цели ракеты или разваливающейся телеги отражает политическое сознание говорящего и вместе с тем его подсознательную оценку действи-

тельности. Использование той или иной метафоры способно подсказывать людям решение соответствующей проблемы, настраивать на соответствующий подход к ней: например, метафорические призывы к войне нередко настолько приучают людей к военизированной обстановке, что начало реальных боевых действий воспринимается как естественное развитие событий.

2. Коммуникативная функция ориентирована на передачу информации, призванной оказать воздействие на преобразование существующей в сознании адресата картины политического мира. Эта функция активно проявляется во всех сферах коммуникации, но ее реализация в каждой сфере имеет свою специфику. В политических текстах постоянно встречается информация о тех или иных событиях в политической жизни общества, в экономике, науке, культуре, сообщается о военных действиях, спортивных состязаниях и др. Эта информация может быть представлена в виде сообщений, мнений, обобщений, сопоставлений с использованием различных жанров (репортаж, интервью, пресс-конференция, беседа, проблемная статья и др.). Вся эта информация обычно политически интерпретируется.

Сторонники оппозиции акцентируют негативные аспекты информации, находят во властных структурах виновников неудач и предлагают рецепты дальнейшей работы (а также политиков, способных принять нужные решения и организовать эту работу). Сторонники «партии власти» стремятся привлечь внимание к позитивной информации и представить события как результат правильной политики руководства; в других случаях существует возможность минимизировать негативную информацию и выделить факторы, не зависящие от властных структур. Не случайно говорят, что ситуацией владеет тот, кто лучше может ее интерпретировать в своих интересах.

Разновидностью политической интерпретации является «просеивание информации», или выдвигание нужной информации. Политики, как правило, стараются привлечь внимание к информации, способной представить их в выгодном свете, и отвлечь внимание общественности от информации, способной нанести ущерб их интересам. Например, в советских политических текстах тридцатых годов прошлого века почти не было информации о массовом голоде в стране, но зато много писали о вредителях. Точно также в советской прессе так много писали о загнивании буржуазного общества и обнищании трудящихся в западных странах, что многие наши соотечественники начинали мечтать о подобном обнищании и загнивании.

Имплицитная информация (выраженная в подтексте, в аллюзиях и в иной косвенной форме) в политической речи нередко не менее значима, чем эксплицитная информация (выраженная в прямой форме). Еще несколько лет назад казалось, что Эзопов язык в российском политическом

дискурсе скоро окончательно уйдет в прошлое, но традиции иносказательности сохраняются до сих пор.

3. Побудительная функция (ее называют также апеллятивной, вокативной, конативной, регулятивной, инструментальной) – это функция воздействия на адресата. Политическая коммуникация нередко имеет задачу мобилизации избирателей для проведения конкретных акций. Граждане побуждаются передать власть определенной партии (или политике), оказать этой партии иную поддержку, действовать в соответствии с принимаемой этой партией решениями. Политическая коммуникация призвана эмоционально воздействовать на граждан, формировать в их сознании соответствующую политическую картину мира, преодолевать существующие в обществе противоречия.

Основной путь для реализации побудительной функции – это непосредственные призывы к политической активности: политики постоянной обращаются к народу с призывами прийти на выборы и проголосовать за соответствующую партию. В периоды обострения политической борьбы раздаются призывы принять участие в митингах и демонстрациях, а в революционной ситуации люди с оружием в руках отстаивают свои политические идеалы.

Побудительная функция политической коммуникации может быть реализована и косвенными средствами: можно не только прямо призывать к изменению политической системы, но и просто информировать людей, насколько эта система порочна и как удачно действуют иные политические системы. Можно не прямо призывать проголосовать против того или иного кандидата, а детально рассказывать о его пороках. Выводы, казалось бы самостоятельно сделанные избирателями, даже более важны, чем прямые назидания.

4. Эмотивная функция ориентирована на выражение эмоций автора и возбуждение эмоций адресата. Давно известно, что эмоции заразительны, и выражение надежды, уверенности, гордости за страну, любви к ней, враждебности к каким-то силам способствует зарождению и укреплению таких же чувств у слушателей и читателей. Акты политической коммуникации способны вызвать растерянность, страх и неуверенность у политических противников, что нередко способствует укреплению власти. Угрозы и обещания могут стимулировать политических оппонентов к каким-то действиям или к отказу от противодействия власти. Уровень стабильности макроэкономической и социально-политической ситуации может влиять на ощущение тревожности или уверенности. Отношение к другим социальным и этническим группам может быть дружелюбным, нейтральным или враждебным.

Создание необходимого эмоционального фона – это важный предварительный этап для последующего переубеждения адресата и побуждения его к необходимым действиям. Например, размышляя о недавнем

прошлом родной страны, Патриарх Алексей Второй использует образное выражение: *«Тяжелая болезнь постигла Россию в обличье коммунизма. Может быть, она была попущена нам, чтобы избавить от какой-либо более страшной грозившей нам чумы»*. Данная метафора выражает эмоциональное отношение предстоятеля православной церкви и идеям коммунизма и способствует возникновению аналогичных эмоций у слушателей. Как отмечают специалисты, эмоции влияют на выбор политических предпочтений не в меньшей степени, чем рациональное осознание проблемы. Нередко люди сначала принимают решение под влиянием эмоций и только потом ищут рациональное объяснение для своего решения.

5. Метаязыковая функция направлена на объяснение смысла слова или высказывания. Например, в политических текстах нередко встречаются фрагменты, в которых автор объясняет читателю смысл каких-то специальных понятий и терминов, поскольку далеко не все наши граждане понимают смысл ряда новых для них политических терминов. Например, наши соотечественники решительно выступают против привилегий и льгот для депутатов и бюрократов, но далеко не все из них способны объяснить, чем отличаются льготы от привилегий и можно ли считать привилегией высокую зарплату министра.

В других случаях автор предлагает новое объяснение смысла, казалось бы, хорошо известных слов и даже «исправляет» их правописание (*прихватизация, дерьмократы* и др.), предлагает новое наименование для хорошо известных предметов (милицейская дубинка – *демократизатор*). Еще один типичный прием – предложение использовать для явления другое наименование, которое, по мнению автора, более точно отражает сущность явления. Так, Геннадий Зюганов в ответ на вопрос об отношении к приватизации заявляет: *«Это была не приватизация, а бессовестное разграбление народного достояния кучкой преступников»*. По мнению другого известного политика, *В России нет политической системы, а есть режим* (Ю. Лужков)

Наконец, нередко наблюдаются случаи, когда в политической речи интерпретируется смысл того или иного текста, в частности, закона, который не всегда в полной мере понятен неспециалистам. Так, депутат-коммунист Владимир Плотников разъясняет смысл нового «Земельного кодекса» России и последствия его принятия: *«В вопросах распоряжения земельными участками разработчики кодекса сознательно стремятся закрепить приоритет норм гражданского законодательства над земельным. Это приведет к тому, что землю перестанут рассматривать как уникальное явление – природный ресурс и объект, средство производства и территориальный базис, что приведет к бесконтрольному манипулированию земельной собственностью. Главная цель радикалов от экономики – максимально быстро и без проволочек пере-*

вести большую часть территории страны в собственность отдельных лиц»).

Современная политическая коммуникация отличается сложным переплетением признаков общеупотребительной речи, особого жаргона, официально-деловой и научной речи, а поэтому не всегда в полной мере понятна рядовым избирателям. Поэтому метаязыковая функция столь характерна для указанного вида речевой деятельности.

6. Фатическая функция связана с установлением и поддержанием контакта между коммуникантами, в этом случае сам факт межличностного общения, взаимные «эмоциональные поглаживания» могут быть важнее, чем содержание беседы. Эта функция наиболее активно проявляется в бытовом общении, но и в политической коммуникации, как и в любой другой, важно, чтобы собеседник настроился на восприятие информации, подготовился к этому и внимательно слушал.

Использование в речи некоторых идеологем нередко является своего рода паролем, сигналом о политических взглядах автора, о его принадлежности к числу «своих» или «чужих». Так, для национально-патриотических сил особенно характерны рассуждения о национальных святынях, поруганных инородцами, о русском духе, о святой Руси, о православных корнях. Для дискурса либералов типичны фразы о правах человека, об общечеловеческих ценностях, о личных свободах.

Одним из проявлений фатической функции является обращение к собеседнику или аудитории (*товарищи, господа, коллеги* и др.). Помимо поддержания контакта, подобные обращения предназначены для характеристики речевой ситуации (официальное или бытовое общение) и фиксации социальных и этикетных ролей коммуникантов. Например, в советский период в официальной обстановке при обращении равноправным гражданам страны основным было обращение «товарищ». Обращение «гражданин» использовалось преимущественно как признак значительного социального неравенства (например, по отношению к преступникам) или сомнений в идеологической надежности собеседника, а обращение «господин» воспринималось как донос. Немногочисленные исключения могли быть вызваны только чрезвычайными обстоятельствами: так, в первой после начала Великой Отечественной войны речи И.В. Сталина прозвучало обращение «Братья и сестры!». В постсоветском политическом дискурсе основным вновь стало обращение «господин», а обращение «товарищ» превратилось в своего рода знак сохранения собеседниками коммунистических убеждений. Некоторые политики последовательно избегают называть собеседников и господами и товарищами, предпочитая такие обращения, как «Уважаемые избиратели!», «Уважаемые депутаты», а также «Россияне!», «Дорогие коллеги!».

7. Эстетическая (поэтическая) функция ориентирована на первостепенное внимание к форме сообщения, к тому, как выражена мысль. Эта

функция реализуется преимущественно в художественной речи, но политик тоже обязан следить за выразительностью своей речи.

Во многих случаях красота и оригинальность лозунга или девиза привлекает слушателей не в меньшей степени, чем его содержание. Например, в лозунге «Вся власть советам!», который большевики успешно использовали в 1917 году, а их политические противники на 70 лет позже, обращают на себя внимание красивые повторы в каждом из трех слов согласных «в» и «с» и гласного «а». В знаменитой фразе П.А. Столыпина «Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам – великая Россия!» эстетически значимы антитеза (противопоставление «великих потрясений» и «великой России»), целей правительства и целей оппозиции), эллипсис (пропуск сказуемого во второй части фразы) и повтор слова «великий» в первой и второй частях фразы.

Эстетическая функция особенно ярко проявляется в малых политических жанрах (лозунги, слоганы, плакаты, листовки, заголовки), в текстах, ориентированных на массового читателя, и менее характерна для максимально серьезных произведений крупных жанров (внутрипартийные документы, аналитические материалы и др.).

В реальной речевой деятельности все названные выше функции взаимодействуют, их сложно разграничить; в некоторых коммуникативных актах на первый план выходит какая-то одна функция, тогда как остальные проявляются в меньшей мере. Вместе с тем необходимо отметить, что коммуникация в политической сфере – это прежде всего средство борьбы за власть и способ осуществления политической власти. Именно успеху в борьбе за власть должны способствовать передача информации, возбуждение эмоций, побуждение к действиям, эстетическое воздействие и иные рассмотренные выше функции.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные функции политической коммуникации.
2. Охарактеризуйте специфику проявления когнитивной функции политической коммуникации. В какой мере тексты, созданные политиком, отражают особенности его мышления?
3. В каких подсферах политической коммуникации особенно ярко проявляется коммуникативная функция? Мотивируйте свой ответ.
4. Охарактеризуйте побудительную (прагматическую) функцию политической коммуникации. В каких подсферах эта функция проявляется наиболее ярко?
5. В каких жанрах наиболее проявляется эстетическая функция политической коммуникации? В какой речи – научной или политической – эта функция проявляется в большей степени?
6. В какой степени для политической коммуникации свойственна эмоциональная функция? Должна ли речевая деятельность политика скрывать его эмоции?

7. Что такое фатическая функция языка? В какой мере эта функция свойственная политической коммуникации?

8. Проанализируйте текст статьи «.....» (см. приложение) с точки зрения реализации в нем различных функций политической коммуникации.

9. Для обозначения Межрегионального движения «Единство» сначала использовалась аббревиатура МДЕ, но затем предпочли использовать название «Медведь», в котором объединяются два первых фонема трех слов составляющих данное название. Чем можно объяснить это предпочтение? Реализации каких функций политической коммуникации способствует использование этого названия?

10. После слияния политических движений «Единство» и «Отечество» некоторые журналисты стали называть объединенную организацию «ЕдиОт», тогда как другая часть журналистов предпочла использовать прежнее обозначение «Медведь». В какой мере использование этих названий отражает политические симпатии журналистов? Мотивируйте свой ответ.

11. Политическое движение «Яблоко» получило свое название без влияния первых букв фамилий его основоположников – Г. Явлинского, Ю. Болдырева и В. Лукина. Не считаете ли вы, что фамилии руководителей лучше было бы расположить по алфавиту? В настоящее время Болдырев и Лукин покинули названную организацию. Не считаете ли вы, что партию следовало бы переименовать?

Глава 3. ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Специальные исследования свидетельствуют, что даже при самом тщательном исследовании русских политических текстов в них по существу невозможно обнаружить какие-либо фонетические, морфологические и синтаксические явления, отсутствующие в других подсистемах русского национального языка. Чтобы быть понятными, политики должны говорить на общедоступном языке. Поэтому в политической коммуникации отсутствуют какие-либо особые фонемы, части речи, падежи или типы предложений. На грамматическом уровне специалисты фиксируют только случаи активизации некоторых грамматических конструкций. Абсолютное большинство специфических явлений в политической речи относится к лексико-фразеологическому уровню и лексико-стилистическим явлениям. Именно эти свойства политической коммуникации и будут рассмотрены ниже.

Политическая лексика и фразеология

Содержание политической речи предопределяет использование в ней специальной группы слов (а также фразеологизмов, составных наименований) – политической лексики (*парламент, депутат, глава администрации, голосование, избиратель, мэр, оппозиция, указ* и т.п.). Следует различать политическую лексику и политологическую терминологию. Политологическая терминология, как и всякая терминология, в полной мере известна только специалистам, она не относится к общеупотребительному словарному фонду и используется только в научных и иных специальных текстах, ориентированных на специалистов по политологии. Политическая лексика – это тематическое объединение общеупотребительных слов, которые должны быть понятны всем (абсолютному большинству граждан).

Политическая лексика постоянно обогащается за счет политологической терминологии: например, еще полтора десятилетия назад такие слова и выражения, как *консенсус, субъект Федерации, харизматический лидер, импичмент, монетизация льгот* были понятны только специалистам. Сейчас эти обозначения стали общеизвестными, то есть произошла деспециализация термина, превращение его в общеупотребительную единицу русской лексико-фразеологической системы.

Одновременно постоянно идет процесс пополнения политической лексики: новые явления в жизни страны закономерно требуют появления неологизмов. Примером могут служить такие неологизмы постсоветской эпохи, как *Федеральное собрание, Федеральный округ, Федеральное агентство*.

С другой стороны, многие общеупотребительные в советскую эпоху слова и выражения (*исполком, советы, партком, ударник коммунистического труда*) уже превращаются в специальные термины политической истории. Вместе с тем вновь актуализировались некоторые слова, которые в советскую эпоху казались связанными с лишь отдаленным прошлым нашей страны или с политической системой иных стран (*губернатор, Государственная Дума, департамент, мэр*). Поэтому границы между политической лексикой и политологической терминологией, между политическими неологизмами и политическими архаизмами достаточно условны: мы не всегда в состоянии определить рубеж, на котором слово становится общеупотребительным или перестает быть таковым, превращается в архаизм или вновь оказывается вполне современным.

В политической речи то или иное слово может приобретать особые смысловые оттенки; нередко ведущим, основным (наименее зависящим от контекста, наиболее частотным) оказывается такое значение, которое в толковых словарях общеупотребительного языка отмечено как вторичное или совсем не зафиксировано. Например, в современной русской политической речи *аграрник* – это прежде всего член аграрной фракции в Государственной Думе (или сторонник этой фракции), а не «специалист по аграрному вопросу» (это значение представлено как единственное в четырехтомном академическом «Словаре русского языка», изданном в 1981 году). Слова *правый* и *левый* в современных политических текстах характеризуют прежде всего политические взгляды, причем сторонники рыночной либеральной экономики в период перестройки считались левыми, а в последнее десятилетие прошлого века их стали называть правыми; соответственно их политические антиподы – приверженцы коммунистической идеологии – сначала в нашей стране назывались правыми, но со временем в соответствии с международной практикой стали именоваться левыми. В качестве еще одного примера можно привести прилагательные *красный, коричневый, розовый* и *зеленый*, которые в современном российском политическом дискурсе обычно характеризуют политические убеждения человека, а не предпочитаемый им цвет. Соответственно в период гражданской войны в России основной «цветовой» оппозицией было противопоставление *красных* и *белых*.

Идеологема. Идеологема – это слово, в значение которого входит идеологический компонент. Следует различать два основных вида идеологем.

В первом случае имеется в виду слово, смысловое содержание которого неодинаково понимается сторонниками различных политических взглядов. Особенно часто эти различия связаны с эмоциональной окраской слова, на которое переносится оценка соответствующего явления. Например, в отечественной политической речи на протяжении всего

прошлого века были активны идеологемы *буржуазия, демократия, капитализм, коммунизм, народ, пролетариат, свобода, социализм*. При этом для сторонников марксизма безусловно положительную оценку несли идеологемы *социализм, коммунизм и пролетариат*; соответственно отрицательно оценивались *капитализм и буржуазия*. У их политических оппонентов оценки *социализма, коммунизма и капитализма* были прямо противоположными, а слова *пролетариат* и *буржуазия* в речи антикоммунистов использовались без оценочных наслоений.

Средствами акцентирования оценочных смыслов нередко была трансформация слов (*коммуняки, дерьмократы, демокрады*), снабжение слова «проясняющим» эпитетом (*так называемые демократы, буржуазная демократия*), употребление слов с обобщающим негативным значением (*тоталитаризм, объединяющий социализм и фашизм*). Этой же цели служит использование антитезы: например, вместо традиционного для советской эпохи противопоставления *коммунизма и капитализма* можно дифференцировать *рыночную и нерыночную* экономику либо *свободную и тоталитарную* экономику.

Понимание одного и того же слова нередко зависит от политических убеждений говорящего. Например, как российские коммунисты, так и их противники связывают свои идеалы с борьбой за счастье *народа*, однако марксисты обычно, говоря о народе, имели в виду только людей физического труда, а для их оппонентов народ – это все жители страны. Непримириемые оппоненты были согласны только в том, что высшая ценность – это *свобода*, но каждый по-своему понимал, что такое *свобода* и как ею пользоваться.

Второй тип идеологем – это наименования, которые используются только сторонниками определенных политических взглядов, соответствующие наименования передают специфический взгляд на соответствующую реальность. В тоталитарных государствах нередко предпринимаются попытки прямо или косвенно регламентировать использование тех или иных слов и выражений. Например, в русско-советском языке государства, которые были идеологическими союзниками СССР, назывались *странами народной демократии, государствами мировой социалистической системы* или *социалистическим содружеством* (между этими обозначениями существовали некоторые смысловые различия), а диссиденты называли эти страны *советскими сателлитами*. Крестьян, ведущих индивидуальное хозяйство, одни называют *единоличниками*, а другие – *фермерами*.

В речевой практике постсоветской России начали активно использоваться такие идеологемы, как *человеческий фактор, общечеловеческие ценности, стратегия ускорения, новое мышление, стабилизация экономики, оптимизация бюджета, монетизация льгот, правовое государство*. Подобные слова не просто вводят новые понятия или предлагают

новые названия уже известным феноменам, но отражают определенные политические взгляды, способствуют идеологическому воздействию на адресата, рождению новых политических мифов. Филологи и политологи нередко называют идеологемы «орудием лжи и обмана», но следует помнить, что в действительности лгут и обманывают не слова, а авторы политических текстов.

Один из способов регламентации использования идеологем – это их толкование в словаре исключительно с позиций правящей партии. Например, человек, изучавший русский язык по изданному в 1935–1940 гг. словарю под редакцией Д.Н. Ушакова, не получал необходимых сведений о понимании слов-идеологем эмигрантами. Регламентация в использовании идеологем часто интерпретируется как проявление «новояза», средства создания некоей иллюзорной действительности (по Дж. Оруэллу). Впрочем, элементы «новояза» (под другими названиями) при желании можно обнаружить и в странах, считающихся образцом демократии. Например, в Соединенных Штатах изменение наименований некоторых политических реалий проходит в рамках кампании по борьбе за «политическую корректность». Идеологемы в том или ином виде используются во всяком обществе, а борьба против идеологем обычно имеет своей целью не их полное устранение, а замену обозначениями с иной политической окраской.

Итак, политическая лексика – это один из наиболее подвижных пластов языковой системы: одни слова и фразеологизмы уходят из активного употребления, на их место приходят другие единицы, в том числе такие, которые ранее активно использовались в общенародном языке. Эти изменения нередко обусловлено стремлением тех или иных политических сил подчеркнуть принципиальную новизну политической системы: ярким примером подобных процессов могут служить лексико-фразеологические инновации, произошедшие в России после 1917 года, когда на смену монархическим учреждениям пришли Советы. В других случаях политические силы стремятся продемонстрировать преемственность традиций, в результате чего возвращаются прежние названия: подобные процессы происходили в конце прошлого века, когда многие главы регионов вновь стали губернаторами, а парламент, как и в эпоху Николая Второго, стали называть Государственной Думой. С течением времени изменяется состав идеологем, но не изменяется их место в политической коммуникации.

Контрольные вопросы и задания

1. Как соотносятся понятия *политическая лексика* и *политологическая терминология*?

2. Какие специфические значения имеют прилагательные *красный*, *белый*, *коричневый*, *розовый* и *зеленый* в политической коммуникации?

3. Как вы понимаете следующие выражения: *революция роз, революция тюльпанов, цветные революции*?

4. Что такое идеологема? Объясните различия между различными типами идеологем.

5. К какому типу идеологем относятся слова *капиталист, бизнесмен, империалисты, патриот*?

6. Как повлияли социальные изменения в России конца прошлого века на состав политической лексики? Почему некоторые слова превратились в архаизмы (историзмы), тогда как некоторые архаизмы вновь вошли в состав общеупотребительной лексики?

7. Выделите политическую лексику в составе одного из газетных текстов. Проанализируйте эту лексику с точки зрения соотношения между архаизмами (историзмами), неологизмами и общеупотребительными словами.

8. Одних и тех же людей одни называют *экономической элитой* страны, а другие – *олигархами*. Чем это можно объяснить? Какие политические коннотации связаны с этими обозначениями? Относятся ли указанные наименования к числу идеологем?

9. Выявите различия в толковании идеологемы *социализм* в словаре советского и постсоветского периода.

1) *Социализм* – это «1. Первая фаза коммунизма, общественный строй, основой производственных отношений которого является общественная собственность на средства производства в условиях диктатуры пролетариата и уничтожения эксплуататорских классов и при котором осуществляется распределение по труду. 2. Учение о построении такого общественного строя, идущего на смену капиталистическому. 3. Название различных буржуазных и мелкобуржуазных учений о реформе капиталистического общественного строя (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. Т. IV. М., 1940).

2) *Социализм* – это «1. Первая или низшая фаза коммунизма – общественный строй, который приходит на смену капитализму и характеризуется общественной собственностью на средства производства, отсутствием эксплуатации человека человеком, планируемым в масштабах всего общества товарным производством и при котором осуществляется принцип: «от каждого по его способностям, каждому по его труду». 2. Учение о построении социалистического общества. 3. С определением. Название различных мелкобуржуазных и буржуазных учений о реформе капиталистического общества на основе уравнительности или сглаживания антагонистических противоречий» (Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой. Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 3, М., 1984).

3) *Социализм* – это «1. В марксизме-ленинизме первая или низшая фаза коммунизма – общественный строй, который приходит на смену капитализму и характеризуется общественной собственностью на сред-

ства производства, отсутствием эксплуатации человека человеком, планируемым в масштабе всего общества товарным производством и распределительным принципом «От каждого по его способностям, каждому по его труду». 2. Общественный строй, характеризующийся отсутствием частной собственности на средства производства, всеобщей плановостью хозяйства, неэффективной экономикой, однопартийной системой политической власти, отсутствием демократических прав и свобод» (Толковый словарь современного русского языка под ред. Г.Н. Складневской. М., 2001).

4) *Социализм* – это «социальный строй, в котором основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства и провозглашаются принципы социальной справедливости, свободы и равенства» (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, изд. 4-е, доп. М., 2001).

Лексико-стилистические свойства современных политических текстов

Одним из следствий социальной революции, которая произошла в России на рубеже XX и XXI веков, стало и существенное преобразование лексики и фразеологии политического языка. Новые явления в политическом дискурсе получили описание в публикациях В.Н. Базылева, Е.А. Земской, В.Г. Костомарова, Л.П. Крысина, А.К. Михальской, А.П. Чудинова, В.Н. Шапошникова и других специалистов по политической коммуникации. В этих исследованиях отмечаются новые явления в российском политическом языке, в том числе активное использование просторечной и жаргонной лексики, экспансия заимствованных слов, широкое использование аббревиатур. Вместе с тем фиксируется, что в отличие от первых лет советской власти на современный политический язык уже практически не влияют диалекты. Рассмотрим основные группы лексики, определяющие специфику современного политического языка.

1. Просторечная лексика. Заметный лексико-стилистический признак современной отечественной политической речи – это активное использование просторечной (в том числе грубо-просторечной) лексики. Специалисты отмечают, что в постсоветской России значительно снизился порог приемлемости в использовании нелитературной лексики, в том числе вульгарных и бранных слов. Некоторые участники политического процесса, бравируя своей «близостью к народу», позволяют себе выражения, за которые обычных граждан по меньшей мере штрафуют.

К чрезвычайно грубым способам выражения наиболее склонны политические экстремисты, среди которых особенно выделяются несдержанностью В. Жириновский, В. Новодворская, А. Проханов и Э. Лимонов. Ср.: *Эта старая Русь была на самом деле убогая, грязная, жалкая,*

хуже бедной Индии. Потому она и окодела. Дохлое и безжизненное государство наше вдруг бомбит Чечню вдоль и поперек, бомбит Дагестан, мочит, и мочит, и мочит (Э. Лимонов). Пускай демократическая общественность подавится своим Нюрнбергским процессом и судом над КПСС. Свободу всем врагам демократии! А то ее друзья угробят подругу на два века вперед (В. Новодворская).

Вместе с тем в последние годы к использованию грубо-просторечной лексики нередко прибегают также политические деятели и журналисты, которые имеют несколько иную репутацию. Ср.: *Говорят, политика – грязное дело, политика – говно и политики тоже. Но политики разные. Одних, когда опускают в говно, они, чтобы выжить, начинают походить на массу, которая вокруг, растворяются. Другие отбрыкиваются – хотя оно все равно липнет* (Б. Немцов. Интервью // Коммерсант-Власть). *На же тебе, падла, социализм! У народа достаточно дерьма накопилось* (М. Леонтьев. ТВ-центр, На самом деле). *А рабочему человеку трудно по одномандатному округу переговорить всех этих юристов, артистов, экономистов. Я вот вижу, как они красиво говорят, но ни хера не делают* (С. Мостовщиков. Московские новости). *Нацболы? Засранцы они. Да мало ли у нас таких клопов вонючих? У них одна цель – повонять и уйти* (Л. Слиска. Аргументы и факты).

Резко отрицательное отношение к использованию нецензурной и грубо-просторечной лексики не должно переноситься на весь корпус слов, которые имели помету «просторечное» в словарях советской эпохи. Во-первых, в последние годы заметно сдвигаются границы между стилистическими пластами русской лексики и слова, которые еще недавно считались просторечными, могут перейти в разряд разговорных. Границы между названными разрядами иногда почти неразличимы, и словари не всегда успевают их фиксировать. В многовековой истории русского языка можно обнаружить немало случаев, когда просторечное слово становилось сначала разговорным, а затем и стилистически нейтральным.

Во-вторых, стороны в отдельных случаях соответствующее ситуации использование некоторых просторечных по происхождению слов помогает достижению выразительности, служит специфическим средством отражения эмоционального накала или представления непримиримых противоречий. Для современной политической ситуации характерны резкие столкновения политических позиций, агрессивность поведения и бескомпромиссность в выражении собственной точки зрения. В подобных случаях использование субстандартной лексики иногда воспринимается как единственно возможный способ выражения авторской позиции.

2. Жаргонная лексика. В современной российской политической коммуникации чрезвычайно активно используется жаргонная лексика,

особенно восходящая к речевой практике преступников и наркоманов. В последние годы политики и журналисты охотно используют такие жаргонизмы из криминальной сферы, как *крутой*, *тусовка*, *кинуть*, *обуть*, *замочить*, *наехать*, *разборки*, *крышевать*. Из жаргона наркоманов в политическую речь проникли такие слова, как *ловить кайф*, *сидеть на игле*, *ломка*, *отходняк*, *оттягиваться*. Подобное словоупотребление – это своеобразный способ сблизить мир политики и мир криминала. В цивилизованном обществе две названные сферы совершенно не должны соприкасаться, но «умом Россию не понять» и в реальной жизни нашей страны криминал и политика постоянно пересекаются и взаимодействуют. Иногда создается впечатление, что сейчас ни один стремящийся к успеху политический деятель или журналист уже не может обойтись без уголовного жаргона.

«Блатная фея» так часто звучит даже из уст государственных служащих и лидеров крупнейших политических партий, широко известных в стране журналистов и бизнесменов, что может показаться, что некоторые жаргонные слова превращаются то ли в политические термины, то ли в публицистические «штампы». Ср.:

Как Руцкой пытался закозлить генерала ФСБ Суржикова (Н. Варсегов). Мы считаем наезды на Ковпака в подконтрольной Росселю прессе политическим заказом (В. Коршунов). В центре Екатеринбурга продолжает твориться предвыборный беспредел (С. Сыпачев). В.А. Гусинский славен своим искусством разводиться на бабки, а для успеха разводок иногда надо пренебрегать строгими требованиями эстетической цельности действия (М. Соколов). Жириновский, не выбирая, как всегда, выражений, «мощил» Примакова, вспоминая его работу в службе внешней разведки и Министерстве иностранных дел (А. Вартанов).

Использование уголовного жаргона позволяет подчеркнуть естественность и общепонятность преступного слова, а вместе с тем и преступных порядков, преступного поведения, преступного мировосприятия. Использование подобной лексики – явление вполне традиционное для русской речи и отражает определенные векторы национального сознания. В какой еще стране «тюремные песни» стали столь заметным жанром фольклора? В каком другом государстве фраза «В детстве я рос хулиганом» стала почти общим местом в мемуарах крупнейших политиков? Где еще в мире едва ли не ежегодно проводятся амнистии? В каком еще обществе в парламент постоянно избирают людей с уголовным прошлым, а бывшие депутаты и министры нередко оказываются на скамье подсудимых? Для русского самосознания преступник – это не обязательно враг общества; во многих случаях это смелый человек, решившийся от отчаяния нарушить несправедливые законы, а заключенный – возможная жертва ошибки. Вместе с тем очевидно значительное усиление частотности и продуктивности криминальной мета-

форы именно на данном этапе развития русского политического дискурса.

Жаргонная лексика пронизана концептуальными векторами тревожности, опасности, агрессивности, противоестественности существующего положения дел, резкого противопоставления «своих» и «чужих», что, видимо, отвечает потребностям современной политической речи. Можно предположить, одна из причин активизация воздействия жаргонов – это реальное обострение криминальной обстановки, что отражается в народном сознании: давно замечено, что находящиеся в центре общественного сознания явления становятся источником экспансии. Вместе с тем активное использование в речи криминального жаргона (как и едва ли не смакование в средствах массовой информации картин реальных преступлений), несомненно, влияет на общественную оценку ситуации в стране, внушает мысль о том, что общество действительно пронизано криминальными связями и отношениями, что в России преступление – это норма, а подобные умонастроения опосредованно могут сказываться на уровне преступности в обществе.

Следует, однако, отметить, что далеко не всякое использование жаргонизмов в политической речи заслуживает несомненного осуждения. Использование подобных слов нередко позволяет коротко и точно обозначить явление, для которого пока не создано стилистически нейтрального однословного обозначения. Примером может служить выражение *отмывать деньги*, которое обозначает обращение в незаконный доход тех денег, которые были получены незаконным путем. Ср.: *Американцы... Посмотрите, что они сделали. Прибалтику отделили, и Прибалтика торгует с Кавказом. Мы сохраним Прибалтику, а они отмывают наркოდеньги, и оружие оттуда идет на Кавказ* (В.В. Жириновский). Показательно, что некоторые слова жаргонного происхождения уже включены в современные словари литературного языка.

С другой стороны в отдельных случаях использование жаргонизмов способствует достижению выразительности, помогает выразить эмоциональное отношение к проблеме. Показательно, что даже президент России позволил себе на встрече с лидером Великобритании цитировать высказывание о «козлах» и говорит о необходимости «мочить» террористов «в сортире». Все это позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время жаргонизмы превратились в такое выразительное средство, использование которого вполне допустимо в определенных контекстуальных условиях. Критерием здесь должны служить чувство меры, уместность и языковой вкус автора.

3. Иноязычная лексика. В отечественном политическом дискурсе доля заимствованных слов издавна была выше, чем во многих других социальных сферах. Традиционно в русском политическом языке было особенно много интернационализмов – слов, имеющих древнегреческие

и латинские корни и имеющих аналоги во многих языках (*революция, демократия, олигархия, социализм и др.*).

В современной политической речи продолжается процесс заимствования иноязычных слов, что диктуется как потребностями общества, так и политической ситуацией. Современная Россия все больше ориентируется на мировые политические стандарты и общечеловеческие ценности. Для обозначения многих подобных явлений в русском языке не существовало исконных слов, а поэтому вполне закономерным становится использование интернациональных обозначений. Рассмотрим в качестве примера небольшой отрывок из выступления Сергея Кириенко:

Согласитесь, на территории каждого региона есть федеральные службы, начиная от силовых структур и заканчивая такими структурами, как казначейство, налоговая инспекция, служба по несостоятельности и банкротству, антимонопольные комитеты и так далее. Сегодня они стали, по факту, если не приватизированы, то регионализованы, то есть ими командуют губернаторы.

Значительная часть заимствованных слов уже давно воспринимается нашими соотечественниками как вполне привычные и не вызывающие раздражения. Некоторым исключением являются только новейшие заимствования из английского языка (*секьюрити, ржет, лоббизм, мессеж, триллер, блок-бастер, киллер, пиар* и др.). Специалисты отмечают, что в последние годы происходит неконтролируемый и необоснованный процесс насыщения русского языка английскими заимствованиями. Чрезмерное использование варваризмов способно привести к определенной трансформации языковой картины мира. Новые слова нередко преобразуют эмоциональную оценку тех или иных реалий, что приводит к изменению представления носителей языка об окружающей действительности. Такое положение начинает все больше тревожить общество, все чаще предлагается остановить «американоанию» и вернуться к традиционным российским ценностям. Своего рода знаком национального возрождения нередко представляется и стилистически уместное использование преимущественно русских по происхождению слов.

Русский язык в течение всей своей истории был языком, открытым для заимствований, наш народ всегда умел отобрать действительно нужное и отбросить то, что не соответствовало его потребностям. Поэтому многие специалисты считают, что нет смысла бороться с отдельными заимствованными словами, что подлинный патриотизм проявляется вовсе не в способах отбора лексики. Вместе с тем неумеренность в использовании заимствований часто воспринимается как показатель низкой речевой культуры и неспособности пользоваться всеми богатствами родного языка.

4. Сложносокращенные слова. Специалисты еще в начале прошлого века отмечали активное использование сложносокращенных слов как

яркую черту политического языка послереволюционной эпохи: эта часть лексики стала яркой приметой «советского» языка, хотя истоки данного явления возникли значительно раньше октябрьской революции. В первые годы советской власти использование аббревиатур было своего рода модой, которая затем на много десятилетий переросла в привычку. Показательно, что немало сложносокращенных советизмов ушло в небытие вместе с реалиями, для обозначения которых эти слова использовались (*КПСС, ЦК, КГБ, облсполком, партком* и др.).

Специальные подсчеты показывают, что в современных текстах используется не больше аббревиатур, чем в текстах советской эпохи. Отличительной чертой постсоветского периода стало не количественное, а качественное изменение состава сложносокращенных слов. Новая реальность потребовала обновления наименований политических реалий, и важным источником обогащения лексикона вновь стала аббревиация. Наши современники познакомились с такими обозначениями, как РФ, ГКЧП, ЛДПР, УрФО, ГОУ ВПО, ООО, СПИД, РАО ЕЭС, МЧС и множеством подобных. Мы уже начали привыкать даже к английской аббревиатуре *PR* и ее производным в русском языке (*пиариться, пиарщик* и др.). Вместе с тем новые аббревиатуры непривычны для наших граждан, непонятность подобных неологизмов становится своего рода символом непонятности новой жизни. В результате высказывается мнение о каком-то «нашествии» неологизмов-аббревиатур и в очередной раз раздаются призывы спасти родной язык и саму отчизну.

Как уже было сказано, отечественные политические тексты еще с советских времен насыщены аббревиатурами значительно в большей степени, чем тексты иных сфер. Сам по себе этот факт не должен оцениваться положительно или отрицательно, но при использовании указанных слов особенно важно соблюдать чувство меры. Использование сложносокращенных слов не должно приводить к непониманию, двусмысленности или неблагозвучию.

Подводя общие итоги рассмотрения лексико-стилистических процессов, характерных для русского языка нашей эпохи, можно сделать вывод, что наиболее важной особенностью постсоветской политической коммуникации стало ослабление стилистических норм и усиление воздействия некодифицированных сфер национального языка на политический дискурс. Результатом этих процессов стало чрезвычайно активное использование просторечных слов, жаргонизмов, заимствованной лексики и сложносокращенных слов. Показательно, что эта тенденция не была для русского языка чем-то принципиально новым, но в прежние времена большее предпочтение отдавалось общеупотребительным словам, не было столь заметного стремления к обновлению политического словаря.

Контрольные вопросы и задания

1. Какими причинами можно объяснить активное использование просторечной лексики в современной политической коммуникации?
2. Почему в постсоветский период усилилось воздействие жаргонной лексики и фразеологии на политический язык? Какие именно жаргоны активно воздействуют на современный политический язык?
3. При каких условиях использование просторечной и жаргонной лексики в политическом тексте может считаться уместным?
4. Чем можно объяснить тот факт, что после революции 1917 года в политической коммуникации появилось много диалектизмов, тогда как в настоящее время подобные процессы не наблюдаются?
5. Почему политические экстремисты охотно используют грубопросторечную лексику, тогда как для депутатов центристских партий это характерно в меньшей степени?
6. Чем можно объяснить все более широкое использование заимствованных слов в российском политическом дискурсе?
7. Лексика и фразеология, заимствованная из каких языков, наиболее представлена в отечественных политических текстах?
8. Приведите примеры аббревиатур, которые за последние годы стали общеизвестными. Какие советские аббревиатуры уже превратились в историзмы?
9. Почему языковеды рекомендуют проявлять сдержанность при использовании аббревиатур в политической коммуникации? Насколько целесообразно вообще отказаться от использования сложносокращенных слов?
10. В выступлениях Е.Т. Гайдара практически отсутствуют просторечные и жаргонные слова, но активно представлена книжная лексика, особенно научная. В какой мере названные особенности сказываются на имидже политика?
11. Воспитанные люди не должны использовать нецензурную брань. В какой мере этому требованию соответствуют авторы следующих высказываний? Кто из них и почему допускает использование указанных слов? Какими причинами политики пытаются оправдать использование брани?

В отношении таких слов, которые являются нелитературными, грешен, употребляю. Но не по отношению к людям – никогда стараюсь не обижать личность. А для того чтобы связывать различные части предложений бывает (мэр Москвы Ю. Лужков).

Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем (приписывается губернатору Красноярского края А. Лебедю).

Тогда будет полный дефолт. Я не использую более распространенный русский термин (депутат Государственной Думы А. Шохин).

На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться (председатель российского правительства В. Черномырдин).

Как бы вы одной фразой охарактеризовали положение дел в сегодняшней России? – Этого не сделаешь без использования ненормативной лексики (депутат Государственной Думы, знаменитый правозащитник С. Ковалев).

12. Проанализируйте лексический состав одного из политических текстов с точки зрения использования в нем необщепотребительной лексики и сложносокращенных слов.

13. Выделите стилистически окрашенные слова в следующих высказываниях. Насколько уместным вы считаете использование этих слов отечественными политическими лидерами?

В правительстве Чубайса – Черномырдина можно было либо воровать, либо стоять на атаке (Вице-спикер Государственной Думы РФ Г. Явлинский).

Я не из тех людей, чтобы доводить дело до мордобоя, я извиняюсь за это слово. И мордобой-то опять, не они же бы, не их же! Если бы их там навесить – это бы с удовольствием! (Председатель правительства РФ В. Черномырдин).

Надо было удавить Асцатурова, который из-за своих жлобских претензий на взносы денег в городской бюджет потерял все рамки разумного! (мэр Москвы Ю. Лужков).

Я – за стабильность. Но не только сохранить кресло под своим задом сегодня, а хотя бы и завтра тоже (губернатор Красноярского края А. Лебедь).

Тем ноги повывергиваем, а этим головы поотворачиваем (президент Белоруссии А. Лукашенко).

А как нам дальше быть? Или, я извиняюсь, голую задницу подставить, или все-таки как-то обеспечит себе, понимаешь, на востоке хорошее прикрытие (президент Б. Ельцин).

Стилистические фигуры и тропы

Специалисты по современной политической коммуникации отмечают все возрастающую выразительность современной политической речи. Если в советские времена своего рода «сверхзадачей» советской элиты (к которой в определенной мере относились и журналисты официальных СМИ) была «политическая правильность» текста, соответствие его содержания господствующей идеологии и традициям ее языкового представления, то в постсоветскую эпоху на первый план выходит стремление к выразительности речи. Яркость и неожиданность способов выражения мысли, удачная языковая игра, индивидуальность стиля во

многих случаях ценятся даже в большей степени, чем ясность и политическая корректность содержания текста. Рассмотрим ведущие приемы выразительности, активно используемые в современной политической коммуникации.

Специальные речевые средства воздействия на чувства и умы людей подразделяются на фигуры и тропы. И то, и другое представляет намеренное отклонение от стандартной речи с целью привлечь внимание слушателей, заставить их задуматься, увидеть многоплановость картины и, в конечном итоге, глубже понять смысл, почувствовать образ.

Стилистическая фигура – это необычное, привлекающее внимание построение текста, используемое для усиления его выразительности. Стилистические фигуры могут проявляться на различных языковых уровнях – фонетическом, морфемном, синтаксическом. К числу фигур относят антитезу, инверсию, эллипсис, парцелляцию, фонетический, лексический и морфологический повтор, синтаксический параллелизм, риторический вопрос и риторический диалог.

Термин "фигура" перенесен античными учеными в риторику из искусства танца: риторическая фигура – это необычный оборот речи, предназначенный для ее украшения, усиления эмоционального воздействия. Движение и слово в танцевальных и риторических фигурах в равной степени превращаются в эстетическую ценность, доставляют человеку удовольствие, привлекают его внимание.

Троп – это необычное употребление одного слова, образное его использование, которое способно служить украшением речи; прямое значение в подобных случаях становится лишь фоном, оттеняющим специфику нового употребления и одновременно помогающим его понять. Термин «троп» греческого происхождения обозначает собственно «поворот, оборот», восходит к греческому глаголу *τρέλλω* «поворачивать, обращать»: в данном случае «поворачивается», изменяется значение слова. Наиболее яркие тропы – это метафора, метонимия, олицетворение, символ, эпитет.

Во многих современных публикациях дается обзор стилистических средств, которые применяются в отечественной политической коммуникации. С чисто лингвистической точки зрения в политической речи используются те же стилистические средства, что и во многих других сферах коммуникации. Как и в других коммуникативных сферах, удачное использование стилистических фигур и тропов делает изложение более ярким, выразительным, привлекает внимание читателей и слушателей.

Для более детального рассмотрения закономерностей использования стилистических фигур и тропов в современном политическом тексте обратимся к стилистическим средствам, которые использованы в широко известной статье Александра Зиновьева, опубликованной в газете «Советская Россия».

Исповедь «совка»? Нет, советского человека!

Словом «совок» сейчас называют представителей поколений, которые сформировались и прожили более или менее значительную часть жизни в советский период. Употребляя это слово, употребляющие его люди тем самым выражают презрение к советской эпохе и порожденным ею людям.

Я принадлежу к числу таких совков, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз и советский социальный строй в России и других частях бывшего Советского Союза. До сегодняшнего дня я боялся признаться себе в этом, разделяя и выдумывая всяческие оправдания тому, что произошло у нас в горбачевско-ельцинские годы. Но вот в институте, в котором я проработал более тридцати лет, мне сообщили, что в моих услугах в связи с приватизацией и реорганизацией тут больше не нуждаются. Я знал, что рано или поздно это случится. Я ждал этот момент. И вроде бы был готов к нему психологически. Но когда мне официально сообщили об этом, это прозвучало для меня подобно смертному приговору.

БЕЗРАБОТНЫЙ

Безработный? Для меня как для совка за все годы жизни в Советском Союзе никогда в голову не приходила мысль даже в виде гипотезы, что я могу остаться без работы. Теперь я это слово воспринимаю как диагноз неизлечимой болезни. Болезни особого рода: социальной. Против нее нет и теперь никогда не будет лекарства.

В состоянии окаменелости, не замечая своих бывших коллег, я покинул институт. Как будто покинул целую эпоху. Неужели это произошло в реальности, а не в болезненном бреду?! Как и почему это произошло?! Кто в этом повинен?!

Пройдя пешком полпути до дому, я обрел способность к логическому мышлению. Ты сам и повинен в этом. Как ты реагировал на горбачевскую перестройку? Ты приветствовал ее. Как ты реагировал на ельцинскую «революцию» в августе 1991 года? Ты приветствовал ее. Как ты реагировал на расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года? Ты одобрил его. Вот ты и получил то, что тебе и следовало получить за свою глупость, легкомысленность, безответственность, если не сказать нечто большее о твоём поведении – за предательство и в лучшем случае за попустительство предательству. Что посещь, то и пожнешь!

ПОТЕРЯ КОЛЛЕКТИВА

Покинув институт в тот же день, когда мне заявили об увольнении, я вдруг понял, что потерял не просто привычное рабочее место и источник заработка, а нечто неизмеримо большее: коллектив. Пожалуй, это самая большая потеря для совка. Легче пережить потерю друзей и родственников, чем коллектива. Вовлеченность в жизнь коллектива в жизнь коллектива во всех аспектах его бытия - вот что, оказывается, было основой нашей жизни. И вот этого величайшего завоевания советской эпохи больше нет!

Я стал замечать это, еще когда работал в институте. С началом горбачевской «перестройки» стало происходить в жизни института нечто такое, чему я не находил названия. Нечто вроде загнивания. Были те же помещения, студенты, преподаватели. Все вроде оставалось тем же, что и раньше. Но исчезло главное: организация людей в единый коллектив, коллективное самосознание, коллективная психология, коллективное поведение. Потеряли смысл партий-

ная и комсомольская организации, собрания, совещания, отчеты и прочие компоненты целостности коллектива. Оставалась еще инерция советской коллективности, еще смутная надежда на то, что такое состояние временное, что вот-вот произойдет чудо, нас всех соберут в актовом зале, зачитают некое письмо высших инстанций – и опять все вернется на «круги своя». Но, увы, ничего такого не случилось. Надежда пропала. Тонкая ниточка, связывавшая меня с прошлым, оборвалась.

Основное содержание жизни совков составляло все то, что они делали в своих первичных коллективах и через них. Мы не придавали этому значения, поскольку считали это само собой разумеющимся и незыблемым. Многие советские эмигранты признавались, что страдали, лишившись советских коллективов. Но они были исключены из коллективов, которые продолжали жить без них, и у них оставалась потенциальная принадлежность к мыслимым (потенциальным) коллективам. А тут произошло нечто более страшное: люди остались дома, а коллективы вдруг исчезли. Эмигранты пережили личную драму. А тут произошла трагедия целого народа: его лишили основного условия его бытия... С нами сделали нечто подобное тому, как если бы рыб выгнали из воды на сушу и сказали: Вот вам освобождение от коммунистической воды, наслаждайтесь демократической сушей: Вот мы и наслаждаемся.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Я шел мимо бесчисленных учреждений и предприятий – деловых клеточек постсоветской России. В них работали люди. Но это были уже не коллективы, какими были советские деловые клеточки. Это были опустошенные деловые машины, очищенные от всего того, что составляло суть жизни совков. И люди в этих новых деловых машинах стали казаться мне лишь призраками людей, пустыми формами от людей, а их движения стали казаться лишь имитацией человеческой жизни. Город выглядел для меня оживленным в мультфильме кладбищем.

Разрушение советских коллективов – самая глубокая болезнь нашего народа. Поразительно, что оно произошло без сопротивления и почти незаметно. Никому не пришло в голову, что это станет основой всего прочего беспредела. Человек тем самым освобождался от самого глубокого контроля – от контроля ближайшего окружения.

Я только теперь осознал, что вся затея с приватизацией была направлена фактически на разрушение коллективов и коллективизма. Убито общество коллективов, коммун. Страшно от того, что это произошло на моих глазах, а я пальцем не пошевелил, чтобы помешать этому.

Что имеем – не жалеем, потеряем – плачем. Как же мы потешались над явлениями нашей коллективной жизни! Стремилась уклониться от собраний, от субботников и других мероприятий. А теперь я мечтаю поучаствовать хотя бы в одном таком мероприятии, почувствовать себя одним из членов гигантской семьи – коллектива. Послушать свежие анекдоты, поболтать о всяких пустяках, пофлиртовать с сотрудницами, выпить с коллегами, потанцевать на вечеринке, выехать за город за грибами или просто на пикник, поучаствовать в спортивных соревнованиях или самодетельности, посмеяться над карикатурами в стенной газете, получить благодарность или даже премию к празднику.

Боже, неужели это все кануло в Лету и не вернется никогда?! Какими же мы были идиотами, проморгав все это!

В рассмотренном тексте активно используются метафоры: преобразование социальной системы образно представляется то как прекращение существования живого существа, то как разрушение физического объекта. Ср.: *...был разрушен Советский Союз и советский социальный строй в России; Это прозвучало для меня подобно смертному приговору; я это слово воспринимаю как диагноз неизлечимой болезни. Болезни особого рода: социальной. Против нее нет и теперь никогда не будет лекарства; Неужели это произошло в реальности, а не в болезненном бреду?! Как ты реагировал на расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года? Легче пережить потерю друзей и родственников, чем коллектива: Нечто вроде загнивания. Тонкая ниточка, связывавшая меня с прошлым, оборвалась; С нами сделали нечто подобное тому, как если бы рыб вытащили из воды на сушу...; И люди в этих новых деловых машинах стали казаться мне лишь призраками людей, пустыми формами от людей, а их движения стали казаться лишь имитацией человеческой жизни. Город выглядел для меня оживленным в мультфильме кладбищем; Разрушение советских коллективов – самая глубокая болезнь нашего народа; Вся затея с приватизацией была направлена фактически на разрушение коллективов и коллективизма; Убито общество коллективов, коммун. Страшно от того, что это произошло на моих глазах, а я пальцем не пошевелил, чтобы помешать этому. Боже, неужели это все кануло в Лету и не вернется никогда?!*

Своего рода смысловым и стилистическим стержнем рассматриваемой публикации стал вынесенный в заголовок псевдоотнормим *совок*.

По данным академического «Словаря русского языка» (1981–1984), *совок* – это «Лопатка с загнутыми кверху боковыми краями и короткой ручкой». В качестве иллюстраций в словаре представлены словосочетания *Железный совок. Совок для мусора*. Метафорическое использование этого слова для пренебрежительного обозначения обычного советского человека, конечно, во многом объясняется фонетической близостью, однако не менее важен ассоциативный потенциал слова: «совок» – это нечто малозначительное, связанное с уборкой мусора. Эмоциональная окраска этой метафоры раскрывается уже в самом начале публикации: *Употребляя это слово, употребляющие его люди тем самым выражают презрение в советской эпохе и порожденным ей людям*. Эмоциональный потенциал образа продолжает развиваться и в последующем тексте.

Особое место метафоры *совок* в рассматриваемом тексте определяется уже самим ее вынесением в заголовок, где с помощью **антитезы** задается основной пафос статьи. Повествователь подчеркивает свою собственную принадлежность к «совкам» и рисует ностальгическую картину жизни «советских коллективов». Легко заметить, что антитеза – одна из главных риторических фигур этой публикации: в ней последователь-

но противопоставляются советская эпоха и «горбачевско-ельцинские годы», «коммунистическая вода» и «демократическая суша», коллективизм и индивидуализм, уверенность в своем будущем и необходимость постоянной борьбы за существование.

Важнейший прием акцентирования рассматриваемой метафоры – постоянный **повтор** слов *совок* и *советский*. Ср.: *Словом «совок» сейчас называют... Я принадлежу к числу таких совков, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз, и советский социальный строй в России и других частях бывшего Советского Союза*. Используя эту риторическую фигуру, повествователь снова и снова напоминает о советской эпохе, советском социальном строе, советских коллективах и Советском Союзе. Показательно, что в данном тексте лексический повтор – это не единичный пример, а постоянно повторяющийся (в том числе с использованием других слов) прием: *Я покинул институт. Как будто покинул целую эпоху; Но это были уже не коллективы... Это были опустошенные деловые машины. И люди в этих деловых машинах стали казаться мне лишь призраками...*

Для акцентирования используемых метафор автор постоянно использует и риторические фигуры, основанные на взаимодействии повтора и расположения элементов. Автор последовательно применяет лексическую, смысловую и грамматическую **анафору**: *Как ты реагировал на горбачевскую перестройку? Ты приветствовал ее. Как ты реагировал на ельцинскую «революцию» в 1991 года? Ты приветствовал ее. Как ты реагировал на расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года? Ты одобрил его*. Обращает на себя внимание использование **эпифоры**: *Я... потерял... коллектив. ... Легче пережить потерю друзей, чем коллектива. Только теперь я понял., что душа совка – в его приобщенности к жизни коллектива*. В тексте встречается также **эпанафора** (стык): *Теперь я это слово воспринимаю как диагноз неизлечимой болезни. Болезни особого рода: социальной* (попутно отметим, что в этом фрагменте текста, как и в ряде других, для акцентирования метафоры использована еще одна риторическая фигура – **парцелляция**). В тексте используется также **кольцо**: *И люди в этих новых деловых машинах стали казаться мне лишь призраками людей, пустыми формами от людей...* Примеры использования различных видов повтора (морфемного, лексического, смыслового, морфологического и синтаксического) можно легко продолжить.

В рассматриваемом тексте активно применяются и другие виды фигур: риторический вопрос, риторическое восклицание, риторический диалог, инверсия, уже названные выше антитеза и парцелляция, риторические вопросы и восклицания, риторический диалог и т.п. Особое впечатление производят развернутые метафоры с использованием «свежих», сохраняющих яркую внутреннюю форму образов: *С нами сделали*

нечто подобное тому, как если бы рыб вытащили из воды на сушу и сказал: Вот вам освобождение от коммунистической воды, наслаждайтесь демократической сушей! Все это усиливает эмоциональный накал текста и привлекает внимание читателей к стилистической организации текста.

Контрольные вопросы и задания

1. Чем можно объяснить повышенное внимание современных политиков и журналистов к форме своей речи, к использованию разнообразных выразительных средств?

2. Проанализируйте один из политических текстов, представленных в приложении к данному учебному пособию, с точки зрения выявления в нем стилистических фигур и тропов.

3. В каких политических жанрах (речевка, лозунг, партийная программа, выступление на митинге и др.) особенно активно используются стилистические фигуры и тропы?

4. Охарактеризуйте лексико-стилистическую организацию одного из представленных в приложении политических текстов.

5. Какие выразительные средства используют политики в следующих высказываниях? С какой целью это делается? Насколько удачными вы считаете эти фразы?

Если не заменим законодательство, будем с вами ловить блох, а акулы капитализма будут уходить из-под нашего пристального внимания (С. Степашин).

У Доренко изо рта прямо долларами пахнет (губернатор Красноярского края А. Лебедь).

Что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги (Вице-премьер московского правительства А. Ресин).

Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно менять (губернатор Красноярского края А. Лебедь).

Когда не платят зарплату, директору надо делать массаж копчика с помощью напильника (министр экономики А. Лившиц)

Нам надо перегрызть долларовый поводок (председатель Центробанка России В. Герасченко).

Интертекстуальность и интерстилевое тонирование текста

Интертекстуальность – это присутствие в тексте элементов других текстов, что обеспечивает его восприятие как частицы общего политического дискурса и – шире – как элемента национальной культуры (М.М. Бахтин, Р. Барт, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Ю. Кристева, Н.А. Кузьмина, С.И. Сметанина и др.). Вместе с тем конкретный текст – это автономный феномен, для которого характерны внутреннее единство, цельность и законченность.

Современный политический текст часто строится и воспринимается как своего рода диалог с другими текстами: автор развивает и детализирует высказанные ранее идеи, полемизирует с ними, дает свою интерпретацию фактов, подчеркивает собственную позицию. Такой текст оказывается насыщенным множеством скрытых и откровенных цитат, реминисценций, аллюзий, прецедентных метафор; его полное восприятие возможно только в дискурсе, с использованием множества фоновых знаний из различных областей культуры.

В соответствии с концепцией Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных и Д.Б. Багаевой в качестве культурных знаков интертекстуальности могут использоваться следующие виды прецедентных феноменов

Прецедентный текст – законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности. К числу прецедентных текстов относятся произведения художественной литературы, фольклора, политические документы и др. В политическом дискурсе символом прецедентного текста нередко выступает его название, которое помогает читателю вспомнить содержание произведения. Ср.: *Роль парламента свелась к квартету, который как не рассказывай, все равно плохо играет*. В этом высказывании Г. Зюганова название крыловской басни вместе с трансформированной цитатой помогает читателю лучше понять мысль автора.

Прецедентное высказывание – это цитата, афоризм, пословица. В современной политической речи прецедентные высказывания часто структурно и содержательно трансформируются, в них вкладывается обновленный смысл. В качестве прецедентного высказывания могут выступать не только развернутые фразы, но отдельные слова и выражения, по которым опознается коммуникативная практика известного человека (ельцинское «Понимашь», горбачевское «начать и углубить»).

Прецедентная ситуация – хорошо известная историческая ситуация, событие, яркие признаки которого запечатлены в народном сознании с той или иной эмоциональной оценкой. Такая ситуация может обозначаться не только прямо, но путем указания на место событий, их время, яркие признаки: *татаро-монгольское иго, ледовое побоище, смутное время, 1812-й год, Брестская крепость, Курская дуга* и др. В современной политической речи названия этих прецедентных ситуаций обычно используются метафорически. Например, по словам депутата Н. Харитона, «Ирак – это наша Брестская крепость».

Символом прецедентной ситуации нередко оказываются предметы быта, иные артефакты, природные объекты: для гражданской войны в России – это шашка и буденовка, для позднесоветской эпохи – талон на колбасу, для конца XX века – сникерсы и памперсы.

Прецедентное имя – это имя (фамилия, прозвище и др.) известного политика, военачальника, ученого, писателя, героя литературного произведения и т.п. Такое имя (*Ломоносов, маршал Жуков, Наполеон, Менделеев, Иуда, Летучий голландец*) служит своего рода знаком опреде-

ленных качеств, оно может символизировать тот или иной прецедентный текст или прецедентную ситуацию.

К числу прецедентных феноменов можно отнести также разнообразные устойчивые сочетания, фразеологизмы, штампы, повторяющиеся метафоры и иные знаки вторичности текста.

Используемые в тексте прецедентные феномены делают изложение более интеллектуальным, формируют новые смыслы, вводят новое событие в общеисторический и культурный контекст. Названные феномены позволяют сделать сообщение более ярким, привлекающим внимание и одновременно ввести в изложение некоторые элементы языковой игры, предложить читателям для кого-то прозрачную, для кого-то достаточно сложную загадку.

Рассмотрим с точки зрения интертекстуальности следующую статью Андрея Пионтковского, опубликованную в «Новой газете».

**В предчувствии Фороса,
или свите перестала играть короля Российской политическая элита
(она же партийно-хозяйственный актив)
не дождалась своего ночного портье и оскорбилась**

«А не пора ли вам, дорогие товарищи, стать законодателями мод в мировом автомобилестроении?» – обратился как-то молодой, энергичный и невероятно популярный генеральный секретарь к группе корпулентных мужчин партийно-хозяйственного помета, четверть века смотрящих вместе с местными бандитами за конвейером, установленным когда-то на берегах великой русской реки изобретательными сыновьями Средиземноморья.

«А не пора ли вам, господа министры-капиталисты, ставить перед собой более амбициозные задачи? Не махнуть ли нам на Джорджа, понимаете ли, Дабл-Ю Буша и резко сократить разрыв с ведущими индустриальными странами?» – обратился 16 лет спустя молодой, энергичный и невероятно популярный президент к группе очень похожих мужчин, занимавшихся похожей деятельностью, но уже в масштабе всей страны.

Через несколько дней он обратился с тем же посланием к расширенному заседанию партийно-хозяйственного актива, или, как теперь принято говорить, с тем же «мессежем» к российской политической элите. Еще совсем недавно состояние, или, во всяком случае, внешнее поведение «элиты» на подобных ритуальных действиях отвечало словам поэта: «Когда Он входит, все они встают – одни по службе, прочие от счастья».

На этот раз он был встречен мрачным гробовым молчанием оставшегося сидеть зала. На лицах проступало глухое и растущее раздражение. Элита знала, что президент знает, что в зале сидят люди, давно уже не только поставившие, но и успешно реализовавшие настолько амбициозные цели, что и их внукам мало не покажется. Напрягать их упреками в отсутствии амбиций и требовать от них еще одного рывка, чтобы догнать какую-то Португалию, было вопиющей бестактностью и откровенным нарушением конкорданса о передаче власти.

Была у них и еще одна причина для раздражения, очень российская. В первые дни славного президентства было столько истребителей, подлодок, патри-

архов, сортиров, в которых корчились враги павловских, визжащих о «мистической связи Путина с народом», чекистов без страха и упрека, стройными рядами идущих во власть, что российской политической элите, как старой полковой лошади, в какой-то момент показалось, что она услышала знакомый Глас Трубы.

Нещадно поротая и при Иоанне Грозном, и при Петре Великом, и при Иосифе Кротовом, она послушно и даже с некоторым диктуемым исторической памятью вождением нагнулась, приспустила штаны и обнажила нашкодившие задницы, ошибочно угадав в нем своего долгожданного ночного портье.

Зверств ждали от него неслыханных и необыкновенных. Как минимум порки, а может, и еще более решительной, калигуловской, если хотите, актуализации своей статусной роли. А он даже двух чижиков не смог как следует придушить. Может быть, всего чекисты, опьяненные неожиданно открывшимися возможностями, разбежались крышевать мебельные магазины, променяв на валютную похлебку первородство железного Феликса. А может быть, ему просто противно стало.

Так или иначе стояние в неловкой позе ожидания утомило элиту и, не получив глубокого удовлетворения, она почувствовала себя дважды униженной и оскорбленной. Свита перестала играть короля. В таких случаях обычно меняют свиту. Или свита меняет короля.

В рассматриваемом тексте ярко представлены разнообразные прецедентные феномены. Широко используются прецедентные тексты, преимущественно трансформированные: *А не пора ли вам, дорогие товарищи, стать законодателями мод в мировом автомобилестроении?; А не пора ли вам, господа министры-капиталисты, ставить перед собой более амбициозные задачи? Не замахнуться ли нам на Джорджа, понимаете ли, Дабл-Ю Буша и резко сократить разрыв с ведущими индустриальными странами?; Когда он входит, все они встают – одни по службе, прочие от счастья; униженные и оскорбленные; ночной портье; мистическая связь Путина с народом; Менеджер, нанятый на работу советом директоров; Одинокий монах, бредущий по свету с дырявым зонтиком; короля играет свита.*

Автор умело актуализирует в сознании адресата прецедентные ситуации: *В предчувствии Фороса; догнать Португалию; истребители, подлодки, патриархи, сортиры, в которых корчились враги; рыцарь без страха и упрека; полковая лошадь, услышавшая знакомый Глас Трубы; двух чижиков не смог как следует придушить; променять на валютную похлебку первородство.* Современный российский читатель легко понимает и аллюзии, связанные с прецедентными именами: *Иоанн Грозный, Петр Великий, Иосиф Кротовый, железный Феликс, калигуловская актуализация своей статусной роли; павловские, визжащие о «мистической связи...»*

Ключевые метафоры рассматриваемого текста – это представление характерных для России взаимоотношений президента и элиты как за-

крепленного в исторической памяти физического и сексуального насилия. В соответствии с российскими традициями статусная роль президента требует от него агрессивности, ярким примером которой служат упоминаемые в статье царь Иоанн IV, император Петр I и генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин. Даже ближайшее окружение (бояре, воеводы, генералы, министры, секретари ЦК) должны быть в постоянном трепете. Таким образом, использование прецедентных феноменов (текстов, ситуаций, имен), интерстилистического тонирования, разнообразных стилистических фигур заметно акцентирует используемые в тексте метафоры.

Каждый прецедентный феномен в тексте – это знак бесконечного диалога различных сфер культуры, различных ее поколений и вместе с тем показатель интеллектуального уровня автора и его оценки возможностей адресата. Творческая индивидуальность автора, автономность текста проявляются в удачном отборе элементов интертекстуальности, в умелом отборе самых компонентов из предшествующего опыта человечества для создания нового оригинального текста.

Интерстилевое тонирование текста. Интерстилевое тонирование – это намеренное использование в тексте языковых средств с максимально разнообразной стилистической окраской, в том числе таких, которые воспринимаются как стилистически инородные, не соответствующие традиционным представлениям о качествах политического текста. Одна из особенностей современной политической коммуникации состоит в том, что авторы не считают необходимым ограничивать себя использованием исключительно публицистической лексики, а смело вводят в текст, казалось бы, совершенно несовместимые элементы.

Если обратиться к рассмотренной выше статье Андрея Пионтковского, то легко заметить, что автор постоянно использует названный стилистический прием. В данном тексте, с одной стороны, постоянно применяются жаргонные, просторечные, разговорные слова и выражения (*сортир, нашкодившие задницы, крышевать, мало не покажется*) или стилистически закрепленные значения общеупотребительных слов (*партийно-хозяйственный помет, смотреть за конвейером, замахнуть на Джорджа Дабл-ю Буша, напрягать упреками*). С другой стороны, стилистически сниженная лексика особенно ярко выделяется рядом с книжными словами и выражениями (*партийно-хозяйственный актив, вопиющий, конкорданс, возделение, актуализация статусной роли*). Использование жаргонной и просторечной лексики параллельно с книжными словами при описании российской политической и деловой элиты, как и сообщение о ее совместной с бандитами деятельности, упоминание о «крышующих» преступников чекистах, служит средством смыслового сближения сферы власти со сферой криминала, этот прием как бы объединяет политических лидеров и преступных «авторитетов».

Показательно, что в рассматриваемом тексте интерстилевое тонирование нередко дополняется всевозможными смысловыми и структурными трансформациями фразеологизмов, прецедентных высказываний и даже отдельных слов.

В рассматриваемом тексте находят широкое применение и стилистические фигуры. Обращает на себя внимание смысловой, синтаксический и лексический параллелизм двух первых абзацев, что позволяет подчеркнуть сходство знаменитых выступлений М.С. Горбачева и В.В. Путина. В пятом абзаце действующий президент России сопоставляется с китайским политическим лидером Мао Цзэдуном. Автор использует антитезу: противопоставляется прежнее и современное поведение элиты, ожидаемые и реальные действия президента. Текст завершается осложненным хиазмом, в котором в разных синтаксических позициях используются метафоры *свита* и *король*. Постоянно используется инверсия, парцелляция и цепочки однородных членов.

Представленный материал наглядно демонстрирует широкое разнообразие стилистических средств, которые используются в современной политической коммуникации с целью акцентирования структурных свойств текста, привлечения внимания к самому способу выражения авторской мысли. Показательно, что современные политики и журналисты активно используют как ресурсы, которые были охарактеризованы еще в древних риториках, так и новые, созданные и осмысленные в рамках постмодернистской эстетики (интертекстуальность и интерстилевое тонирование).

Контрольные вопросы и задания

1. В свое время М.В. Ломоносов настойчиво предостерегал от смешивания «штилей», то есть совмещения в пределах одного текста «высокой» и «низкой» лексики. Почему современные политики и журналисты совершенно пренебрегают этим предостережением, позволяя себе использовать в политических текстах интерстилевое тонирование текста?

2. Что такое прецедентные феномены? Какие типы прецедентных феноменов вам известны?

3. С какими целями прецедентные феномены используются в политических текстах?

4. Какие прецедентные феномены, восходящие к современной политической ситуации, будут использовать наши потомки?

5. Известный швейцарский лингвист Патрик Серио назвал советский политический язык «деревянным». В основании этой метафоры легли представления о чрезвычайно стандартизированном, сопротивляющемся всему новому языку, предназначенном прежде всего для демонстрации верности коммунистической идеологии. Насколько указанная метафора соотносима с современным политическим языком?

6. Насколько обоснованы представления о том, что современный политический язык лучше (или хуже), чем политический язык советской эпохи?

7. Выявите прецедентные феномены в следующих контекстах и определите источники прецедентности.

– У Бушей нефтяной бизнес, и им выгодно общаться с арабами – тогда цены на нефть будут высокими. В Техасе у них там свой «Лукойл» местный или ЮКОС. С арабами они деньги зарабатывают (В. Жириновский).

– Армия, МВД и органы госбезопасности в ходе реформ разрушены весьма основательно. Но «Альфа» и «Вымпел» сохранили боеспособность. И именно они спасли Россию от унижительного поражения и десятков новых «Норд-Остов» (В. Тетекин).

– Незадолго до сыр-бора с ЮКОСом Чубайся как раз и выступил со своим манифестом, заявив стране, что его «партия меньшинства» возглавит второй этап либеральной реформации в России. Ставки сделаны и – все эти стенания вокруг «термидора» питерцев и «второй 37-й год» – несерьез, на публику (В. Попов).

– Вызов терроризма абсолютно неожиданный. Вспомним «Войну с саламандрами». Террористы и есть те самые саламандры: у них нет армии, нет государства, они появляются из ниоткуда, каждое государство имеет своих саламандр... Фактически мы живем в состоянии войны с саламандрами (И. Хакамада).

8. Выявите прецедентные высказывания в следующих контекстах и определите источники прецедентности.

– Минутки ненависти в американской прессе удивительным образом совпадают с перипетиями «дела ЮКОСа» (К. Славин).

– Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Чубайсе и фугасе (О. Бакушинская).

– Пугачев не принадлежал сам себе. Он уже хотел остановить этот бунт, бессмысленный и беспощадный (Б. Немцов).

– Власть начинает работать, когда ее критикуют, не дают почитать на лаврах. А у нас скоро будет написано на властных зданиях: «Мы живем, под собою не чуя страны» (Б. Немцов).

– А дальше будет еще хуже. Потому что народ-то молчит. Народ безмолвствует и голосует за власть (И. Хакамада).

– После создания карманной националистической пугалки «Родина» или всякие разговоры о создании еще и карманного объединения демократов. И вообще-то имя Касьянова в этих разговорах звучало... И тогда я, знаете ли, поняла: «биографию делают нашему рыжему» (О. Бакушинская).

9. Проанализируйте один из политических текстов, представленных в приложении к настоящему учебному пособию с точки зрения использования в нем ресурсов интертекстуальности и интерстилевого тонирования.

Глава 4. НОМИНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И СЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Предварение

Та специфическая область вербально-речевого проявления, которую принято определять как язык политики, политический язык, язык политического взаимодействия, язык политической коммуникации и которая будет предметом данного рассмотрения, может быть правильно понята, описана и оценена в соотношении с другими каким-то таким же образом себя проявляющими и как-то аналогично устроенными «языками». Специфику каждого из таких языков, особенность и сходство которых следовало бы усматривать в публичном характере их проявления (отсюда возможно еще одно представление о них как о языках социального взаимодействия), можно бы было увидеть в номинативном и категориальном устройстве. Каждый подобного рода язык представляет собой и может быть воспринятым и описанным как семантический код, устанавливающий свои отношения к тому, о чем с его помощью типичный для него речевой субъект говорит, что собой представляет его, для него характерная номинативно-предметная и понятийная область, равно как к тому, что являют собой типичные для него речевые и узуальные средства. Из этого следует ряд проекций, который при более пристальном и обстоятельном отношении к ним, с описанием и установлением связей, может приблизить специфику изучаемого языка. Обобщенно их можно представить как следствия субъектно-объектных соотношений, предполагающих предикативные и предикатные взаимодействия и проявления, внутри системы, устройства данного языка.

В основе предполагаемого рассмотрения, в связи со сказанным, будет лежать представление о привычной для метаязыков описания триаде, находящей свои отражения, в зависимости от избираемого поворота, в том либо другом смысловом разложении составляющих ее сторон. Тройственный характер предмета анализа и описания будет сводиться к трем кругам, вращающимся вокруг проблем **номинации, категоризации и эволюции**. Номинации – как того, что дает возможность увидеть и изучить специфику форм социального и политического взаимодействия, в отличие (предполагаемом, но не изучаемом) от других номинативных, оценочных и экспрессивных форм. Категоризации – как того, что позволяет с достаточной степенью объективности и достоверности установить понятийно-системные свойства политического языка как кода, организующего отбираемые для своих целей (номинативных и коммуникативных) смыслы и единицы, определенным образом представляемые и уставляемые, что будет следовать всякий раз из его специфики в отношении к другим семантическим кодам и языкам, в том

числе и к национальному литературному языку, И эволюции – прежде всего в его изменяющемся или уже измененном месте и положении к литературному языку, равно как и в отношении к себе самому другому, меняющемуся или уже изменившемуся в связи со сменой и(ли) трансформацией общественно-политических, социальных и когнитивных систем, парадигм. Отсюда три круга вопросов, которые будут предметом данного рассмотрения (может быть, не совсем отчетливо разделяемого, но имеющегося в виду) можно было бы свести к такой постановке:

1. Номинативный акт и оценочность. Аппеллятивы (номинативные единицы воздействующего характера) языка политика как свернутые, или снятые, оценочные высказывания.

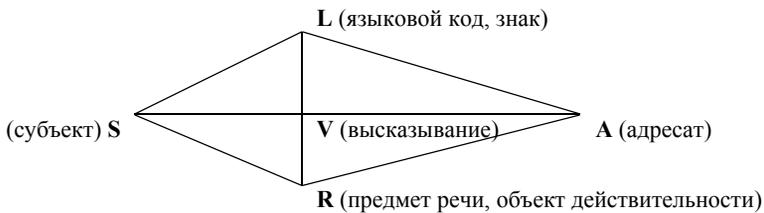
2. Категоризация в (политических) языках социального взаимодействия на примере номинативов языка советской действительности, т.е. русского советизированного языка.

3. Эволюция политизированных парадигмосистем. Итоги и следствия перехода от языка советского времени к языку последующего узувального состояния (номинативные и перцептивные следствия десоветизации в языке конца XX – начала XXI века).

Выбор политического языка советского времени в качестве формы-объекта для изучения особенностей политического взаимодействия, в качестве точки отсчета и соотнесения для понимания общих и теоретических представлений, не был случайным. Во-первых, по той причине, что для лучшего понимания чего бы то ни было, а тем более такого непростого, когнитивно и эмоционально заряженного к тому же, феномена, каковым является политический русский язык, необходима дистанция, взгляд с временной перспективы. Во-вторых, потому, что процессы современного состояния всегда хорошо бы соотносить, чтобы лучше увидеть, с тем состоянием, которое было для него предыдущим. В-третьих, по той причине, что язык политического и социального взаимодействия советского времени предполагал, в немалой степени, и иное устройство, и иной узувальный и функционально-коммуникативный тип смыслового кода по сравнению с тем языком (или, может быть, языками), который приходит (или уже пришел) ему на смену. А коль скоро так, то сопоставление двух разных типов, пусть даже только внутренне подразумеваемое и не до конца проговариваемое, может дать многое для понимания как того, так и другого устройства. И, наконец, в-четвертых (но не в-последних), хотя бы уже потому, что уходящее легко уходит и забывается, а его фиксация в последующем будет иметь характер не до конца достоверного и приблизительного, без ощущения пережитого, знания. В свою очередь, это самое уходящее, имея тенденцию возвращаться, не будучи хорошо осмыслено и точно определено, может давать далеко не желательные эффекты, особенно в таком располагающем к этому проявлении, как язык социального взаимодействия, язык полити-

ческого воздействия и инструмент (по известному определению Р. Блэкара) социальной власти.

Три заявленных круга вопросов, получивших свое отражение в публикациях и рабочих материалах разного времени и объема, хотелось бы предварить общей схемой, дающей возможность объединить разнородное в некий сюжет, основу которого составляет идея политического как коммуникативного взаимодействия в его специфическом отношении к коммуникативному акту в составе ролей и участников. Схема политического коммуникативного взаимодействия представляется более сложной по сравнению с коммуникативным взаимодействием вне его публично-социальной проявленности. Если основу второго можно видеть и находить (упрощенно) в бинарной устроенности, переходящей в тройственность: два речевых субъекта, говорящий (S) и слушающий (A), меняющиеся ролями, взаимодействующие посредством передаваемого и обрабатываемого, производимого и воспринимаемого ими двумя высказывания (V), отнесенного к предмету речи, внеязыковой действительности, как референту (R) и языку (L) как коду¹:



то такая же схема политической коммуникации представляется изначально тройственной, с переходом в четыре и непростыми соотношениями внутренней оппозитивной двойственности с подразумеванием, присутствием в таких соотношениях не обязательно выраженных три и за ним четыре.

Начнем с того, что сам субъект как составляющая должен и может быть изначально и потенциально выражен тремя ролями, а не двумя. Первый такой ролевой субъект – тот, кто стоит за высказыванием, организует, диктует, распоряжается и управляет им. Его содержанием, пре-

¹ Схема была составлена автором в 1987 г. в качестве учебного материала к занятиям по русскому языку на отделении журналистики Ростовского университета; затем, с соответствующими объяснениями и комментариями, была опубликована в учебном пособии *Русский язык. Введение*. Ростов-на-Дону, изд-во Ростовского ун-та, 1993 (соавтор Л.А. Введенская), а также в последующих изданиях того же пособия под названием *Теория и практика русской речи*. Ростов-на-Дону, изд. «Феникс», 1997; Москва – Санкт-Петербург – Нижний Новгород..., изд. «Питер», 2005. Горизонтальная ориентация субъектной оси (субъект – высказывание – адресат) предполагает обычное равенство коммуникативных ролей участников с возможностью их взаимной замены.

жде всего, но и формой в известной степени. С точки зрения допустимого языка и выбора он его своего рода «душа» и «тень». Душа – по отношению к тексту высказывания, *тень* – его исполнителью. Этот первый субъект, фигурирует как *диспонент* (подобным образом его определяет Е. Бральчик в своем анализе особенностей языка польской партийной пропаганды 70-х гг. XX столетия [Bralczyk 2001: 26]). Вторым субъектом, соответственно, будет, по определению того же автора, *экспонент*. Тот, кто генерирует высказывание, придавая ему вербализованную форму, проявленную и организуемую по допустимому заданию и выбору, в ряде случаев подсказываемую, направляемую и диктуемую диспонентом. То есть, иначе говоря, исполнитель и проектор, воплотитель текста (*господин оформитель*, если воспользоваться названием известного фильма 80-х гг., он же спич-райтер на современном пиаровском языке, а также журналист, публицист, комментатор, референт и пр.). Третьим субъектом будет воспринимающий высказывание потенциальный *адресат*, или реципиент, тот, к кому обращено и на кого направлено предполагаемое и закладываемое воздействие, если не обязательно и не прямо текст, поскольку случаи подобного соотношения могут быть как типологически, так и в реализациях различны. Объединяющим их четвертым, четвертой точкой в схеме, будет собственно высказывание, написанный и(ли) произнесенный, напечатанный, выпущенный в средства массовой коммуникации, политизированный, идеологизированный, заряженный диспонентно *текст*.

Четыре перечисленных в соотношениях точки будут составлять стержневую, осевую, магистральную, или центральную, линию субъектного взаимодействия, имеющего однонаправленный, не обратимый характер, в типичных условиях без обратной связи (либо с ее ущербностью и неполнотой). Взаимодействия, имеющего конечным смыслом адресацию апеллятива (в реципиенте как конечной точке отнесения) и реализацию повторяющегося, конвенционального, направленного проектируемого стимулирования (посредством экспонента) в нем, даже если он, т.е. адресат, только воображаемо потенциален (виртуален, по представлению Е. Бральчика в связи с коммуникативными особенностями партийной пропаганды). На стержневой оси, таким образом, мы получаем ролевые проявления агенции (от диспонента ко всему последующему и в первую очередь к экспоненту), конвенции (между ним и экспонентом), генерации (от экспонента к тексту) и апеллятивно направленной перцепции (к адресату через текст, за которым стоят экспонент и диспонент).

Субъектная стержневая линия дополняется слева объектной, составляющими которой в точках можно считать некий образ реальной действительности, обычно модель, получающую свое воплощение в тексте через язык. Язык политического воздействия, пропаганды, язык полити-

ки, язык официально-публичного выступления, проявления, он же, отчасти, также язык эпохи, данного времени, отображаемой (советской или какой-то другой) действительности и соответствующей ментальности, а также экспрессии-чувства. Язык, соотносимый и коррелирующий в своих единицах и формах с языком национальным литературным, массовой коммуникации, масс-культуры и субкультур различного рода (жаргоны, сленг, профессиональные, специальные языки). Язык этот связан с определенной системой ценностей, заряжен, направлен и является средством ориентации, общественной, политической, когнитивной, для владеющих им или просто знающих его речевых субъектов.

Образ реальной действительности, или картина мира, отображаемая, подразумеваемая, воплощаемая в тексте публичного политического воздействия, выполняет роль референта и экспоната (в экспонируемом со стороны экспонента, а не музейном значении). И как таковая, она воплощает в себе смысл проективного действия номинации, референции и позиции – по отношению к диспоненту и экспоненту, субъектам, апеллирующим к ней в отношении выбора, предпочтений, навязываемых и организуемых смыслов, значений, форм, категорий, структур. Пропагандистский образ реальной действительности, или просто идеологически предобусловленный, мировоззренчески и системоценностно препарированный, имеет обычно характер заряженный, заданный и, если не полностью искаженный, то существенным образом преобразованный.

В зависимости от силы и степени пропагандистского и политизированного (идеологизированного) вмешательства в создаваемую картину-модель, выступающую в роли посредника между реальной действительностью и существующим представлением, знанием о ней у носителей данного национального языка и культуры, можно бы говорить о фильтрах, просеивающих, выбирающих, отбирающих, а также и переориентирующих, эмпирическую данность явлений, событий, объектов и фактов.

Следствием подобного фильтрующего действия становится некоторый отвлеченный, снятый, «поправленный» вид существующего, на базе которого затем уже восстанавливается и организуется внутренне ощущаемая, но далеко не всегда представляемая наглядно и ясно для осознания модель, замещающая собой, а во многом и вытесняющая (по крайней мере, имеющая таковую направленность и апеллятивную цель), в любом другом нормальном и усредненном случае вызывающая значительные помехи и сбой адекватному восприятию реальной действительности и такой же реакции на нее. Генерированный, произведенный, созданный для общественного сознания таким образом *экспонат* начинает обратное действие, точнее воздействие, связываемое с генерированием, производением, побуждением в сознании воспринимающих (адресата, реципиента, но также и экспонента и диспонента, поддающихся обаянию действующей и существующей, хотя бы и созданной, а потому не

натуральной, искусственной, тенденциозной и препарированной системы) – нужного образа-представления и необходимого, требуемого, востребуемого, отношения к тому, о чем речь и что составляет предмет политического воздействия в данный момент. Отсюда общее положение и соответствующая общая роль всей левой, объектной, части представляемой схемы, включающей в качестве второго, соотносимого с экспонатом, компонента **язык**. Это положение и эта роль, применительно к диспоненту и экспоненту в первую очередь, позволяет себя формулировать как позиция.

Правая часть в схеме может быть определена как часть предикатная. Она вбирает в себя проявление таких отношений, как знания, характеристики, коннотации, оценки, и состоит из двух составляющих, которые можно определить в значениях **оппонента**, контрагента по отношению к диспоненту и экспоненту, того, кто реально либо воображаемо, представляемо, против, кто не согласен и кто другой, и значения достаточно широко понимаемого **контекста**. В это последнее можно и следует вкладывать смысл социальных знаний, существующей общественной обстановки, культурных знаний и представлений, системоценностных и морально-этических предпочтений и выборов, национальных и социальных стереотипов, т.е. всего того, что является фоном, почвой, основой и окружением для восприятия, понимания, ориентации и оценки в том, что манифестируется, экстраполируется, говорится и произносится вслух, чему носитель данного языка и культуры, являясь свидетелем, слушателем и(ли) участником, придает то или иное значение, вписывая в свои представления, оценивая, интерпретируя и реагируя соответствующим образом на разного рода явления, проявления, знаки либо сигналы.

Правая предикатная часть в ролевом отношении может быть представлена и определена в значениях когниции и оппозиции. Оппонент, или контрагент, в нормальных, обычных условиях безобратного и однонаправленного политического воздействия на адресата, лишен права голоса, отсутствует как агент и субъект. Роль его ограничивается отношением, обращением к нему (безответным и риторическим) как к тому, чего не следует, как не должно, нежелательно и вредоносно или не может быть, выступая тем отвергаемым, отклоняемым образцом и примером, смысл которых в оценочно-коннотативном и подогревающим отношении, обращении, отнесении через него к адресату. Отсюда его предикатный, а не субъектный, характер негации, когниции и оппозиции (коннотативно-ценностный оппозитив).

Оппозитивом, но несколько в ином значении и повороте, как тем, с чем прямо или непрямо сопоставляют сказанное, с чем его соотносят, на что его опирают, далеко не обязательно при этом упоминая, называя и произнося (поскольку это все же не до конца и не для всех одинаково

ясный, единый в своих значениях и оценках *оппозитив*), – таким экранирующим компонентом в схеме является также и одновременно указанный перед этим насыщенный когнитивный контекст.

Роль оппонента и роль контекста поэтому в смысле и в отношении охарактеризованной предикатности сходны. Они дополняют друг друга. Контрагент-оппонент и социальные знания-окружение-контекст выступают для диспонента и экспонента, используются ими для соотнесения и отнесения с ними и на их фоне, для оттенения, уточнения и выдвигения (термин И.В. Арнольд) смысла, окраски, оценок в тексте, для придания ему внутренних, далеко не всегда осознанных и уточненных, но ощущаемых экспрессивных и семантических, тоновых, обертоновых зарядов и сопровождений. Фактически для его насыщения, красок, эмоциональности и густоты. Для аранжирования, т.е. включения, вписывания в некий басовый либо скрипичный идейно-оценочный ключ, для наполнения и своеобразной, необходимой агенту как диспоненту и экспоненту аранжировки.



Всякое изучение и описание условий, смыслов, следствий, особенностей и результатов коммуникативного взаимодействия, определяемого как публичное и политическое, так или иначе затрагивает ту или иную из охарактеризованных и показанных в приведенной схеме сторон, обычно в их соотношениях, взаимных позициях и ролях. Типологические различия языков политики как языков социального взаимодействия, обычно в условиях массовых коммуникаций, будут предполагать различия в характере соотношений, взаимных позиций, взаимных и общих ролей составляющих – диспонента и экспонента, которые могут быть дополнительными, пересекающимися, совпадающими, накладывающимися, взаимообратными; диспонента-экспонента и адресата (через посредство текста), которые могут быть направленными, активными либо нейтральными, непрямо направленными, ненаправленными, индифферентными (вплоть до отсутствия адресата, непредположения его, виртуальности, как особый и крайний случай) и т.д., и т.п. Так же различными могут смыслы и отношения между диспонентом и экспонатом, экспонентом и экспонатом, адресатом и экспонатом, в их также различном характере и отношении к языку, оппоненту либо контексту.

Общим смыслом действия в схеме, инициатором, вершинной, исходной точкой движения в которой следует считать диспонента (движение по оси стержневой), можно бы было считать проекцию некоего экстраполируемого коннотатива-значения (правой части) через посредство, фильтры и отношение (позицию левой), заключаемые в экспонате и языке. И тогда три первые на пути такого движения точки – экспонента в центре, экспоната слева и оппонента справа – выполняли бы роль *проективов*, того, кто и что проецирует(ся), представляя собой ролевое единство и первый отображаемый и встречаемый на пути проекции срез, а три последующих, в их предшествовании адресату, перед ним, до него и направленно на него – текст высказывания в центре, язык слева и контекст-окружение справа – соответственно, роль *экрана*, на который и через посредство которого производится, проецируется это все для адресата, сидящего как бы перед ним и воспринимающего все это движение-действие как своего рода акцию и(ли) интеракцию общественной, социальной и политической жизни в театре теней.

Схема обоюдоотточенного, с двух сторон, карандаша, со стержнем по осевой, так ее можно назвать и представить образно и метафорически, будет нами восприниматься и применяться к идее и типу, как было сказано, советизированной политической пропаганды, идеологизированного языка советской действительности и советской эпохи. Отсюда ее ориентированный сверху вниз характер, от диспонента к адресату через экспонента и текст, показывающий однонаправленность и целенаправленность воздействующего унитарного отношения такого воздействия. Это же может быть показано стрелками, предполагающими дейст-

вие от диспонента, руководящее и направляющее, на экспонента в первую очередь, но и на все дальнейшие составляющие части, линии, стрелки и точки процесса. Другие идеи и типы не обязательно нечто подобное могут или должны повторять. Отношения могут быть обращаемыми и взаимонаправленными, различной может быть сила, смысл и направляющий тип подобного действия, что будет зависеть от вида и способа политического взаимодействия и(ли) характера используемого в этих условиях политического (идеологического, но не только и не обязательно) языка.

Схема в своем устройстве внутренне ориентирована к субъектно-объектной и предикативной природе самой политики, как явления, вида общественного и социального (здесь имеет смысл различать эти два понятия) взаимодействия. Заимствованное из древнегреческого языка *ἡ πολιτικὴ* (подразумевается *ἐπιστήμη* 'знание, учение, наука' или *τέχνη* 'искусство, мастерство, ремесло', а также и *πολιτικά* 'общественное дело', как обобщение и потому форма мн. ч.), является с морфологической точки зрения прилагательным ж.р., от *πολιτικός*, м.р., 'принадлежащий гражданам', 'гражданский', предполагая смыслом идею государственной науки, искусства управления государством во имя общественной, гражданской пользы (как кормчий кораблем) и, будучи в своей изначально скрытой, но внутренне, прототипически мотивирующей основе, прилагательным, оно в этой своей задуманной основе характеризующее и предикатно. Ср. не случайное затем в древнегреческом нареч. *πολιτικῶς* 'по-граждански, как прилично гражданину'; поздн. 'скромно, просто, ласково' [Вейсман 1899].

Согласно разным словарям политика, в интересующем нас значении, характеризуется как деятельность – общественных классов, партий, групп, определяемая их интересами и целями либо как деятельность органов государственной власти и государственного управления, выражающая социально-экономическую природу данного общества. Таким образом, перед нами неизменно возникает представление (категориальное) субъекта (классы, партии, общественные группы, органы власти и управления) – деятельности (как процесса, движения, развития, динамики и потому категории процессуальности), а также, вслед за этим, представление об интересах, целях, а потому заряженности, ангажированности, втягивания, идеологизации, о средствах достижения целей, организуемых и упорядочиваемых, отсюда не в последнюю, если не в первую очередь, о языке – и, наконец, как третье, об объекте – массовом, адресативном и апеллятивном. Все это так или иначе действует и с необходимостью должно быть учтено при изучении, анализе средств осуществления политики, средств общественной реализации различных видов политического взаимодействия.

Завершить предпринятое предварение хотелось бы перечнем необходимых в отношении и для понимания всего дальнейшего, но без развертывания, которое потребовало бы немалого объема, постулатов, только как нацеливающих к восприятию и в некотором смысле обобщающих, дающих точку отнесения и подводящих черту:

- Язык политики будет пониматься нами, вслед за многими исследователями, может быть, не столько как функциональная разновидность, сколько как особый (дискурсивный) узус языка, в соотношении речевых и языковых, синтагматических и парадигматических своих особенностей.

- Язык политики может и, возможно должен, пониматься как совокупность типологически различающихся либо переходящих друг в друга, в том числе и трансформационно, в диахронии и синхронии, политических языков.

- Основу языка политики может, но не обязательно должна, составлять какая-то идеология, воспринимаемая и понимаемая как система понятий и идей, мировоззренческая, системоценностная и, возможно, но опять-таки не обязательно, философская.

- Язык политики своеобразным и неоднозначным образом относится к национальному (как общенародному прежде всего и общеупотребительному, всем говорящим более или менее известному), а также и в первую очередь, литературному языку, в разнообразии его форм, «языков», проявлений, аспектов, ярусов, подсистем и сторон. Относится через сознание, общественное и(ли) массовое (что далеко не одно и то же), вырабатывая и предполагая в ряде довольно типичных случаев собственный, особый, политизировано ангажируемый тип языкового сознания, а отсюда интерпретации, понимания и восприятия. Основу всего этого составляет, может составлять, отличная от общего употребления база порождения и восприятия смыслов (также и форм) – *генеративно-перцептивная база* данного политического языка.

- Язык политики предполагает, может предполагать особое, фильтрующее, восприятие и отношение к действительности, порождая, создавая собственный образ ее, отображение, модель, используемую, действующую при создании текстов, при воздействии на адресата и при восприятии, генерируя и индуцируя в его сознании *образ образа*, собственную, внутреннюю, по-разному соотносимую к имеющейся и более или менее объективной, субъективную образ-модель.

- В языке политики по-разному способны сочетаться естественное и искусственное, существующее и воображаемое, действительное и фикция, объективное и субъективное, данное и имеющееся в виду – как категориальные и типологические составляющие того или иного политического языка.

- Вписываясь в систему социальных и массовых коммуникаций, языки политики (либо один, если он один, такой язык), по-разному, но,

как правило, не равным и подчиняющим образом, взаимодействуют с ними в семантическом и концептуальном пространстве данного социума и его национального и литературно-письменного языка, воздействуя на их и его природу через системы этих самых массовых и социальных коммуникаций.

● Скачкообразные, революционные периоды развития русского, прежде всего литературно-письменного, языка, относимые в русистике ко времени петровских реформ начала XVIII в., к 20-м годам XX столетия, к концу XX – началу XXI веков и связанные с изменением почвы внутреннего обогащения языка, его отношением к норме, резкими и массовидными изменениями в пассиве и активе словаря, – эти периоды можно было бы определять в понятиях европеизации (I-го подобного, петровского, этапа, с обращением к заимствованиям), советизации (II-го, с обращением к среде городского просторечия от диалектов в XIX веке) и массовизации (III-го, с его обращением от городского просторечия к сленгу, иногда трактуемому как городское аргю, общий жаргон, на наш взгляд, не вполне удачно). Отсюда неизбежны следствия для языка политики – плюрализирующегося, массовизирующегося и раздваивающегося между профессионально обусловленной, намеренно сгущаемой специализированной, в известном отношении псевдонаучной, языковой стихией, с одной стороны, и стихией сниженности, жаргонизации, аргю, вульгарности и сленга, что отмечается многими исследователями, воспринимаясь как следствие отхода от советского идеологического унитаризма и либерализации. Как нам представляется, это, скорее, следствие более общих, общезыковых тенденций, литературного русского языка, меняющего социальную базу (от просторечия к сленгу) своего обогащения (но не обязательно нормы, уже существующей и лишь колеблемой).

● Эволюция, развитие, динамика политического языка (как общего, в своих типологических далее проекциях и вариантах) связывается неизменно со сменой общественных системоценностных, а тем оценочных, коннотативных и экспрессивных, ориентиров. Меняется фон и тон такого языка, не обязательно становясь улучшенным и выверенным, но звучащим неизменно иначе и по-другому.

● Результатом, следствием произошедших в языке и общественном сознании трансформативных (но не обязательно при этом трансформировавшихся) перемен имело бы смысл считать не столько заявленную в ряде исследований деидеологизацию (таковая вряд ли возможна и сомнительно, чтобы в языке политики произошла, лишь размножившись, став дифференцированной и разнообразной), сколько *десоветизацию*, проявившую себя в первую очередь в изменении общественно-публичного и официально-воздействующего лексикона, уходе значительных лексических пластов. Но далеко не обязательно в десоветизации категориального мышления, не обязательно в возникновении новых

общественных коммуникативных и когнитивных парадигм. Процесс этот длителен, сложен и далеко не одномоментен.

- Специфику языка политики, как данного политического языка, есть смысл усматривать, помимо идеи внутреннего смыслового кода как семантического языка, с его парадигматикой и синтагматикой, в первую очередь в его лексике и фразеологии, включая в это понятие также клишированные единицы, и в особого рода стратегиях, характерных, типичных для данной политической формулы языка.

- Типология и характер языков политики зависят не только от целей или идейного, в том числе и партийного, выбора, от ориентации группы лиц, стоящих за ним, но и, не в последнюю очередь, от отношения к фазе движения-достижения, а затем сохранения, стабильности либо потери, утраты и отлучения от власти. Один из примеров такого рода типологического проявления политического языка станет предметом дальнейшего рассмотрения.

После такого общего предварительного вступления обратимся теперь, по разделам, к описанию отдельных аспектов и проявлений-сторон затронутого нами явления. Смысл первого подразделения можно свести к проблеме номинативности, номинативного акта, номинативных клишированных единиц как своего рода свернутых, снятых, оценочно-коннотативных высказываний, включающих в себя имплицитно и эксплицитно оценку и характеристику оппонента как контрагента-позиции и(ли) подразумеваемого, но далеко не всегда обозначенного и называемого лица.

1. Номинация. Апеллятивы языка политика как свернутые оценочные высказывания

Язык политики, как специфическую сферу функционального проявления речевого словоупотребления, необходимо прежде всего рассматривать, по-видимому, с точки зрения номинативной теории. Устойчивые обороты, речевые штампы, клише, слова с закрепленной оценочностью, характерные для того или иного типа политического языка, предполагают рассмотрение и изучение позиции номинатора – того, кто дает соответствующее название, запускает подобное выражение, слово в ход. Отсюда важность определения роли номинативного акта в условиях политического взаимодействия.

Номинативный акт и оценочность в составе клишированных единиц языка политики.

Данная работа, опубликованная в сборнике научных трудов *Русистика и современность. Языкознание 3*. Pod red. M. Bobrana, Rzeszów 2003, s. 157-174, посвящена анализу типичных для языка политики сло-

восочетаний устойчивого характера. Рассматривается период горбачевской осени – заката стоящего у власти лидера псевдодемократического тоталитаризма. Периода, отмеченного усилением агрессивно неприязненного отношения к оппонентам. Клишированные единицы политического языка указанного периода определяются как апеллятивы – единицы особой природы, характеризующиеся включением в состав значения коннотаций и оценочности, строящихся на трехчастной ролевой структуре номинативно-коммуникативного акта (субъект речи – предполагаемый оппонент и адресат) и скрытой апелляцией к системе принятых общественных моральных ценностей и установок.

Особый характер коммуникативного взаимодействия, проявляющий и актуализирующий себя в политическом языке, предполагает использование языка как орудия однонаправленного и исходно не слишком верифицируемого воздействия, при котором субъект оказывается не столько тем, кто порождает осмысленные речевые высказывания, сколько носителем некоей позитивной идеи, у которой есть свои и сторонники, и противники, а иногда только эти последние, и перевес в сторону позитивности и ее правоты может иной раз быть настолько значительным, что всё высказывание имеет исходным смыслом задачу чисто оценочную, направленную против и *контр* чего-то другого, нередко даже и исключительно экспрессивную.

В подобных условиях особую роль начинают разыгрывать внутренние, пресуппозитивные и имплицитные средства оппозитивной оценки. Участниками коммуникативного взаимодействия оказываются не два как минимум (говорящий и адресат), а три речевых субъекта (говорящий – предполагаемый его оппонент – адресат), причем позиция оппонента для говорящего будет настолько важной, что его появление и присутствие, его отражение в речи будет всегда почти обязательной. Облигаторность его позиции, выражая себя оценочно, воплощается в типе, в коннотативном, сигнификативном и денотативном характере слованоминатива.

Всё это, равно как и другое, не менее важное и существенное, требует рассмотрения лексем и фразем языка политики прежде всего как особого рода номинативов, передающих и воплощающих ситуативно известные, воображаемые и возможные виды оценки, общественно закрепленные, составляющие фон социальных знаний и ценностей, актуальных и действующих на данный момент.

Типология «языков политики», основывающаяся на экспликативных типах политиков и их высказываний, – предмет особый. Для того чтобы говорить о системе, законах действия и воздействия в данной области функционального проявления языка, необходимо закономерности и различия данных типов предполагать или хотя бы иметь в виду. Не всё

едино, и даже совсем далеко не едино в различных типах названных языков. Сама оценочность и оценка, будучи как исходная социальной, по-разному и иногда, возможно (как крайний случай), даже весьма незначительно, может и будет себя проявлять в соответствующих речевых высказываниях и в соответствующих номинативах. Затронуть и рассмотреть такие различия в данном опусе не удастся.

Объектом анализа был язык в политическом, а также субъектном и адресатном отношениях однообразный – язык утрачивающего, теряющего власть псевдодемократического тоталитаризма, точнее утрачивающего власть позиционера подобной формы правления. Определение «псевдо» и «демократический» было бы неуместно, если бы то и другое не отражалось в характере речевой позиции говорящего, о которой здесь нет возможности рассуждать подробно, но смысл которой сводится к необходимости так о себе заявлять (как о носителе демократической формы правления) и так, *псевдодоляльно* и *псевдотерпимо*, относиться к предполагаемому оппоненту, нередко искусственно и утрированно воссоздаваемому для необходимости его обличать и со своих субъективных позиций его *социально* оценивать. Поэтому всё, о чем далее пойдет речь, не следует обобщать и рассматривать как некую универсалию данной предметной области – языка политики, - в какой мере она будет такой и будет ли ею вообще, судить об этом будет возможно лишь в общей системе типов и разновидностей. Анализировался и во внимание брался только один из возможных типов, и о нем, об этом одном, и возможно будет пока говорить применительно к выводимым особенностям социальной оценочности.

В политическом слове содержится некий смысл, конденсированно в себе содержащий отношение власти, субъекта, носителя власти, **к тому, о чем** говорится, к денотату слова, и, фактически, как отражение, некий *сценарный план* – заложенную структурно идею манипуляции, обработки, использования данного **того, о чем**, в свою пользу, в интересах собственной власти (достижения, удержания, противоборствования противникам и т.п.). Слова *население, народ, массы, люди, толпа, избиратели, электорат, простые люди, труженики, чернь*, - называя денотативно одно и то же, передают различное отношение и позицию говорящего. Это само по себе понятно, но, что важно и что важнее, – содержат в себе идею возможного манипулирования, идею инструментальности, того, чем может быть и(ли) чем является, чем должно быть данное в отношении тех и того, к кому это может быть обращено, к адресату.

Мир рассматриваемого экспликативного типа орудийно-предметен. Всё, что есть в нем, сценарно, сюжетно расписано и – в манипулятивных-номинативах – схематично определено. Четыре (пять) исходных фаз, как исходных субъектных интерпретирующих позиций, – 1) добиваться власти, 2) прийти к власти (овладеть ею), 3) стоять (находиться) у власти,

4) удерживать затем могущую выскальзывать власть и, наконец, 5) потерять (потерявши) власть, после потери власти – как тихо-нескромное увядание – определяют характер и смысл речевого оценочного, сценарно-манипулятивного по смыслу, использования, проявляясь в природе значений слов, в природе номинативов. Политика – как некая для речевого субъекта драма-действие, в котором он речевой участник, проходит, разыгрывается им и перед ним в словах, и по словам можно судить об облике, типе, характере и, главное, фазе власти – в начале она, в пути, на подъёме, или только что и уже оседлала и на коне, и как давно едет, или падает, начала только падать, или уже свалилась.

Всё это, однако, тоже не будет предметом данного рассмотрения. Ограничимся некоторыми – теоретическими и прагматическими – обобщениями, которые могут в дальнейшем позволить, вернувшись к теме, определить особенности падающего тоталитарного типа как типа насильствующего, наступательного и прессорного, и далеко не в осенней и «мягкой» своей модуляции.

Падение происходит на фоне общественного политизирующегося мышления, – так принято было, во всяком случае, это считать. Однако поскольку исходно принятая (= навязываемая) установка тоже известный участник разыгрываемой общей политической драмы-игры, фактор этот необходимо учитывать.

Номинативы – фраземы, лексемы, – используемые в интересующем нас языке, точнее речевом проективном типе, различны. Различны типологически, но это различие также предметом не будет. Просто, чтобы представить «дух» выражающей себя в номинативах «эпохи» – политического речевого субъекта, пока еще все же носителя и обладателя власти, приведем незначительным списком примеры (номинативы периода¹), демонстрирующие одновременно и вместе с тем характер и тип речевой напряженности, экспликативно-оценочную нетерпимость и агрессивность агентов власти: *взять на вооружение, левые радикалы, неоленинградская тактика, разрушение государственных структур, борьба на улицах, драматические события (в...), действия властей, укрепление правопорядка, наступающая диктатура, угроза (наступающей) диктатуры, государственный переворот, поднять истошный крик, цинизм, впервые в истории, демократически избранный орган власти, деструктивная волна, поправить падающий политический рейтинг, психологическая война, позитивные программы, обращаться через голову к народу, отставка Президента, критический момент существования государства, ответственный этап глубоких преобразований, неконституционные внепарламентские формы политической*

¹ Перед нами закат того политического периода, который носителями власти был обозначен номинативом *перестройка*.

борьбы, слабость власти, паралич власти, центр в политическом смысле, преобразование общества на новых началах, революционная перспектива, конфронтация, сплочение, подавляющее большинство общества, мнения отдельных группировок, собраться по партии, выбор сделан давно и окончательно, дальнейшее углубление конфронтации, кто кого, социальная защищенность, смешанная экономика, важность момента, не позволим, не дадим, неприкрытое давление, удовлетворение честолюбивых политических целей, амбиции, преступно обманывают, организаторы этих акций и т.п.

Не будем здесь говорить о различиях в образе и характере приведенных примеров, отметим пока одно: сценарные манипулятивы свидетельствуют о необходимости жестких мер, применения силы, ради, во имя сохранности падающей, ускользающей власти, апеллятивом своим обращаясь, взывая к опасности – но опасности коллективной и социальной, подменяя опасность, угрозу себе опасностью обществу, коллективу, всем. При падении, как известно, тоталитарная власть, тянет за собой всё то, что она собою пронизывала и чем питалась, отождествляя себя, при этом своем падении, с объектом, с тем и теми, что и кто был и были для нее орудием, средством осуществления себя самой, реализации собственной власти – т.е. общество, его институты, народ. Язык позволяет устроить и распознать затем это субъектно-объектное, *тоталитарное* тождество.

Уместно вспомнить в этой связи теоретические взгляды на язык Е.Д. Поливанова, одним из первых в русском языкознании начавшего рассматривать некоторые языковые особенности в связи с коллективным и массовым в языке (для самого Поливанова – коллективным мышлением). С одной стороны, следовавшего в этом своем подходе и интересе за веянием времени, предполагавшим и поощрявшим идеи ментального коллективизма, но без ментальности, с другой, – по-своему, неординарно, в социолингвистическом к языку подходе, начавшего усматривать в этом концептологические, или ментально-концептные, понятия, вовсе не поощрявшиеся, явления и закономерности.

Так, теория языковой эволюции, им развивавшаяся и понимавшаяся в связи с изменениями социальных и культурно-бытовых условий, изменениями «того круга понятий, с которыми оперирует данное коллективное мышление» [Поливанов 1968: 77] прежде всего, наиболее ярко может быть осмыслена на материале изменяющихся форм номинативно-оценочной сферы проявления языка. Этот пласт лексики и фразеологии, напрямую отражает характер нараставших в затрагиваемое нами время, постоянно движущихся изменений общественного, коллективно-массового, политизирующегося (изображавшегося как политизирующееся) общественного сознания.

Политика, как известно, область маневрирования, связанная с необходимостью быстрой и постоянной выработки стратегии поведения,

живого отклика, участия, реагирования. Не последнюю, если не первую, роль в достижении этого для политики играл и играет язык. Роль языка в системах массового взаимодействия и воздействия многими зарубежными исследователями без преувеличения рассматривается как основная, едва ли не как единственная, во всяком случае – как единственно универсальная, первичная и обязательная (облигаторная). «Язык является не просто средством, пользуясь которым мы говорим о ... политике, он и есть наша... политика» [Drinan 1972: 279].

Язык политики, в силу своих свойств, не просто вбирает в себя процессы, существующие в других сферах социального взаимодействия, – он придает им статус общественной значимости, этнокультурной (моральной) глобальности, делая их одновременно актуальными, «заряженными» и наглядно доступными, очевидными. Отражение процессов и изменений социальной жизни в языке политики не беспристрастно – оно почти постоянно оценочно. Эта оценочность, с одной стороны, проявляет себя как фактор мобильный, подвижный и субъективный, передающий позицию заинтересованного субъекта, с другой, – становясь отражением и проявлением нового, во внешней по отношению к языку действительности появляющегося, она неизбежно и вынужденно объективируется, приобретая общественно значимый внесубъективный вид.

Определение форм и структурных типов категории социальной оценочности в языке политики может способствовать, следовательно, более полному представлению и пониманию механизма поливановского «коллективного мыслительного» в языковой эволюции.

В качестве отправного пункта видоизменений в языке Е.Д. Поливанов видел контингент носителей (социальный субстрат). Изменения в общественном сознании, отражающие изменения экономические и политические, ведут к изменениям в языке. Язык воплощает и передает динамику изменений в системе понятий и представлений, а также в системе ценностей тех, кто на нем говорит, его говорящих.

Динамика политических изменений, появляющиеся различия в системе ценностей идеологически не совпадающих и разно ориентированных политических групп, смещаемые, переставляемые, вновь задаваемые ими акценты воплощаются в языке, дают возможность наблюдать тенденции языкового развития во времени и в *языковом пространстве* (с точки зрения коммуникативных сред) на небольшом, спрессованном, конденсированном участке синхронно-диахронных смен (в условиях сравнительно непродолжительного функционирования средств массовой информации одного временного периода).

Подобные изменения ценностей и оценок затрагивают прежде всего номинативный ряд, отражаясь в первую очередь в лексике и фразеологии, в словоупотреблениях, в сочетаниях слов, в речевой узуальности, подтверждая, тем самым, замечание Е.Д. Поливанова о том, что лексика,

фразеология «наиболее быстрочувствительная область языка» [Поливанов 1968: 191], ср.: [Карасик 1992: 11]. Подтверждают также его мысль о том, что предпосылками обновления словаря и фразеологии следует считать «1) наличие большого числа новых понятий (прежде всего политических, а затем и общенаучных – ввиду повышения массового развития), привносимых в эпоху революции в коллективное мышление людей... 2) изменение социального состава носителей... языка» [Поливанов 1968: 191]. Всё это как нельзя более подходит к условиям функционирования языка политики в период смены агентов власти.

Видимо, поэтому наилучшим образом искомые величины изменений обнаруживаются в получающих хождение ярких, легко запоминающихся и потом легко сменяющихся фразах, лексемах и речевых клише, аккумулирующих время, место (источник), социальный субстрат, интенцию и адресатную направленность (апеллятивность).

Речь идет о таких, например, единицах политического языка, как *холодная война, гонка вооружений, аппарат, ястребы, номенклатура, охота на ведьм, политическая нестабильность, анархия, разрушение, распад государства* и пр., которые, с точки зрения структурной, представляют собой слова и сочетания слов фразеологического, фразеологизованного или просто устойчивого характера, с точки зрения же семантической могут рассматриваться как номинативы измененных состояний и свойств, номинативы оценочные, социально-оценочные, т.е. апеллятивы.

Свойство языка быть инструментом власти начинает проявлять себя с самого начала, с акта номинации, с актуализации выбора. Известный исследователь воздействующей и манипулятивной функции языка Р. Блакар замечает: «Выбор выражений структурирует и обуславливает представление, получаемое реципиентом», «произнося одно-единственное слово, человек...» вынужден занять «позицию» и «осуществлять воздействие» [Блакар 1987: 90-92]. Отсюда следует неизбежно необходимость определения процессов, характерных для такой номинации, и прежде всего – номинации в условиях массового воздействия, в языке политики.

Номинация эта – особого рода, она специфична тем, что процессы и результат ее протекания обуславливают избираемую «позицию власти». Сжато и конденсированно она содержит в себе заряд той идеологической и общественно-политической системы, в связи с которой, на базе и в недрах которой она протекает, которую отражает.

Номинативы такого рода, будучи порождением и экспликацией данной ментальной и социальной системы (верификации, ценностей и оценки), связаны с ней непосредственно и очень тесно, поэтому только в контексте ее значений и ее проявлений могут быть адекватно поняты.

Подобный номинатив, прежде всего, имеет агента – того, кто его создает (или создал) и использует затем как собственный, отражая в нем

себя самого, свою позицию, миропонимание, мировосприятие, отношение, и определяя им, через его посредство, себя и свою такую позицию – заявляемую и затем отстаиваемую.

Подобный номинатив, как следствие, часто при этом определяет (оценивает) и контрагента (оппонента агенту) – субъекта другой позиции, которая может выглядеть противоположной по отношению к таковой агента. Позиция агента при этом, собственная и исходная, выглядит как правомерная, оправданная и этически обоснованная, позиция контрагента, нередко, как противоречащая исходной и неприемлемая.

Подобный номинатив включает в поле своей оценочности (и в поле своей семантики), помимо позиции оппонента, и – референта: предмет, явление, представление о которых он называет.

Оценочность такого номинатива-апеллятива, лексемной, фраземной речевой единицы соответствующего политического языка, - выглядит, таким образом, с точки зрения своей направленности, тройственной - агент, контрагент (оппонент), референт, – отражая номинативно ту категорию, которую в языке принято полагать субъектно-объектной и которая реализуется (опять-таки в языке) в глагольных категориях лица, залога (для морфологии) и проявляет себя в семантике субъекта-объекта и падежа, воплощая себя синтаксически (т.е. для синтаксиса).

Для теории номинативных и коммуникативных актов достаточным, видимо, было бы ее представление как категории прежде всего коммуникативно-воздействующей, апеллятивной, реализующейся в составе агента и контрагента (оппонент – предполагаемый собеседник), а также предмета речи (того, о чем говорится, объект-референт).

Для коммуникативного (речевого) акта, протекающего в условиях социального (массового) взаимодействия, немаловажным представляется еще один для нее участник – объект-адресат, или тот, к кому намеренно, либо предполагаемо, обращает речь говорящий и на реакцию которого он рассчитывает, желаемой реакции которого ожидает.

Для коммуникативных актов социального взаимодействия, реализующихся в условиях массовых коммуникаций, актуальной, таким образом, оказывается структура, отличная от структуры коммуникативного акта в обычной (обыденной) речевой ситуации. В то время как для той минимально достаточна проекция двусторонняя говорящий – слушающий, или меняющийся с ним агентной ролью его (говорящего) собеседник – адресат речи, и тоже, но только второй, субъект, – для массовой коммуникации проекция минимальной структуры представляется трехсторонней: говорящий – (подразумеваемый) оппонент – адресат (или слушатель). При этом, с одной стороны, как бы расщепляется сфера субъекта на двух участников – агента (говорящего) и контрагента (оппонента), с другой, – расщепленной на две оказывается и сфера второй половины: включенный в речевой акт, обычно воображаемый, собесед-

ник предстает в двух проекциях-проявлениях – контрагента речи и адресата, того, к кому обращено речевое высказывание.

Отличие коммуникативного акта в условиях массовой коммуникации от обыденного состоит дополнительно в речевой закреплённости. Участники данного акта в пределах высказывания лишены возможности меняться ролями (нечто вроде контрвью оппонентов перед слушателями со сменой ролей, видимо, представляет собой особый случай, предполагающий, как следствие, иными вербальное поведение участников и номинативы, ими используемые).

Закреплённость коммуникативных ролей, при которой контрагент, обычно отсутствующий, лишен возможности выразить, отстоять свою точку зрения (и тем самым скорректировать вербальную сторону речевого высказывания в свою пользу, повлияв в конечном итоге на семантику, возможно, и форму номинативов, используемых говорящим, предполагая, тем самым, нейтрализовать контрагента), делает выигрышной и активной позицию одного говорящего. Активным в речи, следовательно, возможен, и таковым становится, только агент.

Вторая особенность несменяемости ролей связана с адресатом. Очевидное отсутствие обратной связи как непосредственной в момент говорения в условиях массовой коммуникации и языка политики, невозможность для слушателя (наблюдателя, того, к кому непосредственно обращается речь) себя проявить, делает и его роль пассивной, отдавая коммуникативную потенцию своей роли агенту, усиливая, таким образом, его роль. Позиция говорящего в результате оказывается трехкратно усиленной сравнительно с позицией агента обычного речевого акта.

Несменяемость, предполагающая статичность коммуникативных связей и переходов, в отличие от мобильности обиходного речевого акта, ведет к конденсации **поля значимости** вокруг такого высказывания, к увеличению его положения, престижа и статуса, к динамической (силовой) концентрированности, вследствие этого, его единиц.

Специфика речевого произведения массовой коммуникации и языка политики именно как коммуникативного в первую очередь, - т.е. адресуемого - речевого акта (в отличие, скажем, от произведения художественной, научной либо иной функциональной природы и назначения, коммуникативность которых определяется иными критериями и особенностями), создается во многом возможностью явного и очевидного присутствия и воплощения в речи коммуникативных полей контрагента и адресата. Вследствие чего возникает особый характер направленности речевого дискурса подобного рода.

Говорящий не просто обращается к своим собеседникам – адресату и оппоненту. Он выполняет их роли, играет их роли за них, включая позиции одного и другого в структуру, семантику своего речевого акта таки-

ми, какими он себе их представляет, такими, какими он хочет их видеть и представлять.

Отсюда, как следствие, необходимость рассматривать речевые произведения (акты) массовой коммуникации с точки зрения и как *снятые* коммуникативные акты, с остановленной ролевой сменой и усиленной ролью агента.

Оценочность (едва ли не как основное свойство рассматриваемых речевых единиц), в силу определяемых особенностей языка политики, становится категорией, направленность и облик которой воссоздается и генерируется агентом – в процессе коммуникативного акта, в процессе его (агента) речевого воздействия, в процессе его *апеллятивного* обращения к слушателю.

Имея своим источником говорящего, исходя от агента, включаясь в семантическую структуру апеллиатива, оценочность оказывается свойством, приобретаемым единицей, специфической для языка политики и в нем актуальной. Семантике общезыкового слова подобного рода оценочность будет не свойственна, словарно она поэтому и не закреплена, к тому же, вдобавок будучи не постоянной, подвижной и обусловленной, зависимой от темпоральных, тактических, стратегических, социальных факторов и причин.

Апеллятивы языка политики должны, таким образом, рассматриваться как *функционально-семантические варианты* слов (сочетаний слов) соответствующего национального языка.

Возникают, однако, вопросы. Благодаря чему, благодаря каким таким свойствам коллективного мышления (социального субстрата, по Поливанову) агент получает возможность приписывать нужные ему коннотации и оценку, включая оценочность в семантическую структуру слов языка? Каким образом понятийное (представлений коллективного сознания) способно вдруг оборачиваться в языковое? Чем является сама такая оценочность, вследствие каких лингвистических и ментальных причин она становится составляющей семантической структуры языкового знака (речевой его единицы, узуальной и функциональной по принадлежности)? Поскольку исходно, в семантике лингвистической и общезыковой, используемых в языке политики слов и языковых (речевых) сочетаний, подобная оценочность не присутствует.

Поставленные вопросы и их разрешение позволяют определить особенности не только языка политики как функциональной формы речи, но и увидеть, возможно, мотивы внутренних изменений, – того, что становится далее основанием для возникновения нового, основанием обновления, инновации и динамики в языке.

В рассматриваемое нами «политическое» время появились и приобрели хождение в языке средств массовой коммуникации словосочетания, которые с полным основанием можно рассматривать как оценоч-

ные коммуникативные узуальные апеллятивы – *парад суверенитетов, война законов, утечка мозгов, определенные силы, конструктивная критика, положительная программа, альтернативные выборы, подлинная демократия, новая реальность* и др.

Опираясь на их анализ, попытаемся определить черты, которые характеризуют специфику и структуру социальной оценочности, ее генетическую для языка природу, определить типологию возможных форм, находящихся отражение в той сфере языкового проявления, которая очерчивается кругом публицистического использования, коммуникативным политическим узусом.

Такие слова, как *парад, война, утечка, конструктивный, положительный, альтернативный, подлинный, мозги, новый*, в языке, вне политической связи, со всей очевидностью, не окрашены, нейтральны, коннотативностью не обладают и оценочности, как таковой, не несут и в общем-то даже не слишком и предполагают, хотя, как всякое, потенциально, слово, ее допускают.

В сочетаниях же с другими словами, такими, например, как *суверенитет, законы, критика*, в соединении друг с другом – *мозги* и *утечка*, оказываются оценочными и отнюдь не нейтральными, определяя в ряде случаев семантический перенос, сдвиг значения. Механизм появления оценочности, таким образом, вполне лингвистичен.

Коннотат у слова часто появляется как следствие семантического переноса (ср.: *лошадь, корова, лиса* – как «животное» и *лошадь, корова, лиса* – «человек»), характеристика свойств человека и их оценка) и – в несвободных сочетаниях, со связанным значением одного из компонентов (*закадычный друг, стреляный воробей, третий калач, крошечная тьма*).

Насыщение же, семантика оценки с лингвистической семантикой не связаны и обуславливаются системой социальных ценностей и установок, часто этнокультурного либо идеологического происхождения, отражающихся, таким образом, через представления в *сигнификатах* соответствующих единиц языка политики (апеллятивов).

Говорящий, следовательно, актуализирует *социальную* оценку имеющихся представлений, характерных для данного коллектива, распространенных, известных в нем, и связанную с системой ценностей, моралью, приоритетами, статусными оценками и впечатлениями. Обращаясь к ним, он получает возможность реализации собственных коммуникативных – интенциональных, модальных – установок как коммуниканта.

В отличие от условий обыденного речевого акта, аналогичная по существу оценочность апеллятива (единицы языка политики) оказывается составляющей его языковой семантики и компетенции, т.е. закрепленной за той или иной единицей – как единицей соответствующего узу-

ального словаря и потому предполагающей, следовательно, лингвистическую (и лексикографическую) интерпретацию¹.

Вследствие чего, однако, такие слова, как *парад*, *война*, *утечка*, *конструктивный*, *позитивный*, *мозги* и т.п., нейтральные по своему существу, становятся вдруг проводниками агентной оценки? Ведь семантический перенос и фразеологическая связанность значений – лишь предпосылка к появлению оценки, не само ее содержание, а необычность или семантическая парадоксальность сочетаний *парад* и *суверенитет*, *война* и *законы*, *утечка* и *мозги* – залог привлекательной запоминаемости, яркости, воздействующей силы, публицистической удобности (сжатости, конденсированности), но не оценка как таковая или сама по себе.

Апелляция говорящего (речевого агента) к заложенным в сознании коллектива носителей языка ассоциациям и связям существующих представлений, к языковому и культурному опыту и социальному знанию объясняет подобный вопрос.

Слово *парад* – 1. Торжественное прохождение войск; 2. разг. Празднество, праздничное убранство; торжественность, пышность (МАС) – семантически, в структуре лексемы, оценки такой не содержит. Но, если обратиться к речевому узусу, – «при полном при параде», «как на параде», «как на парад», «к чему этот парад?», «парад, да и только», «парадность», и глубже и дальше – «парадное», «парадный подъезд», «размышления у парадного подъезда», – оценочность появляется. Это ирония, сарказм по поводу несоответствия действительного и показного, претензии и исполнения, несвоевременности, неуместности, несообразности в связи с условиями и обстановкой, выстраиваясь и формируясь по двум основаниям – торжественность, требующая усилий, затрат, значения, значимости и подготовки, и потому не всегда оправданная, с одной стороны, и – то, что не каждому, не для каждого, не обыденно, не для всех, потому напоказ, демонстративно, чтоб доказать, показать свою такую отмеченность, исключительность, – с другой.

Война (вооруженное столкновение между государствами, общественными классами, группами, группировками; перен. – состояние вражды, борьбы с кем-либо или чем-либо) тянет за собой целый комплекс представлений о бедах, несчастиях, крови, потерях, утратах, смертях, нищете, необходимости жертвовать и отказываться, о трагедиях, – для общественного сознания и в сознании коллектива. Именно к этому комплексу пугающих ассоциативов направляет внимание слушателя, вни-

¹ Попытки определения и отчасти описания такой оценочности как составляющей семантической структуры слова в языке политики предпринимались, получая различные именованья, см., например, [Schmidt 1972]; [Good 1975: 226]; [Schlesinger 1977]; [Schmidel, Schubert 1979: 129]; [Стриженко 1980: 152-153, 158, 162-168]; [Пароятникова 1988] и др. Однако не в поиске и подборе термина, а в определении механизма видел автор свою задачу.

мание воспринимающего адресата агент (говорящий) с целью желаемой, формируемой в апеллативе оценки.

Утечка (убыль, потеря чего-л. вследствие вытекания, высыпания и т.п.) – на бытовом уровне восприятия возникают при этом обычные представления о бесхозяйственности, недобросовестности, неумелости и халатности, неумении сохранить, предотвратить, не дать уйти чему-то полезному, общественно нужному, необходимому, и (если дальше идти, и по историческим ассоциациям социального прошлого) – о вредительстве, а с этим и происках, кознях, врагах.

В сочетании данного слова со словом *мозги* – неизбежно подводит к мысли об их способности перетекать, уходить, не сохраняться без дополнительных превентивных мер по их сдерживанию, консервации и опеке со стороны тех, от кого должна зависеть их сохранность и неизменность на месте, – всегда должныствующих быть готовыми к распоряжению и использованию на благо и в интересах общества.

Обращают на себя внимание различия характера актуальности (степени приоритета) и направленности проявляемой оценки. *Парад, война, утечка* занимают разное место на уровне ожидаемого следствия, семантически и структурно связываясь с различными сторонами в системе общественных ценностей и установок.

Война, со всей очевидностью, имеет наиболее высокий статус по сравнению с двумя другими. Последствия обозначаемого данным словом явления затрагивают самое основание общественного существования и благополучия. Оно (само явление как референт) обладает внутренним показателем неблагополучия слишком значительного и всеобщего, чтобы быть сыгнорированным, не взятым в расчет, перед которым все прочие явления и символы отступают на задний план и снимаются. Оценочность подобного рода, занимая позицию наибольшей значимости («знак беды»), стремится, с одной стороны, усилить общественную актуальность обозначаемого, как негативного, нежелательного, избегаемого, с другой, – побудить адресата к поиску и определению причин такого возникшего неблагополучия. И – осудить, заклеить, уничтожить виновников состояния предполагаемой и объявляемой *войны* (ими? агентом? им? ему? – кем и кому? в искомой адресатом пресуппозиции).

Природа апеллатива, как видно на этом примере, двойственна и обратима: поднявший меч от него нередко и гибнет. Искусство агента-политикана (если бы его все исправно слушали) состоит в умении обернуть, направить вызванный взрыв, энергию негодования не против себя, а против того другого, не желаемого им, не желательного **коллективно** оппонента, в умении сделать его таковым, т.е. действительно коллективным, обособив его, оторвав от возможной поддержки, показав его изолированность, в умении демагогически отождествляться, тоталитарно (тотализаторно?) солидаризироваться со своим адресатом. Искусство

агента, следовательно, в том и состоит, чтобы быть *агентом*, и оставаться им – раздающим, распределяющим, разделяющим, противопоставляющим – роли и всех *остальных других*, тех, к кому и о ком он говорит, к кому и о ком вещает, кого и для кого оценивает.

Опираясь на то, что уже имеется в общественном сознании (известное отношение к войне, а также ее трагическую перманентную, постоянно пугающую общественную актуальность и значимость), говорящий в номинативном акте обращается одновременно к знанию адресата о сегодняшнем, вычлняя в нем, из него, события по существу от войны далекие. Референтно речь идет собственно о «несогласованности законов различных уровней, их известной, возможно взаимоисключающей противоречивости». И направляет, тем самым, общественное мнение на поиск причин, лежащих не в плоскости определения уровней законодательной компетенции, а в плоскости поиска и обличения виновных.

Виновны те, кто затеял эту войну и кто ее ведет: прежде всего контрагент и неизбежно при этом и агент. Позиция агента, однако, показывается, представляется им самим как более благородная, выигрышная и ответственная. С его стороны война ведется ответная, вынужденная и «справедливая» (с идеей и впечатлением защитника, оборонителя не одних своих интересов, но – пострадавших и страждущих). Юридическое и законодательное намеренно и сознательно переводится в плоскость политики, с демонстрируемой при этом идеей противостояния, невозможности компромисса, с идеями *кто кого и врага*.

Оценочность, таким образом, обращенная к адресату, актуализирующая его знания и опыт, предполагает двойную направленность к контрагенту. Включает в себя *эксплицитную* часть, с оценкой негативной (обоих, и контрагента и с ним агента, становясь на позицию «бесстрастности», как бы «от лица страдающего адресата»), и часть *имплицитную*, с оценкой одобрительной, оправдывающей позицию агента, принимающей ее как вынужденную и единственно возможную в сложившихся обстоятельствах (с идеей жертвенности и самопожертвования со стороны такого решительного агента, тоже войну объявившего, но в защиту страдающих и страждущих общественных интересов).

На несовпадении знаков эксплицитной и имплицитной оценки – отрицательная / положительная, – через выведение задаваемых логических следствий, возникает еще одно направление оценки – оценка свойств (с проекцией ожидания) агента и контрагента.

Занимаемая агентом позиция «от адресата», апелляция в его защиту и от его лица, предоставляет агенту возможность дать себе *с помощью адресата* еще одну имплицитную, по своему характеру и искомой направленности, оценку. Оценку своей позиции как носителя особых свойств – положительных, необходимых и желательных – субъекта благородных качеств, способного правильно понять сложившуюся обста-

новку и в условиях опасности активно действовать. Оценку стабильную и проецирующую некоторую стратегию – стратегию оборонителя и защитника в предстоящей схватке, не щадящего себя за всех и за каждого и готового пострадать *за други своя* и общественное дело.

Из сказанного можно вывести следующее:

1. Оценочность представляет собой апелляцию речевого субъекта – агента речевой номинации – к системе общественных ценностей, знаний и установок на разных уровнях и в разных проекциях ее использования и когнитивного насыщения. Система ценностей парадигматична, и в парадигмах, для целей анализа языка политики и апеллятивов его подсистем, может описываться и изучаться.

2. Система общественных представлений, помимо парадигматики системы ценностей, обладает планом социально-темпоральных актуализаций (имеет свою синхронию и диахронию). Обращение агента к сегодняшнему актуальному имеет характер речевой предикации, теморематично по своему характеру, включая исходное и рядом с ним новое. При этом новое координирует с известным, исходным, соединяясь с ним и тем самым вписывая его в парадигму социальных представлений, давая ему оценку с позиции, с точки зрения социальной системы ценностей, социализируя его, делая его коммуникативно значимым и, в свою очередь, известным потом для дальнейшего. Номинативный акт, в условиях подобного социально значимого взаимодействия, оказывается сходным с высказыванием, с актом коммуникативным, обладающим предикативностью. Предикативной становится, следовательно, сама номинация – как речевой ритуальный процесс.

3. Предицирующее обращение агента к системе общественных представлений в акте номинации позволяет, на фоне движущихся задаваемых следствий и выводов, достигать различия и в оценке – в ее направленности, характере, степени и эксплицитности. При этом *эксплицитное* и *имплицитное* для оценки могут не только не совпадать или противопоставляться, но и вести к возможности возникновения новых скрытых, все более имплицитных, глубоких, не осознаваемых, проецирующих и упреждающих видов оценки, вплоть до оценки свойств предицирующего их агента. Смещенность «позиционных» ролей оценки при этом позволяет достигать различия как в силе, так и в характере и в содержании предполагаемой и полагаемой оценки.

4. Недостижение желаемого для агента вполне возможно. Оно будет основываться на расхождении предполагаемой им и реальной акцентуации системы ценностей адресата (смещение акцента, производимое агентом, оказывается неадекватным позиции актуальностей воспринимающего). Оно может быть связано также, как следствие, с несовпадением, различием в системе общественных, социальных знаний и предпочтений. Оно может быть также следствием отношения адресата к

агенту как информативному источнику (авторитет, степень достоверности, позиция и т.п.).

Общественная система ценностей и представлений, будучи устроена парадигматически (и синтагматично), в синхронии и диахронии, предполагает устройство, похожее на *языковое*. «Язык» социально значимых представлений, составляющих основу языка политики, соотносится с ним как внутреннее и внешнее, служит для него тем предцизируемым, которое, функционируя, т.е. генерируя и воспроизводя «высказывания», может быть использовано и используется как предикативное основание оценки.

Категории общественной системы ценностей (изменяющегося круга понятий, «с которыми оперирует данное коллективное мышление», по Е.Д. Поливанову) могут быть выведены и парадигматически определены. С ними могут быть соотнесены компоненты семантической структуры номинативов языка политики – слов, терминов и политических фразеологизмов-клише, различия между которыми, тем самым, могут стать объектом научного анализа и основанием достоверных выводов для кодовых систем как таковых и кодовых систем политики в первую очередь.

Идеология и политика, исследуемые через язык политики и систему социальных ценностей как собственный «язык», концептуальный, семантический по существу, могут дать лучшее представление, со своей стороны, о процессах, происходящих в языке, его семантике, лексическом составе, фразеологии, о процессах его развития и обновления, о его динамике, в ее синхронии и диахронии. Данные сферы, став доступным и освоенным для языкознания объектом, позволят определить те связи и тенденции, которые управляют механизмами развития и обновления, составляя, в конечном счете, основу языковой эволюции.

Противопоставления *единство / разъединенность, мир / война, старое / новое, равенство / неравенство, личное / общественное, человек / государство, сильное / слабое, законное / незаконное, порядок / хаос, свобода / несвобода, заслуженное / незаслуженное, свое / не свое, изолированное / имеющее поддержку*, лежащие в основе социальной и имплицитной оценки представленных апеллятивов, равно как и с ними другие, могут рассматриваться как основы соответствующих категорий для систем общественных (социальных) ценностей. Именно систем, а не одной системы, потому что разными могут быть не только порядки и акценты, но и само содержательное наполнение данных категорий для групп и представителей различной политической и общественной ориентации. Различными могут быть и наборы этих категорий, и проявления, узуальные, речевые проекции их значений.

Исследование таких систем, в качестве собственной задачи (не столько ради изучения и понимания языка, его развития и эволюции),

могло бы способствовать также лучшему восприятию и пониманию семантической – нормативной, апеллятивной, ценностной – стороны той или иной проводимой и реализуемой политики, определяя фазы, потенции, возможные последствия и действительные, а не пропагандируемые и объявляемые, общественные значимости ее воплощения и деяния.

Еще один пример подобного рода использования номинативных единиц более или менее устойчивого характера в языке политики в качестве свернутых оценочных высказываний может представлять следующая статья, написанная в 1992 г. и помещенная в сборнике *Slavica quinqueecclesiensia IV. 1998. Linguistica. Translatologia. Cultura*. Red. Lendvai E., Hajzer L. Pécs 1998, с. 257-267 под измененным названием *Семантика узальной лексемы: модели речевого словоупотребления, структуры типических отношений в языке политики*.

Апеллятивы языка политики как имплицитные свернутые высказывания.

Язык политики представляет собой особую функциональную сферу, предметно связанную с той областью общественных отношений, которая управляется идеями воспроизводства (преобразования, оформления, сохранения, упразднения) социальных структур. Иными словами, с идеями коллективного **ego** относительно себя самого и себя другого – своего **alter ego**. Изучение процессов, характерных для данной сферы, по самым разным причинам, представляется немаловажным, поскольку дает представление о характере и о типе коммуникативного взаимодействия в условиях как самой этой сферы, так и (шире) речевой среды носителей языка, раскрывая особенности и механизмы их когнитивно-узальных контактов, процессы понимания и восприятия их и ими.

Есть все основания рассматривать данную область в семиотическом и семантическом отношениях как сферу **субъективной модальности** коллективного **ego**, поскольку политика – это прежде всего стремление, идея по достижению цели, в то время как само достижение, т.е. ее реализация, воплощение, на деле лишь средство, а не достижение. Любопытен в этой связи известный трюизм «политика есть искусство возможного» (с подчеркнутым обозначением модальности ирреальности, если понимать сказанное в грамматическом смысле). В этом обращении, видимо, и состоит смысл политики как *бесконечно воспроизводящейся сферы субъективной модальности*, объективация для которой оборачивается отторжением для себя самой.

Объективирующееся, становясь фактом жизни, фактом общественного бытия, перестает быть предметом *только* политики. В связи с этим *только* и следует, очевидно, касаться проблемы собственного, специфици-

ческого в языке политики, определяя набор характерных для него единиц, выявляя типологические, характеризующие свойства последних.

Свойства эти, обусловливаемые предметно субъективно-модальностной природой коллективного *его*, представляются отнесенными к сфере волевых, целевых, мотивационных и акциональных проявлений субъекта, к сфере *социопсихологии*. Язык, опосредующий эту сферу, предстает как язык волевых изъявлений, целеполагания и целевых установок, мотивационных и акциональных структур, – коммуникативность, коммуникативные акты в котором становятся не средством реализации смысла, не существованием («овеществлением») языка, а самим этим смыслом, самой «вещью» и сущностью этого языка.

Если бы не возможность впасть в упрощение, можно было бы утверждать, что предметом, имеющим имя, референтом номинатива для языка и в языке политики выступает коммуникативный акт, снятый, свернутый, имплицитный инвариант коммуникативного взаимодействия предполагаемых субъектов как модель и вместе с тем результат, как суждение или мнение, нередко оценочного характера, имеющее коммуникативно значимый и социально отрегулированный характер, как свернутое высказывание, которому придается (в субъективной модальности) объективированный, статусно устойчивый, «фразеологизованный» и узуальный вид.

Подобное утверждение предполагает, по крайней мере, два необходимых ограничения: 1) оно касается прежде всего того и такого политического языка, предметная область которого, т.е. сама политика, представляет собой не что иное, как серию сменяющихся коммуникативных актов и 2) не все, а только собственные единицы этого политического языка, составляющие его специфику, должны обладать обозначенным свойством как безусловным.

Коль скоро подобная политика существует (в этой связи, по видимому, необходимо говорить о типе политического воздействия и проявления), существуют, как следствие, соответствующие ей типы политиков и соответствующий им тип политического языка.

Уместно в этой связи вспомнить суждение А. Шлезингера о том, что каждое политическое направление формирует определенное (т.е. *свое*) «языковое поле», которое объединяет ключевые (т.е. для себя специфические) политические термины и символы (миф) [Schlesinger 1977: 74].

Подобный язык будет представлять собой по преимуществу язык воздействующей, апеллятивной функции, узуальные единицы которого, лексемы и фразеологемы, могут рассматриваться как единицы особые, устроенные, организованные, возможно по собственным структурно-семантическим и смысловым моделям, отражая особый, своей предметной области, характер типических, оценочных отношений. Единицы подобного рода, релевантные для определяемого политического языка,

организуемого по апеллятивному типу, могут быть названы, соответственно, апеллятивами.

Под **апеллятивами**, следовательно, будут пониматься такие номинативы, т.е. имена (в семасиологическом понимании данного слова), референциальность которых имеет смещенный в сторону воздействующей, апеллятивной функции характер. Воздействующая, или апеллятивная, функция, признававшаяся в русскоязычной лингвистике ведущей (наряду с информационной [Костомаров 1971: 30], [Солганик 1976: 10]) для языка средств массовой информации и, тем самым, того языка, той его формы, которую назовем для удобства языком политики – языка по своей коммуникативной направленности являющегося (в средствах массовой информации, другие его сферы во внимание не брались) языком обеспечения целевых, волевых и прочих установок продуцирующего субъекта, модальных по своему существу, – эта их функция в связи с избранным предметом требует уточнения.

Воздействие, представляя собой обращенность, маркированную направленность к адресату, есть, очевидно, не что иное, как сопровождение, или опосредование, коммуникативного акта. Специфика избранного объекта (язык политики обозначенного типа) дает возможность в определении смысла воздействия пойти еще дальше. Воздействие, для такого объекта, предстает не простым опосредованием, оно предстает вторым, снятым, скрытым, *свернутым имплицитным высказыванием*, иногда ведущим и более значимым, чем высказывание референтное и потому соответствующее структуре номинатива. Высказыванием отраженным, неявно проявленным, но ощутимым в структуре рассматриваемой узальной лексемы – *апеллятива языка политики* определенного типа.

В связи с понятиями «высказывание» и «структура» необходимо следующее уточнение. За неимением возможности объяснить обстоятельно свою позицию и скрытый за нею замысел автор вынужден ограничиться уподоблением компонентной структуры слова, его лексического значения, синтаксической структуре высказывания. Референтному придается коммуникативный смысл. Слово (номинатив) в языке политики (и в языке средств массовой информации), ориентированное (идеологически детерминированное [Goffmann 1981]) в сторону специфики функциональной сферы своего обращения, ощутимо обладает и потому может быть рассматриваемо как единица, обладающая признаками коммуникативной природы *по существу*, т.е. слово равно высказыванию, и, как высказывание, должно иметь подобия структурной схемы и семантической структуры высказывания, тем самым *синтаксические* его признаки.

Свернутые высказывания, составляющие, таким образом, едва ли не основной, хотя и скрытый, подразумеваемый, не объявляемый, но ком-

муникативно известный и значимый для представителей данного политического и социального коллектива, носителей данной идеологической формы политического языка, – такие высказывания могут быть рассмотрены, следовательно, с точки зрения своей коммуникативной структуры, и эта структура есть, на деле, не что иное, как *предметно-смысловая семантическая структура апеллятива* – узуальной единицы данного языка, единицы-носителя апеллятивной функции соответствующих природы и типа, социально-субъектно-оценочной (в смысле социального субъекта) по существу.

Апеллятивы, следовательно, формируют особую область политического лексикона, отражая в первую очередь *позицию* социального субъекта, их породившего, и тем самым говорящего, их использующего. Выявление же структуры скрытой, имплицитной части апеллятива должно способствовать типологическому определению этой позиции (через модальностный облик упрятанного субъекта оценки), смысл которой (позиции) становится очевидным, однако, лишь при сопоставлении и в соотношении с другими. Оценочность (свойство) и оценка (реализация), в этой связи, также должны рассматриваться в терминах свернутого высказывания.

Рассмотрим для иллюстрации коммуникативной структуры три разнородно устроенных узуальных апеллятива: *борьба за власть*, *новоявленный и беженские нападки*. Исторически данные апеллятивы относятся к периоду резкого политического противостояния, предшествовавшего августу 1991, и отражают, оценочно, состояние представителей власти. Нас они будут интересовать как пример *синтаксической* организации, пример построения модели узуального словоупотребления с проекцией в ней типических оценочных отношений – модели определенного социально-субъектно-оценочного продуцирующего политические смыслы типа.

Последнее, однако, не означает, что механизм построения моделей другого типа должен быть непременно иным. Различие в организации и построении моделей во многом различие не конструктивно-типологическое, а компонентно-номинативное, на уровне построений структуры механизм может быть идентичен. Выявление типологических признаков в построении узуальной лексемы (фразеологема) должно быть предметом собственного анализа.

Борьба за власть как апеллятив и узуально-оценочная фразеологема может быть представлена в определении, т.е. дефинитивно, как «состояние активного противостояния претендентов власти, предполагающее разрешение в достижении цели одними в ущерб другим». (Соответственным образом, в избранных дефинитивных терминах, можно определить менее оценочные (не оценочные?) лексемы *претендент* и *власть* – как

узуальные единицы языка политики, однако их рассмотрение, равно как и рассмотрение самих дефиниций, не входило в поставленную задачу).

Будучи социально маркированной, данная единица способна к привычному сочетанию со словами *ожесточенная, всепоглощающая, яростная, бесконечная, губительная для общества, опустошающая души, не знающая меры (границ)*.

Слова эти, связанные с ней ассоциативно, проявляют смысл той содержащейся в ней субъективно-модальной установки, которая формирует структуру имплицитного апеллятивно-оценочного высказывания. Апеллятивного – в обращенности к адресату, оценочного – в отношении к агенту *борьбы за власть*.

Коммуникативная структура узуальной лексемы, единицы-апеллятива, таким образом, выявляется на основе знания порождающей кодовой системы, т.е. парадигматически. Составляющими этой структуры представляются маркеры самоцельности (*изолятива цели, финального изолятива*), всепоглощенности (*мотивационного интенсива*) и ожесточенности (*интенсива акционального изолятива*).

Данные маркеры, выявленные на основе массива узуальных лексем языка политики рассматриваемого периода и типа, представляют собой проекцию семантических ценностных категорий в их оценочно-внешнем, адресатно-апеллятивном и манипулятивном аспектах.

Категории *интенсива, изолятива и имитатива* – усиления, подчеркнутого отсутствия социальной поддержки (отрыва) и несоответствия – оказались ведущими, ключевыми в системе социально-субъектной оценки данного языка.

Отсутствие места не позволяет эксплицировать процедуру. Компоненты выявляемой структуры, как это видно из ее составляющих, имеют отношение к субъективной модальности, рассматриваемой как предметная, референциальная область. Адресатно направленная оценка агенту *борьбы за власть* дается через акциональное как сферу модального его (агента *борьбы*) проявления. Мера оценки лежит, таким образом, в плоскости модального установления нормы акционального проявления (референтная, действительная отнесенность, верифицируемая истинность даваемой оценки к языку, как известно, отношения не имеет, это область онтологического, а не языкового знания).

Новоявленный как апеллятив языка политики, его узуальная лексема, может быть описан дефинитивно следующим образом: «называющий себя некоторым известным именем, имеющим положительную социальную коннотацию, считающий себя таковым, объявляющий себя незаслуженно не тем, что он есть». Данный апеллятив в качестве левого члена сочетается часто с уничижительным *этот – этот новоявленный друг народа (мессия, пророк и т.п.), эти новоявленные демократы (бла-*

годетели, спасители Отечества и пр.) и ассоциирован со словами *явленный* (явление Христа) и *отъявленный*.

Потенциальный валентностный дейксис (вытекающий из постоянства левого члена) придает дополнительный пейоративный характер общему значению всей оценки, проявляющейся в маркерах демонстративности (*интенсив имитатива* по имени, т.е. номинативного *имитатива*) и претенциозности (*интенсив мотивационного изолятива*).

Бешенные нападки можно представить в определении как «крайне активные, направленные и необъективные действия (выступления) агента пропаганды против своего оппонента, имеющие целью политическую его изоляцию (дискредитацию, отстранение)».

Для структуры оценки характерны маркеры *акционального интенсива*, *интенсива финального изолятива* (*изолятива цели*) и *мотивационного изолятива*. Маркеры образуют структуру, определяющую значение и характер оценки для апеллатива, которую можно представить в виде формулы – подобия структурной схеме в простом предложении: Int.Act. – Int.Isl. – Isl.Mot.

Структурные схемы рассмотренных узуальных лексем *борьба за власть* и *новоявленный* будут выглядеть, соответственно, следующим образом: Isl.Fin. – Int.Mot. – Int.Isl.Act. и Int.Imt.Nom. – Int.Isl.Mot. (структуры представлены неразвернуто, порядок компонентов отражает порядок актуальностей, приоритетов смысла).

Обозначенные в схемах семантические категории субъективно-модальностной ролевой оценки – *интенсив*, *изолятив* и *имитатив*, а также *референтные определители* (*дескрипторы*) модальностной сферы как предметной области – цели, способности, имя (образ), интересы, мотивы, программа (представления, план), деятельность (ее характер и способ действия) – образуют средства структурного представления апеллатива как высказывания, имеющего коммуникативный характер и могущего быть тем самым исследованным типологически, структурно и семантически в наборе структурных схем и семантических структур собственного политического (идеологически детерминированного) типа речевого и текстового производства. Исследованным и описанным с точки зрения собственной коммуникативной, мотивационной и идеологической природы, в сопоставлении с другими типами политических языков.

В соединении с дефинитивной (референтной) структурой того же апеллатива (номинатива) описываемая структурная схема социально-субъектной оценки может служить основой для семантической типологии языков политики, для словарного описания номинативов и смыслов названных языков. Посредством описания и наборов структурных схем и семантических структур возможно также типологическое представление об апеллативной речевой деятельности в целом.

Постановка подобных проблем представляется важной как для теории, так и для практики, поскольку понимание и восприятие функциональных проявлений, специфических (и не только) типов текста, порождаемых на языке, позволяет установить внутренние, не всегда явно проявленные и обнаруживаемые механизмы понимания и восприятия когнитивных структур сознания, определяющих нередко во многом характер речевой и коммуникативной деятельности носителей данного языка.

Характер апеллятивной субъектно-модальностной, оценочно заряженной речевой деятельности, проявляющей себя в средствах массовой информации и типологически распределяемой по временным срезам (этапам) позволяет понять и установить закономерности поведения, восприятия и реагирования носителей языка в условиях коммуникативного взаимодействия, способствует лучшему пониманию газетных и публицистических текстов, что дает возможность увидеть тенденции языкового развития в отражении и на примере актуализированных в употреблении речевых узуальных лексем. Те тенденции, которые, при условии системного представления существенных и активных для данного речевого состояния модально-узуальных проекций в их составляющих, имеющих категориальный характер, способны дать более полное и объективное представление о семантическом и коммуникативном типе русского языка в его отношении, скажем, к другим, как родственным, так и неродственным языкам.

Время откладывает свой отпечаток, специфическим образом мотивируя и оценивая существующую общественную и политическую действительность. Нижеследующий фрагмент дает возможность, типологизируя, увидеть невидимые и неосязаемые явно различия в характере тех приемов и способов, которые, воплощаясь, выражаясь номинативно, имеют смыслом дать оценку, оценить существующее каким-то образом и в необходимом автору, как диспоненту и экспоненту, отношении.

Приемы и способы социальной оценочности в современном публицистическом тексте.

Работа была опубликована в сборнике *Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка*. Ред. Н.И. Исаев. Варшава 1999, с. 293-299.

Характер, способ и типы социальной оценки в публицистическом тексте непосредственно связаны и обусловлены временем, его запросами, требованиями, представлениями и ценностями. Однако время это, как категорию, в оценочности текста себя проявляющую, обусловленную политическим состоянием общества в данный момент, следует рас-

смаатривать в аспекте социально-психологическом, выделяя в нем признаки, свойства, характеризующие и отличающие его от другого такого же социально-психологического состояния времени, со своей спецификой, выбором, предпочтениями.

Признаки эти и свойства формируются постепенно, складываясь, набираясь, переориентируясь, на основе предшествующих публицистических, ориентированных и сложившихся, речевых узуальных формаций, с учетом новых, возникших и появившихся, политических и общественных ориентиров, пока не сложатся в более или менее определенный, определившийся образ «лица» для времени, не станут признаками *своего времени*, по которым время это потом можно будет исследовать и характеризовать.

Публицистику, публицистический текст (в широком и узком смысле) можно рассматривать, хотя и не без оговорок, как непрерывный континуум развивающегося, развертывающегося оценочного выражения субъективного отношения – субъекта, мыслящего и представляющего себя наделенным возможностью и правом оценивать и объяснять. Оценочная интерпретация факта, следовательно, – прерогатива и привилегия данного типа текста.

Время, как известно, рождает героев. И герой этот, герой своего (нашего / не нашего?) времени явно либо по умолчанию наделяется некоторыми чертами, которые определяют и формируют, воплощая и отражая признаки общепризнаваемой системы общественных ценностей, ориентации и критерии той социальной оценки, которая себя воплощает в тексте публицистическом. Не обязательно прямо и однозначно и вовсе не обязательно одинаково и для всех, но присутствие его, приятие / неприятие, приветствование либо конфликт с ним, с этим не всегда персонифицируемым героем, всегда будет ощущаться и в голове пишущего и в голове читающего, воспринимающего публицистический текст.

Не обязательно персонифицируемый герой своего времени (как Онегин, Печорин, Чичиков, Остап Бендер или Корейко), не явный, но ощущаемый, всегда будет присутствовать как *персонификация* характерных и характеризующих свое это время социальных и психологических свойств ориентированного общественно-политического выбора и предпочтения. Герой этот не то чтобы не всегда положителен, но часто даже, напротив, его типажные поведенческие и социальные характеристики нередко становятся средством публицистического обличения, неприятия, негативной оценки. Даже больше того, весь континуум публицистики, одного временного периода континуум, можно рассматривать как социально-психологическую направленную борьбу с подобным героем времени, с большей или меньшей заинтересованностью и увлеченностью, с большей или меньшей от него дистанцированностью.

Публицист занимает позицию. Его позиция субъективна. Нередко подчеркнуто субъективна и личностна. Оценочность, средства и способы своей такой субъективной оценочности публицист, автор текста, выводит и формирует, основывая их на своем отношении к оппоненту, не обязательно мыслимо представляемому как субъект и носитель свойств, возможно, как некий типаж либо просто набор отвергаемых, не одобряемых, подвергаемых сомнению, общепризнанно актуальных свойств. Свойств социально-психологических, как уже говорилось, и типажно-персонифицируемых.

В оппозиции к этим свойствам либо в согласуемой, коррелируемой к ним позиции находятся способы и приемы используемой в публицистическом тексте оценочности. Типажные персонифицируемые свойства воображаемого героя времени, актуальные свойства социальных и психологических предпочтений составляют невидимый притягательный и притягивающий центр публицистического напряжения и публицистической социальной оценочности.

Рассмотрим некоторые, характерные для последнего времени, признаки и черты, проявившие себя как социально-оценочные для публицистики (анализ производился на материале «Известий», «Новых Известий» и «Комсомольской правды» – газет умеренно демократического и либерального направления). Анализ не претендует на полноту и законченность, представленное следует скорее рассматривать как попытку наметить подходы к исследованию приемов и способов, шире – языковых особенностей современной прессы и публицистики¹ по основанию социально-психологической позиционной типажности, с коррелируемой к воображаемому герою времени позицией автора и психологизацией его ценностных социальных свойств.

Способ такого подхода к анализу материала мотивируется лингвопсихологической природой исследуемого объекта – публицистических текстов одного временного периода, отмечаемых «лицом» и печатью своего времени. На основе такого подхода возможно будет в дальнейшем сопоставлять временные периоды в публицистике, отмечая и характеризую их как различные по выделяемым дифференциальным признакам.

Рассматриваемый временной период, с точки зрения интересующего нас объекта (средств массовой информации и публицистических текстов), уже нельзя отнести к разряду периодов переходных. Ориентированные к новым, конкурентным условиям, средства массовой информации, совместно с обществом, перешли к состоянию стабилизировавшейся

¹ Приемы и средства апеллятивной функции в текстах СМИ были предметом анализа в частности в работах: [Блакар 1987]; [Дридзе 1982]; [Речевое воздействие... 1990]; [Язык и массовая коммуникация 1984]; [Язык и стиль буржуазной пропаганды 1988]; [Язык как средство идеологического воздействия 1987]; [Мирошниченко 1995].

ся нестабильности периода «первичного накопления капитала», отмеченного все более растущим социальным разрывом между верхами и низом, имущими и неимущими, падением уровня жизни и обнищанием подавляющего большинства.

В подобных социальных условиях действуют механизмы, системоценностные по своему происхождению и существу, неизбежно и естественно отражающиеся в характере текстов СМИ и формирующие в них систему способов и приемов социально значимой субъективной оценки, о которых речь. Эти способы и приемы продолжают и воплощают для текста те механизмы и способы, которые коррелируют, соотносятся и являются способами и механизмами социально-психологической ориентации и реализации – вероятными, принимаемыми для себя и доступными для субъекта способами разрешения социальных проблем. Разрешения психологического, но потенциально способного к реализации в действии, в поведении, в проявлениях.

В интересующем нас отношении среди рассмотренных текстов можно выделить 4 (5) типов исходной субъективной позиции, определяющей характер, окраску и вид используемых способов и приемов социальной оценки. Четыре – как основные и формирующие характер и тип позиции автора, пятый – как дополнительный и включаемый, обусловленный иногда тематически (что характеризует тип и характер текстов и время и не может быть показателем инвариантным). Выделяемые типы можно определить в отношении 1) силы, 2) статуса, 3) дистанцированности, 4) приобщения и 5) перехода (приобретения-утраты).

Каждый из названных типов позиции во многом предопределяет набор используемых далее средств и приемов воздействия в тексте, при этом в пределах текста возможно соединение нескольких типов одновременно, в зависимости от темы, предмета, занимаемой автором и способной меняться оценочной роли, в зависимости от авторской «позиционной игры». Указанный тип – это способ реализации авторской социальной позиции, и потому он зависит от психологической роли, от выбираемой каждый раз ролевой ориентации, будучи прямо связан с принятым набором системы ценностей и с ее предпочтениями.

Тип прямо связан с набором используемых и воплощаемых в приемах и средствах семантических категорий и их значений (определенности / неопределенности, интенсивности, обладания, субъективной модальности и др.) и может определяться по данному отношению – с точки зрения и в наборе «своих» категорий. Тип, наконец, обуславливает и предопределяет подбор, сочетание и характер самих оценочных средств.

Рассмотрим лишь некоторые проекции типов к приемам и способам социальной оценки на лексическом уровне.

Группа приемов **силового типа** складывается в частности на основе характерных для публицистических текстов слов и словосочетаний, за-

имствуемых из лексики военной и спортивной: *нанести удар по (кому), опорные точки, атака на (кого), лихие наскоки на (кого, что), давить на болевую точку у (кого), бить лежащего, свалить, пытаться свалить (кого), главное – выигрши, капитулировать перед (чем), сдать(ся) на милость (кого), экономический альянс, паника, паникеры, впасть в панику.*

Из лексики административной: *оказывать давление на (кого), контроль над (чем), навести порядок, призвать к порядку, ткнуть пальцем в (кого).*

Из экспрессивов-архаизмов периода тоталитаризма: *обнаглеть, поднять голову, происки, объявиться, рьяный, вбить клин между (кем и кем), нападки на (кого), шквал аплодисментов* и возникающих на их основе преобразований – *последовал шквал разнообразных комментариев.*

Из интенсификов разговорной лексики: *рвать постромки, пугать, деньги побегут / потекут, выбить деньги, находиться на грани издыхания.*

Из аргоизмов: *рвать когти, подгрести под себя, наезд.*

Определяющим для типа будет – занимаемая позиция силы и правоты с позиции силы, разрешающей давление, вмешательство, а также неприятие и осуждение, оценку оппонента по показателю и в отношении силы (ее потерявшего, утратившего, не имевшего, делающего вид, что имеет, бравировующего силой). Объединяясь в тексте с позицией приобщения, с позицией партитива, силовая позиция способна создавать проекцию коллективизма, массовости, нацизма (при заостренной до враждебности противопоставленности значений категории свое / не свое / чужое чуждое).

Группа приемов **статусного типа**, одна из наиболее активных в современных текстах, формируется на базе обновляемых историзмов и адаптируемых экзотизмов, меняющих свою семантику и окраску и закрепляющихся постепенно в публицистике: *империя (кого), медиа-империя, могущественный магнат, олигархи, мэр, сановник, чиновник, вельможа, монаршая семья* (о семье президента), *наследники престола, наследный принц, коронованные особы, власть предержащие, всесильный телохранитель, казначей, всесильный тогда охранник, самураи.*

На базе используемых нередко насмешливо и пренебрежительно, поскольку нарушающих имеющийся имидж известного лица, пристегиваемых титулов и званий: *профессор, мэтр, генерал, полковник, почетный доктор, член всевозможных академий.*

На базе неизбежно становящихся оценочными в условиях всеобщего бесправия и нищеты слов и выражений, оборотов, экономического, политического и финансового лексикона для характеристики какого-либо частного лица (группы лиц) – активно развивающаяся и широко используемая в последнее время группа как источник и средство создаваемой оценочности: *владеть контрольным пакетом акций (о ком), с помощью под-*

контрольных (ему, им) СМИ, запуганному руководителю протягивается «братская» рука помощи (со стороны кого), внедрение в «семью» (президента, правителя), превратился в «блистательного министра», широчайшие возможности для давления на конкурентов, политическое прикрытие (его) проектам, переключить уже поделенный рынок, контроль над «первой кнопкой» (о телевидении – первый канал), гений политической интриги, попытка пересмотра итогов приватизации, поддержка на будущих президентских выборах (организовать поддержку), создавать (что-либо) под кого, способ организации «утечки информации».

Другие группы менее активны. Это, во-первых, группа переосмысливаемой в русле публицистической оценки разговорной лексики: *приготовить на закуску (на десерт), приготовить сюрприз, наградить (чем – о неприятном), подарить (что – в значении «снизойти»), широким жестом, с барского (царского) плеча, чьи только разведанные запасы «тянут» на (сумму), умудриться (сделать что), перебежать дорогу, на нехитрой операции заработать (о мошеннической сделке), стать поистине «золотой жилой», превратить кого в «свадебного генерала», реальные бразды правления, и пальцем не шевельнул (чтобы что сделать), примитивное прислужничество перед (кем).* Группа лозунгов и отмеченных фраз предыдущего (и тоталитарного) периода: *настоящее его богатство – это люди, кадры (у него) решают все, назначенец.* Из жаргонизмов и арготизмов: «заказ», «заказать» (заказное убийство), «компра» (компрометирующий материал).

Группа **дистанцированного типа** (отстраненного – отстраненно-компрометирующего либо отстраненно-пренебрежительного, отстраненно-язвительного) формируется на базе средств нередко внешне и вне контекста нейтральных, представляющих собой, к примеру, журналистские и публицистические клише, характеризующие лиц и повествовательных событийно-сюжетных контекстах и приобретающие ироническую пренебрежительно-снисходительную окраску: *события прошедшей недели, синоним свободы слова, отличие чисто терминологическое (чисто лингвистическое).* Нередко подобные выражения получают некоторое расширение за счет слов, придающих им язвительно-отстраненный и неприязненный тон: *понадеявшись, видимо, на их сообразительность, ряд тактических неловкостей к нынешней тревожной обстановке, уже довольно нервно отвечал на вопросы, торопливое решение, это нежелание симптоматично.* Средством подобного рода могут быть цитированные язвительные включения: *(по его словам) против него действуют некие силы;* обыгрывания известных пословиц и изречений: *арбузной коркой, на которой поскользнулся, стал; трудно представить, что не ведал, что творил;* устойчивых оборотов: *быть головной болью, рано радовались, нет нужды гадать, что двигало;* разговорных окрашенных экспрессивов (закрепленных окрашенных словоупот-

реблений): *не снился (ему и, вам и не снилось), мечтать о (только можно), доморощенный (шоу-бизнес, доллар, фунт стерлингов).*

Активным средством создания отстраненной пренебрежительности, сомнительности являются средства субъективной модальности, модально-оценочные включения: *не раз, наверное, заметят; игнорировать его не совсем правильно; а дальше, надо полагать, – как пойдет, по мнению авторитетных лиц (шоу-тусовки);* а также слова со смещенным, расширенным (гипонимы) или неактуальным, равновозможным смыслом, неважно каким, придающие называемому характер неопределенности, обобщенности, неконкретности, ленивой безразличности: *с этой недели граждане, не равнодушные к отечественной эстраде (речь в данном случае – о любителях эстрады, фанах), на том или ином телеканале (все равно каком), юная деди с татарским именем, 15-летняя особа, к сентябрю девушка намерена подарить аудио-рынку свой первый альбом, вряд ли останется безвестной (вместо – станет известной), остров начнет медленно дрейфовать к другому берегу Атлантики (склоняться к американской экономике), это будет накладно.*

Носителями подобного рода оценочности могут быть и окрашенные соответствующим образом слова – эмоциональные экспрессивы, нередко в соединении с другими средствами выражения отстраненности: *помпезность события заключалась не только и не столько, проводник идей, затем взойти с концертом на какую-нибудь достойную столичную площадку, состоялась помпезная презентация ее первого ролика, присутствие на столах черной икры, креативная команда, трудящаяся над материалом для новой певицы, решивший не отступать от избранной тактики, сотворить что-то более оригинальное, удалось бы подпитывать интерес к персоне, сие тщательно скрывается, всерьез занялись, потускнеет светлый образ.*

Возможно также использование с этим оттенком жаргонизмов, нередко в расширенном контексте: *всероссийски «засветившегося» с группой, бизнес на трубе (о продаже нефти).*

Группа **приобщенного типа** характеризуется отмеченной включенностью, заинтересованностью авторской позиции, которая может создаваться различными лексическими средствами: *народ не любит олигархов, примет на «ура», народ безмолвствует, усталость, нестабильность, всеобщее ожидание, свет в конце тоннеля, пересуды принимают все более запутанный и временами истерический характер, внятного итога этой неожиданной дискуссии не видно, при всей вздорности таких предположений, быть ближе сердцу (кого), рьяные сепаратисты, готовы немедленно рвать, выиграл местный ура-патриотизм, башня из слоновой кости, недавний любимец публики, широко разрекламированный проект, о карьере /.../ очень много писали, результат широкой публике сегодня уже хорошо известен, комментарии излишни.*

Группу **переходного (трансформативного) типа** можно проиллюстрировать следующими примерами из текстов: *первый шаг к вершинам, настоящее (его) превращение началось с..., с этого началось и сегодняшнее его падение, стал последним его «приобретением», самым прибыльным приобретением стал, этапы большого пути стартовой площадкой стал, (так и не) увидел свет.*

Анализ публицистики с точки зрения типологии авторской позиции может послужить в дальнейшем целям более полного и обстоятельного изучения текстов СМИ, как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах.

2. Категоризация. Парадигматика языка советской действительности как смыслового кода ориентированного (заряженного) языкового сознания

Категоризация, или парадигматика интересующего нас языка советской действительности как идеологизированной, советизированной, формы русского литературного, в первую очередь, языка, предполагает, как следствие, выделение тех семантических категорий, которые будут действовать в отношении как номинативных, так и синтагматических единиц – речевых построений, фрагментов текста, конструкций. Выделение этих семантизированных категорий, релевантных для языка советской действительности, может производиться по разным основаниям и в отношении разных параметров, в зависимости от избираемой предметно-тематической, а также, возможно, и интенциональной, коннотативной, оценочной либо системоценностной сферы как проекции, или фрагмента той общей, объединяющей их языковой картины мира, которая может быть определена в связи с рассматриваемыми аспектами как советская языковая картина мира, с ее специфическим отношением к языковому сознанию, национальной ментальности и языку. Наглядным и показательным в отношении более приближенного, с опорой на смыслы и категории затрагиваемой языковой картины, рассмотрения было бы тематическое подразделение тех единиц, которые воспринимаются и без существенных оговорок определяются как единицы советизированного языка. Такое подразделение, с одной стороны, дает возможность увидеть объекты и предикаты того предметного мира, который актуализируется в языковом сознании как типично советский. Набор их, не полностью, далеко не полностью, покрывающий мир, существующий вне сознания и называемый, обозначаемый, имеющий знаковые, вербальные отражения в языке, представляет собой результат и следствие заинтересованного и выборочного, а потому показательного и не случайного отношения языкового субъекта (кем бы его ни считать) к тому, что необходимо и важно и как необходимо и важно для советского языка и

сознания обозначать. С другой стороны, не менее важным и показательным может и должен быть также частотно-количественный и актуальный критерий в отношении того, какие из единиц в таком языке наиболее активны и регулярны, а потому представляют ядро системы, а какие менее и в какой степени, либо пассивны и нерегулярны, подвержены изменениям, уходят и представляют периферию.

Представление о тематическом подразделении языка советской действительности может дать нижеследующая классификация, материал для которой, во избежание разночтения и разного толкования в отношении того, что считать единицей советского языка, а что не считать, был взят из *Толкового словаря языка Советских В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной* (Санкт-Петербург 1998). Классификация не претендует на полноту и всеохватность материала, представляя собой лишь проиллюстрированный возможный фрагмент. Для наших исследовательских и рабочих целей были проанализированы и распределены по группам все слова данного словаря, с дополнениями и включениями также другого лексического материала из разных источников. Для публикации, имеющей учебный характер, полное представление этого материала не имело бы смысла, поэтому выборочно, для иллюстрации и наглядности, дадим только некоторую его, не слишком значительную, начальную и репрезентативную часть.

Предметно-тематическая дифференциация номинативных единиц языка советской действительности.

На первом уровне тематическое подразделение предполагает выделение трех объединяющих групп, или классов, – субъектной, объектной и предикатной.

Субъектную часть составляют лица и их совокупности, объединения, множества, организуемые по тем или иным основаниям.

Совокупности – представляемые совместно или дисперсно; как части большего или как объединения; как расчлененные множества или как формы организации; как единичные представители или как группы:

- части большего или целого (партитивы), *partitiva*

авангард, актив;

- собрания, объединения (корпоративы), *corporativa*

агитбригада, агитгруппа, агитколлектив, агитпропбригада, артель, батальон (коммунистический), бригада, коллективный вожатый (пионерский отряд), дружина, ДТК (детская трудовая коммуна, колония);

- совокупности как массивы (сети, классы, слои, предполагающие некий охват), *massiva*

армия, партия, народ, батрачество, беднота, беднячество, середнячество, кулачество, буржуазия, его величество рабочий класс, ВКП(б), гвардия, Красная гвоздика (отряды), гегемон, десант, детвора (красногалстучная), добрармия;

- управления, организации, общества, устройства (институтивы), *institutiva*

авиадарм, авиахим, автодор, агропром, академия (общественных наук, крылатых), АО (автономная область), АССР, аулсовет, батрачком, БКБ (бюро комитетов большевиков), блок (коммунистов и беспартийных), бытсовет, бюро, ВИК (волостной исполком), ВЛКСМ, внешторг, военкомат, Военно-педагогический институт, волисполком, волком, волоно, волсекретариат, ВХУТЕМАС, ВЦИК, ВЦСПС, ГлавБАМстрой, Главбум, Главбумага, главк, Главполитпросвет, Главполитпуть, Главпродукт, горбюро, горвоенкомат, горженсовет, горжилобмен, горжилуправление, горздрав, горисполком, горком, горкоммунотдел, горкомхоз, горнаробраз, горобщепит, гороно, горплан, горпо, горсанкомиссия, горсобес, горсовдеп, горсовет, госбезопасность, Госиздат, Госкомиздат, Госкомтруд, Госконцерт, госорган, Госплан, Госснаб, Госполитуправление, Госстрах, гострой, Госторг, Гострудсберкасса, ГПТУ, ГПУ, губбюро, губвоензаг, губвоенкомат, губвсеовобуч, гублит, губмилиция, губнаробраз, губнац, губоно, губоплан, губопожар, губпродком, губпрос, губпрофсовет, губраспред, ГубРКИ, губрызск, губснаб, губсобес, губсовнархоз, губсовпартшкола, губсовхоз, губсоцвос, губсоцстрах, ГУЛАГ, Детгиз, детком, детсовет, домком, домоуправление, ДОСААФ, драмкружок;

- лица, *personalia*

авроровец, активист, автоградец, автозаводец, автодружинник, агитатор, агитатор-пропагандист, агитбригадoveц, агроуполномоченный, активист, активистка, аллилуйщик, анекдотчик, антикоммунист, антиленинец, антиобщественник, антирелигиозник, антирелигиозница, антисоветчик, антисоветчица, антоновец, армеец (юный), ассистент (знаменосца), бамовец, бамовка, бамовчата, бандит, барабанщик, басмач, батрак, бедняк, бедняк-новочленец, беднячка, безбожник, безбожница, безграмотный (политически), безземельный, безлошадник, безлошадный, безотрывник, белобандит, белогвардеец, белогвардейка, белоинтервент, белоказак, белополяк, белофинн, белочех, белоэмигрант, беляк, бескоровный, беспартиец, беспартийная, беспризорник, беспризорница, боец, БОЗ (без определенных занятий), болтун, большевик, большевичка, борец, бракодел, бригадир, бригадир-наставник, буденовец, буревестник, буржуй, бусыгинец, валютчик, валютчица, вахтовик, вечерник, вечерница, взятокдатель, витязь (красный), внуки (революции, Ильича), внучата (Ильича), военком, военкор, военлет, военмор, военорг, военпред, военрук, военспец, вожак, вожатая, вожатый, вожатый-производственный, вождь, возвращенец, воин-малоземелец, ворошиловец, воспитатель, вохровец, вояка, враг, врангелевец, вредитель, всадник (ворошиловский), втузовец, втузовка, вузовец, вузовка, вхутемасовец, выдвигенец, выдвигенка, гайдаровец, гвоздика (женщина-коммунист), генсек, герой, главинг, главковерх, главком, главный, глашатай (революции), горкомовец, горнист, горняк, горсоветчик, гражданин, гражданка, группкомсорг, группорг, групповод, губотделец, губпродкомиссар, гзпэтэушник, двадцатипятидесятничник, двухлошадный, дежурный, деникинец, депутат, деткор, деятель, дзержинец, диаматчик, диввоенкор, дивком, директор, диспутант, диссидент, довженковец, дозорный, домоуправ, домоуправляющий, допризывник, досаафовец, дояр-пятитысячник, доярка-миллионерша, доярка-трехтысячница, дружинник, дружинница.

В субъектной части наибольшим числом представлены группы институтивов и лиц, что отнюдь не случайно и связано с общей тенденцией советской власти к неустанному формированию и переформированию, созданию и пересозданию организаций, постоянному социальному устройению, с необходимостью постоянной своей адаптации в обществе, стремлению к контролю за ним и внедрению во все возможные стороны жизни. Обилие названий лиц, в свою очередь, обуславливается как необходимостью организации членов советского общества, включению их в колеса и приводные ремни системы, так и с необходимостью определения, дифференциации, сепарации, сегрегации и просеивания, с отделением тех, кто советский и свой, от тех, кто таковым и почему, в связи с чем, не является. Стремление к постоянной селективной дифференциации связывается с мобилизующей и контролирующей целью советского общественного устройства. Никто и ничто, по возможности, не должны быть упущены, не приняты во внимание, не названы, не оценены, не определены.

Меньшая доля массивов, корпоративов и партитивов связывается, в первую очередь, с самой природой обозначаемых соответствующим образом множеств. Их не может быть сколько-нибудь значительное число, они создаются по требованию момента, но предполагают ограничения объективной природы. Можно легко создать какую-то организацию, учреждение, обозначить, назвав каким-то именем, словом, лицом, однако создание какого-либо массива уже далеко не так просто. Корпоративы требуют мотивации, предполагают необходимость, диктуемую особыми обстоятельствами, а партитивы, как части большего, или есть, или их нет. Не осмысленные, не востребованные, они не называются, а потому как бы и не существуют.

Объектная часть представлена пространственными и предметными воплощениями. И то и другое весьма многочисленно в рассматриваемом языке, мест и предметов, отмеченных соответствующим образом, воспринимаемых и определяемых нередко как советизмы, очень много. Две отдельных и менее представительных группы составляют объединения – пространств и предметов, воспринимаемых как единое целое, метафорическим, образным воплощением которых может быть спрут или сеть, а потому обозначенные как структуративы, и предметов как серий, последовательностей, существующих материально и в представлении как последовательность однотипного, схожего, одного и того же, как его череда. И то и другое, в силу своей усложненности, не может представлять сколько-нибудь значительным числом.

- места (локативы)

агитпункт, автогигант, автоград, агитдом, агитплощадка, агрозона, АзССР, академгородок, АрмССР, Артек, атомград, БАМ, БАМлаг, бамовский, БАСССР,

Баш(к)АССР, березка (магазин), беспризорный дом, библиотека (партийная), библиотека-передвижка, БМАССР, БССР, Буденновск, Буденного мыс, ВДНХ, Волгодон, воспитательская, времянка (поселок), горбанк, Горки Ленинские, город (социалистический, побратим), город спорта, город Ленина (трех революций), город нашенский, город юности (мужества, на заре), города-побратимы, город-герой, городок здоровья, госнардом, губгород, ДагАССР, ДАССР, дача (руководства), Двигатель революции (завод), дворец (культуры и т.п.), детдом, Днепрогэс, Днепрострой, Домжур, домзак, дом-коммуна;

- предметы (как наблюдаемое, имеющее форму и вид, объективы, носители соответствующих признаков)

автоагитпоезд, автолавка, агитавтобус, агитвагон, агитколонна, агитпароход, агитпоезд, альбом-эстафета, андроповка (водка), артерия (животворная, стальная), барабан, библиотечка, билет (комсомольский, партийный, профсоюзный), богатырь (горный, ледовый, стальной, степной), буденовская (порода лошадей), буденовка, бук (боевой устав конницы), буржуйка, бюллетень, бюст, вагон-библиотека, вагончик-бытовка, вахтовка, вертушка, визитка, воронок, вымпел, галочка, галстук, глушилка, голова (бюст), голос (радиостанция), гражданка (одежда), грамота (почетная), декрет, дело (личное), дензнаки, дефицит (товар), директива, добро (народное), доска, достояние, «Дружба» (пила, нефтепровод);

- структуры, сети (структуративы)

агропромкомплекс, госснаб, белогвардейщина, военторг, ВПО (военно-промышленное объединение);

- серии (усиленные повторности, следования, цепочки)

библиотечка (профсоюзного активиста), БПА (библиотека профактивиста, серия книг), газета, дневник (соревнования).

Предикатная часть, в свою очередь, складывается из обозначения действий (динамических акций) и состояний (как пребываний, статальных, насыщенных свойством и признаком). В особую группу выделены действия сжато-усиленного характера – компрессивы, обладавшие в языке советской действительности, в пропагандистском в первую очередь его проявлении, подчеркнуто выразительным, значимым и отмеченным смыслом. Характер, способ их сжатия, равно как и их направленно ориентированный (*финитно-лимитативный*) смысл, может поставить предмет специального изучения, выразительно соотносимого с идейно-интенциональными насыщениями советского языка. Такую же разновидность усиленного, отмеченного характера, но в отношении состояний, представляют слова, обозначенные как прогрессивы, или эмативы, смысл и существо которых состоит в назывании поступательно расширяющихся и процессуальных явлений, имеющих расширительный, распространяющийся, охватывающе включающий и расходящийся характер, от некоего начала, истока, центра, инициатора, возбудителя. К предикатам, в силу их категориальных особенностей, относимых в грамматике к предикативности (модально-временная рамка высказывания), примыкают обозначения времени как отмеченных для советской

действительности периодов существования, совершения, достижения, обретения, обладания и т.п.

- действия (акции, совершения), способы совершения действия (активы)

агитпоход, агитперелет, агитэстафета, акт (вредительский), аллилуйщина, альпиниада, антоновщина, аплодисменты, аттестация, басмачество, бериевщина, беседа, БИП (боевая и политическая подготовка), благодарность, бригадирить, буксир (взять на буксир), ВАД (восхваление американской демократии), веление, вечер (собрание), вечер-портрет, взаимоконтроль, взыскание, взяточничество, водительство, война (грязная), волеизъявление, вольнка (саботаж), воля (народа, масс), воскресник, воспитание (коммунистическое), воспитательный, врангельщина, встреча-совещание, выбор, выборы, выговор, выдвижение, выдвиженчество, выдвинуться, выписать, выписаться, выполнение, выставка-смотр, высылка, вычистить, глушить, гнет, голоснуть, голубеводство, госы, госзайм, госприемка, групповодство, губконференция, давать (продавать), движение (к коммунизму, революционное), дело, дело (врачей), деловодство, демарш, демонстрация, деникинщина, депремирование, деятельность, джаз, диверсия, диспут, довыборы, договор, доклад, доклад-самоотчет, достать;

- компрессивы (сжатия)

аврал, авральный, безотрывный, битва, бой, борьба, бросать (направлять), бросить, буря, вахта, вахта-эстафета, вперед, время, вперед!, выбить / выбивать, выбросить, выполнение и перевыполнение, все выше и выше и выше, гореть (план), десант (трудовой), догнать (и перегнать), досрочно, досрочный;

- состояния (пребывания)

аморалка, БГТО, безгражданственность, бездетность, бескоровность, бесплановость, беспризорность, беспримерный, бессмертный, бесхозяйственность, биография (трудовая), блат, близнецы-братья, близорукость, блистательный, богатство, болезнь (детская левизны), братский, братство, бригадирский, броня крепка, будни, будущее, быт, бытие, важность, великий, величественный, вера, верность, верный, верховный, вершина, вещепоклонство, вещизм, внеклассный, внеурочный, внеурочно, внешкольный, внутривнутрипартийный, война (холодная), вооруженный (решениями), вооруженность (идейная), вопрос (квартирный, национальный), всесильный, всесоветский, всесоюзный, всесторонний, вчерашний (вечно), выдающийся, высокий, гарантия (рабочая), гегемония, генеральный, гениальный, героизм, героический, главкизм, глаз (партийный), гнусный, горячий, горячо, ГОСТ, готов (всегда), гражданка (жизнь), гражданский, грамота (знания), грамотность, грамотный, грандиозный, графа (пятая), иду на грозу, групповщина, ГТО, гужовинность, гуманизм, дворохозяйство, двухлетка, действительность (советская), дело (каждого, всенародное), дело (занятие), делячество, демократия, держава, детище, детство, дефицит, джунгли (капиталистические), династия, дисциплина, доблесть, добровольчество, доверие, долг, допуск, доход, дружба, Желтый дьявол (капитал);

- прогрессивы (процессивы, эманативы) – расширения, распространения (реализации исходно заданного)

автомобилизация, активность, агитационно-массовый, агитировать, агитмассработа, активность, атом (мирный), бдительность, безграничный, беспощадный,

беспощадно, беспредельно, благо (народа), благосостояние, блюсти, большевизация, бригадизация, всеобуч, всемерно, всемерный, всемирно-исторический, всенародный, всеобуч, всеохватный, всепобеждающий, встречный (план), высоты (коммунизма), командные высоты, гигантомания, гигантский, горизонты (сияющие), грядущий, дали (солнечные), диспансеризация, дорога (светлая);

- проективы (продукты идей, направленные, заряженные)

агитка, агитинформация, агитпоэма, агитфильм, алгебра революции, антибольшевицкий, антиколхозный, антикоммунизм, антикоммунистический, антимарксистский, антиобщественный, антипартийный, антирелигиозный, антисредняцкий, антисоветизм, антисоветский, антисоветчина, антисоциалистический, аполитичный, атеизм, беззаветно, беззаветный, безумство храбрых, безыдейность, безыдейный, белогвардейско-кулацкий, белоказачий, белополяцкий, белофинский, белоэмигрантский, белый, синяя блуза (агитжанр), большевизм, большевицкий, буденовский, буржуазный, власть Советов, внеклассовый, вредительский, вредительство, высокоидейный, гидра, госвласть, гражданский (патриотический), демократизм, диамат, диверсионно-пропагандистский, диктатура;

- периоды (времени)

год (славные годы, юбилейный, определяющий, завершающий, боевой восемнадцатый, бесцельно прожитые, сороковые огневые), годовщина (славная), гражданка (война), декада, декадник, декрет (отпуск), декретный, день, доколхозный, дооктябрьский, дореволюционный, досоветский.

Иллюстрацией демонстрируемого метода изучения языка советской действительности может послужить нижеследующая работа, посвященная представлению одной только группы – *personalia*, или обозначения лиц (статья была опубликована в сборнике *Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Konfrontatywne studia rusycystyczne*. Red. P. Czerwiński i A. Charciarek. Wydawnictwo WW Oficyna Wydawnicza. Katowice 2007, s. 41-49):

Человек в языке советской эпохи: категории и признаки названия.

Антропоцентрический подход к языку, получивший широкое распространение в лингвистике последнего времени, с неизбежностью предполагает не только исследование и описание языковых явлений с точки зрения говорящего как субъекта и наблюдателя [Апресян 1997], но и изучение отражения в языке самого человека. Задача эта, как следует полагать, может иметь самые разные приложения и проекции, в зависимости от выбираемого объекта (языка в его проявлении) предоставляя исследователю в той или иной мере общие, обобщенные, или типологические и более узкие результаты. Будет ли изучаться язык человека как таковой, как способ свойственных человеку знаковых выражений смысла, вне культурных, этнических или других типологических форм, или, напротив, в рамках, пределах последних; будет ли выбрано что-то более

узкое и последующее, частное проявление того или иного национального языка в его ментальных и субкультурных формах – результат всякий раз будет разным. И значимым, как представляется, не столько для языка и его выбранной для подобного изучения формы и не столько для понимания человека, сколько для его представления в соответствующих системоценностных ориентирах. Значимым для концепции человека в системе данного «языка».

Язык по-разному может интерпретировать человека, представляя его как нечто внешнее по отношению к себе, т.е. как объект. Будучи невидимым центром антропоцентрического устройства своего языка, сам человек в языке предстает тем внешним, которое называется, обозначаясь для этого в соответствующих признаках и категориях. Определение этих признаков, позволяя увидеть, чем является человек в системе данных ориентиров, дает возможность судить о самой системе – отражаемой ею стадии человеческих представлений (в случае национального языка), ментальности, мифологическом типе, мировоззренческом, социальном, идеологическом, психологическом (в случае поздних, вторичных и производных вербальных систем).

Определение категорий и категориальных признаков, опираясь на квалификаторы семантических мотиваций¹ имени, должно учитывать особенности производящей данное имя системы, с ее спецификой объяснения и восприятия действительности. Задача, предполагающая необходимость смотреть с точки зрения критериев, интерпретирующие основы которых могут быть не очевидны. Так, если германское *mann-* ‘человек’ (славянское ему соответствие *муж* < **mon-g-j-o-s* [Черных 1999, I: 547]) соотносится с корнем, первоначальным значением которого могло быть ‘гореть’, с последующими опосредованиями и выходами в ‘бить, толочь’, ‘пыль, прах’ > ‘жизненная сила, смелость’ > ‘жидкость, влага’ > ‘производить потомство’ (лат. *mano* ‘течь’, чеш. *kmnet* ‘племя род’; гот. *manags* ‘много’, днн. *menigi* ‘толпа, народ’); в свою очередь ‘бить’ > ‘гнуть’ в значение ‘образ, очертания’ (‘тело как вместилище души’), а ‘бить, резать’ также в ‘говорить’, ‘думать’, но также и ‘один > воедино, вместе’ [Маковский 2005: 193], – то каким, в какой типологической проекции и в какой временной период можно было бы признать искомое категориальное основание для представления человека? Определение для славянских языков, наиболее принятое, предполагает двухосновность слова, выводя первую часть (**čel* : **čьl-*) от индоевропейского **k^uel* ‘род’, ‘клан’, ‘стая’, ‘рой’, ‘толпа’, а вторую (**věkь*) от **ueik* (: **uoik-*) ‘жизненная сила’, ‘энергичное проявление силы’, с общим пер-

¹ О семантических мотивировках принципа номинации как методе семантической реконструкции, применительно к определенному хронологическому уровню (речь идет о ранних стадиях языка) см. [Топорова 1994: 12-13]. Метод может быть применен в отношении всякой вербальной системы, предполагающей мотивировку обозначаемого.

воначальным и старшим значением общеславянского **čelověkъ*, **č(ь)hvěkъ* ‘дитя, отпрыск, потомок семьи, рода, клана’ [Черных 1999, II: 378]. Можно ли признать, тем самым, объединяющими категориальными признаками для первоначального общеславянского представления ‘человек’ собирательность (один – многое и один как многое) и жизненную силу, проявляющими себя в единичном как представителе родового целого? Значение общегерманского *tanp-* (славянское *муж* < **ton-g-j-o-s*) в какой-то части пересекается с данным, выводя его при этом в пласты семантики с архаическими представлениями об огне-горении, дроблении-мельчении, части-целом, мелком, очищенном, теле-образе, едином-вместе, говорении-думании, душе и пр. Первоначальное значение впоследствии развивается, архаика перестает ощущаться, возникают иные связи. Так, в древнерусском (с XI в.) *человек* уже имел значениями ‘существо человеческого рода’, ‘член общества’, ‘находящийся на службе у кого-л.’, ‘чей-л. слуга’, проявляя признаки как родового, так и социального, зависимо-функционального и подчиненного (неполноправие) характера, а *муж* (и.-е. **tan-u-* : **ton-u-*), также с XI в., развивается в сторону ‘человек’, ‘мужчина’, ‘именитый’ (т.е. полноправный, знатный) и ‘супруг’. Различие представлений (человек-человек и человек-муж) следует мотивировать двойственностью первоначального категориального расхождения двух корней: *человек*, в данном случае, как представитель рода (т.е. как все и как рядовой) и *муж* – ‘горения’ и ‘силы-смелости’, ‘говорения-думания’ и ‘влаги-продолжения рода’¹.

Из сказанного следуют два следствия. Определение особенностей представления о человеке в концепции и конструкции какой-либо вербализованной системы требует обращения к семантическим мотивационным основаниям его обозначений. То есть знания семантики действующих основ и корней, а также морфемных составов и мотивированных словообразовательными и(ли) производными отношениями вербальных структур. Это первое. И второе. Определение представлений о человеке, центре или не центре, с учетом антропологического подхода,

¹ Нечто сходное наблюдается и в других языках. Так, в древнегреческом *άνθρωπος* ‘человек’, но также с оттенком презрения о рабах или лицах нелюбимых; женское *ή ανθρωπος* ‘женщина’, ‘раба’, ‘служанка’, ‘гетера’; в то время как *άνηρ, ανδρος* ‘муж’, ‘возмужалый’, ‘мужчина’, ‘супруг’, ‘мужественный человек’ и вообще ‘человек’. Двойственность, тем самым, не случайная и типологическая, развивающаяся в социальную проекцию вследствие исходных семантических мотивационных оснований различающихся корней. Н.Д. Андреев выводит двойственность представления о человеке, правда иного рода, уже на основе реконструируемых им протоиндоевропейских корней: «MN-. Человек, людской, по-человечески, мыслить ... 1 РАЗУМ ... думать ... мысль ... смысл ... возбуждение ... 2 МУЖЧИНА» и «XN-. Мужчина, мощно, мужской, разведывать ... 1 МОЩЬ ... принуждать (скотину) ... теснить (врага) 2 ВПЕРЕДИ ИДУЩИЙ ... 3 МИЛОСТЬ (к слабым членам своего рода-племени) 4 ЧЕЛОВЕК» (к этому второму относится и греч. αν-έρ) [Андреев 1986: 179, 202].

исследуемой системы (различие в данном случае не случайное и показательное) требует также знания действующих в данной системе ментальных ориентиров. В этом случае необходима известная осторожность: не то, что данная вербализованная система склонна по данному поводу о себе заявлять, и не то, каково о ней существует мнение (или мнения), а то, что выводится из нее самой, из мотивационных и семантических оснований ее словарного материала.

Язык советской эпохи в указанных отношениях как раз такой непростой объект. Исследовавшийся и называвшийся как дубовый и деревянный (*langue de bois*), как язык пропаганды, а также партийный, официальный, официоз, новояз, как квазиязык, тоталитарный язык, язык эпохи тоталитаризма, (за)идеологизированный, формальный и скудный, с подавлением возможности проявления личностного начала (т.е. деперсонифицированный язык), с указанием вместе с тем на наличие в период тоталитаризма двух языков, официального и неофициального, второго как языка осмеяния и демаскировки [Seriot 1986]; [Weiss 1986]; [Głowiński 1991]; [Купина 1995]; [Вежбицка 1993], – язык этот, как бы его ни назвать, представляет собой, в первую очередь определенный способ интерпретации и восприятия мира. Тем самым и не в последнюю очередь, человека. Тем самым, впрочем, он и существует для этого или, в известной форме своей, существовал.

Феномен подобного языка, несомненно, шире, чем то, в каком его, русскоязычном в частности, проявлении привыкли видеть, поскольку не только языковые модели, слова и словесные формулы, но и характер обозначения, семантика и мотивирующая сторона, от внутренней формы знака, делают этот язык специфическим. В известном смысле его бы можно было определить как язык утопии, если понимать под этим не то, что принято понимать, а то, что это язык особым образом воссоздаваемой в известных текстах реальности, точнее надреальности – действительности, которая, не существуя в сознании, точнее существуя в нем как изначально не существующая и никогда не будущая, не могущая существовать, существует только в самом таком языке. Это конструкт, реальность условная, множественного повторения и воспроизводства в своих языковых, вербальных моделях и формах. Сказанное, однако, следует относить к подобному языку в его совокупности, если под мотивирующей основой ее понимать то, что принято определять как модель мира, в языковом ее воплощении, имеющую, тем самым, свое строение и устройство, т.е. семантическую структуру¹. В немалой части эта реальность номинативна, поскольку обозначает реалии создаваемой языком (но и не только) действительности, которые, далеко не всегда соответствуя определяемому в них содержанию, но существуя, соответствуют модальност-

¹ Представление, сходное с темой работы [Топорова 1995].

ным требованиям и смысловым структурам конструкт-модели. В короткой статье невозможно подробно коснуться намеченных мотивирующих особенностей данного языка, хотелось только заметить, что обстоятельное и полное изучение материала предполагает, в конечном своем итоге, необходимость создания видимых контуров лежащей в основе данного языка модели и как всякая такая модель представляющейся, в семантическом и языковом своем описании и воплощении, далеко или даже совсем не тем, что можно о ней подумать или что принято о ней говорить. Этой задачи отчасти, т.е. представлению контуров данной модели, и послужил нижеследующий фрагмент обращения к языку советской эпохи, точнее к обозначению в нем человека. Материал представлял собой обозначения лиц, выбранные в полном своем составе из *Толкового словаря языка Советии* В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (1998).

Прежде чем показать основания, по которым производилось распределение материала, имеет смысл представить место исследуемых номинативов, т.е. обозначений лиц, в структуре общего. Все единицы, нашедшие свое отражение в словаре, послужившем источником, можно было бы описать в сочетаниях значений следующих семи категорий (порядок устройства и соотношения их, равно как и объяснение действия, мотивации и семантики, оставим для данной статьи без внимания):

(1) Центральная категория, которую можно было бы условно определить как финитную, точнее финитного достижения – *fin.* (лат. *finis* ‘конец’, ‘цель’, ‘предел’, ‘назначение’, ‘намерение’, а также ‘вершина’, ‘верх’, ‘окончание’ и ‘исход’), намечающую своего рода цель-назначение и выход-итог-результат называемого как «существующего». Проявляется в трех значениях: мобилизации (на) – достижении – удержании (сохранении). Категория, по своему характеру, внутренняя, модальностная и развертывающаяся (динамическая), поскольку номинативы могут соотноситься между собой в значениях мобилизуемого – достигаемого – удерживаемого.

(2) Также внутренняя и динамическая, категория лимитативной роли – *lim.* (лат. *limito, limitatum* ‘ограничивать’, ‘размежевывать’; ‘определять’, ‘устанавливать’), проявляющаяся в значениях управляющий – передовой (ведущий) – поддерживающий (обеспечивающий реализацию).

(3) Категория композита – *comp.* (лат. *compono, compositum* ‘складывать’, ‘слагать’; ‘составлять’, ‘образовывать’; ‘располагать’, ‘размещать’), проявляющаяся в значениях единичности (представителя) – части (объединения) – целого.

(4) Категория внешняя, характера обозначаемого как наблюдаемого (представляемого) в действительности объекта – *obj.* Таковыми могут быть люди – предметы – локусы (т.е. пространственные объекты и помещения).

(5) Категория, представляющая собой проекции (*proj.*) людей к предметам и локусам (характер проекций в данном случае не имеет определяющего значения). Это могут быть институты (как учреждения, установления) – действия – сооружения.

(6) Категория конверсивной заряженности, или модуса (*mod.*), проявляющаяся в значениях активного / пассивного: мобилизующего либо мобилизуемого, достигающего либо обеспечивающего достижение, удерживающего либо того, кого надо удерживать, управляющего либо управляемого, передового (ведущего) либо ведомого и равняющегося на передового, поддерживающего либо поддерживаемого (обеспечивающего либо обеспечиваемого).

(7) Категория позитивного / негативного полюса (*pol.*) как оценивающего либо распределяющего (этот – тот, свой – несвой, прямой – обратный и пр.).

Каждая единица исследуемого языка (представленные категории свойственны только ему) может быть описана сочетанием выведенных значений. Так, *авангард*, определяемый как 'передовая, ведущая часть класса, общества', может быть описан по признакам «люди» (4а), «часть (целого, совокупность)» (3б), «ведущий (передовой)» (2б). *Авиадарм* 'полевое управление авиации и воздухоплавания действующей армии (при Реввоенсовете, 1919-1921 гг.)', соответственно, как «институт» (5а), «управляющий» (2а) «совокупностью (частью целого (3б) «люди» (4а)), имеющий целью «удержание (сохранение, обеспечение)» (1в) того, что далее определяется в значениях *авиации, армии* и является частью исследуемого языка в лимитативно-финитной части. Категориальные признаки в составе значений объединяются в сочетания, предполагающие на следующих этапах анализа проекцию ролей и приоритетов с распределением единиц по семантико-грамматическим группам и классам – составляющим общей модели. Подобное описание единиц позволяет выявить семантическую структуру устройства исследуемого языка, действующую как система в основе своей грамматическая.

Обозначения лиц, в ряду других таких же наименований, могут быть определены как один из номинативных лексико-грамматических классов системы целого, к которой относятся:

(1) Совокупности класса «люди» – представляемые совместно или дисперсно; как части большего или как объединения; как расчлененные множества или как формы организации; как единичные представители или как группы:

- части большего или целого (партитивы): *авангард, актив*;
- собрания, объединения (корпоративы): *агитгруппа, бригада, дружина*;
- массивы: *армия, партия, народ, батрачество, беднота, гегемон, десант, детвора*;

- управления, организации, общества, устройства (институтивы): *агропром, батрачком, бытсовет, военкомат, главк, горисполком, горком, драмкружок*;

- лица: *авроровец, активист, автоградец, автозаводец, автодружинник, агент, агитатор, аллилуйщик, анекдотчик, антикоммунист, антиобщественник, антирелигиозник, антисоветчик, антоновец, бамовец, банкрот, барабаник, басмач, батрак, бедняк, безбожник, безлошадник, безотрывник, белобандит, беспризорник, блатник, большевик, валютчик, вечерник, военком, вожак, вожатый, вождь, возвращенец, враг, вредитель, генсек, горнист, группомсорг, группорг, депутат, дзержинец, диссидент, довженковец, допризывник, дружинник*.

(2) Совокупности класса «места-предметы»:

- пространственности (локативы): *агитпункт, автогигант, автоград, агитплощадка, агрозона, академгородок, Артек, атомград, БАМ, БАМлаг, воспитательская, времянка (поселок), город спорта, город юности (мужества, на заре), города-побратимы, город-герой, городок здоровья, дача (руководства), детдом, Днепрогэс, Днепрострой, дом-коммуна*;

- предметы (наблюдаемое, объекты-носители): *автолавка, агитпоезд, альбом (досье), альбом-эстафета, андроповка (водка), барабан, билет (комсомольский, партийный, профсоюзный), буденовка, бюллетень, бюст, вагон-библиотека, вертушка (телефон правительственной связи), воронок, вымпел, галочка, грамота (почетная), декрет, дензнаки, дефицит (товар), директива, добро (народное), достояние*;

- структуры, сети (структуративы): *агропромкомплекс, госснаб*;

- серии: *библиотечка профсоюзного активиста, газета, дневник (соревнования)*.

(3) Предикации:

- действия (акции, совершения, способы): *агитпоход, акт (вредительский), аплодисменты, аттестация, благодарность, бригадирить, взыскание, воля (народа, масс), воскресник, выдвижение, выдвиженчество, высылка, вычистить, госприемка, деникинищина, диверсия, диспут*;

- действия-компрессивы: *аврал, безотрывный, битва (за урожай), бросать (направлять), досрочно, досрочный*;

- отмеченные состояния (стативы): *аморалка, бездетность, бескоровность, бесплановость, беспризорность, бесхозяйственность, блат, близорукость, болезнь (детская левизны), будни, будущее, быт, вецизм, внутривнутрипартийный, война (холодная), вооруженный (решениями), вооруженность (идейная), вопрос (квартирный, национальный), гарантия (рабочая), групповщина, действительность (советская), дело (каждого, всенародное), делячество, дефицит, джунгли (капиталистические), дисциплина, доблесть, доверие, долг, допуск, доход*;

- прогрессивы (процессивы, эманативы – расширения, распространения, реализации): *автомобилизация, активность, агитировать*,

агитмассработа, бдительность, благо (народа), благосостояние, блюсти, большевизация, бригадизация, всемерно, всенародный, всеобуч, всеохватный, всепобеждающий, встречный (план), высоты (коммунизма), командные высоты, гигантомания, горизонты (сияющие), грядущий, дали (солнечные), диспансеризация, дорога (светлая);

- проективы (продукты идей, заряженные направленности): *агитка, антибольшевистский, антиколхозный, антикоммунизм, антисоветчина, аполитичный, атеизм, беззаветно, безумство храбрых, безыдейность, белогвардейско-кулацкий, белоказачий, большевизм, большевистский, буденновский, внеклассовый, вредительский, вредительство, высокодейный, гражданский (патриотический), диктатура;*

- отмеченные периоды (времена): *год (славные годы, юбилейный, определяющий, завершающий, боевой восемнадцатый, бесцельно прожитые, сороковые огневые), годовщина (славная), декада, декадник, дооктябрьский, дореволюционный, досоветский.*

Относясь к совокупностям класса «людей» со значением единичности, лица далее подразделяются по следующим основаниям:

Представители

- коллектива (группы, состава): *авроровец, автодружинник, армеец (юный), белогвардеец, буденовец;*

- массива: *автоградец, автозаводец, бамовец, кировец (рабочий Кировского завода);*

- множества: *гражданин, гражданка, каждый;*

Деятели

- активного действия (активации) со значением стимулирования либо распространения:

- стимуляция: *активист, агитатор, вожак, глашатай, двигатель (революции), знаменосец, искровец;*

- распространение (экспансия): *антирелигиозник, антирелигиозница;*

- действия-участия, партиципации: *боец, борец, горняк, зарничник, интербригадовец, ипатовец, каналоармеец;*

Позиционеры (поставленные, назначенные, занимающие должность, исполнители)

- направленные (функционеры): *агроуполномоченный, бригадир, военком, вожатый, выдвигенец, генсек, главком, главный, горнист, группорг, дежурный, депутат, директор, домоуправ, завуч, завхоз, зам, замполит, звеньевой, избач, инструктор, командарм, комбат, комиссар;*

- ненаправленные (социальное место): *батрак, безотрывник, вечерник, военспец, вохровец, втузовец, гэптэушник, двадцатипяти тысячник, довженковец, допризывник, жактовец, интеллигент, исполкомовец, кадровик, кандидат, квартирант, классрук, клубный работник, койко-больной, колхозник, комитетчик, коммунальник;*

Проявляющие себя неким образом и характеризующиеся по данному основанию

- по виду совершаемой (совершенной) деятельности: *агент, аллюйщик, анекдотчик, богомол, болтун, бракодел, валютчик, загибщик, задолжник, зажимщик, землероб;*

- по характерному признаку:

- лишенности (необладания, отсутствия, недостижения): *банкрот (политический), бедняк, безземельный, классовый излишек, бывшие, пораженные в правах, лишены;*

- выделенности (отмеченной значимости): *батька (атаман), бровенец (Брежнев), внуки (революции, Ильича), горец (кремлевский), двухлошадный, дефективный, единоличник, заслуженный, золотопогонник, Ильич;*

- неохваченности (незадействованности, неучастия): *беспартиец, беспризорник, бомж, интеллигентик, попутчик;*

Носители признака (кумуляторы)

- направленно: *антикоммунист, антиленинец, антиобщественник, антисоветчик, безбожник, большевик, большевичка, бунтарь, вредитель, диссидент, интернационалист, левак, коллективист, перерожденец;*

- ненаправленно: *буржуй, вояка, герой, гость (гости города), дзорный, друг, дядя (дядюшка) Сэм, защитник, подпольщик;*

- потенциальностью: *блатник, враг, зеленые, инакомыслящий.*

Обозначения лиц, тем самым, распределяются по пяти основаниям, соотносимым между собой как валентностные места в модели фрагмента целого (всей системы обозначений в исследуемом языке):

акция
презентация – позиция – проекция
кумуляция

Центр представлен значением позиции, остальные значения определяются валентностью ролью входящего (презентация), поддерживающего (кумуляция), распространяющего (акция) и проявляющегося (проекция). Указанные значения имеют смысл в составе модели целого. Описание единицы производится с учетом ее отнесенности к основанию, с последующим уточнением значений по категориальным признакам: *авроровец*, ‘член экипажа крейсера «Аврора» (корабля революции)’ – «представитель (3а) корпоратива (3б) по объекту-носителю (4б), обеспечивающему реализацию (2в) достижения (1б) финитной цели, мобилизующий (6а), свой-позитивный (7а)»: 3а {[3б (4б < 2в < 1б)], 6а, 7а}. Финитная цель, характер мобилизации, понятия «свой», «достижение», «обеспечивающий», а также порядки и роли представленных в дефини-

ции цифрами признаков потребуют своего уточнения. Задача подобного описания, как уже говорилось, имеет смысл представить характеризующий язык как модель насыщения значений, отображающую через слова идею конституируемой действительности, с особой позицией, ролью и местом в ней человека.

Анализ и описание номинативов, в частности называющих лиц, имеет смысл для более полного и обстоятельного их парадигматико-категориального представления, применительно к языку советской действительности, производить отдельно для тех, которые составляют так называемые негативные, не желательные, оценочно отвергаемые, осуждаемые обозначения, и тех, которые, напротив, используются как обозначения поощряемые и одобряемые в отношении советского человека. Нижеследующие фрагменты представляют собой отрывки из трех работ, посвященных указанному здесь описанию.

Парадигматико-категориальное представление негативов.

[Фрагмент статьи *Семантика негативно оценочных категорий при обозначении лиц в языке советской действительности. Статья 1* // Политическая лингвистика. Вып. 3 (23) 2007. Гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург 2007, с. 118-133]

Объектом исследования были слова типа *аллилуйщик, зажимщик, перестраховщик, халтурщик, авральщик, срывщик, фарцовщик, прогульщик, трутень, перебежчик, анекдотчик, антисоветчик, валютчик, попутчик, волокитчик, доносчик, аппаратчик, растратчик, антиобщественник, клеветник, саботажник, единоличник, мешочник, взяточник, отказник, подкулачник, пособник, шабашник, двурушник* и т.п., служившие материалом выявления когнитивной системы оценок поведения, позиции, общественной роли и прочего применительно к человеку. Предполагаемым итогом такого подхода может быть, как уже говорилось, внутренний категориальный критерий советскости в отношении языковой единицы и также категориальные основания концепции человека во внутреннем представлении (т.е. не обязательно осознаваемом, явном и очевидном) советского языка. Проблемы идеологизации, идеологизированности, пропагандистской политизированности, публицистичности официоза, унитарности, однопартийности, деперсонализованной мифологичности, этатизма, социоцентризма советского языка, равно как и прочей его направленности, при подобном подходе, как-то с ним, безусловно, связанные, не играют, однако, определяющего значения. Выводом и результатом должны быть **семантизированные категории порождения и восприятия** вербального выражения, то, что имеет свое непосредственное отношение к когнитивному направлению в

лингвистике и изучению языковой картины мира, тех или иных ее сторон и фрагментов, в данном случае не столько национального, сколько советского языка как его узуальной проекции. Окончательным выходом может быть выявление отношения языковой картины национального и советского языка, с определением общего и различного между ними. Однако это задача глубокой и основательной перспективы.

Для начала и ясности представления подразделим интересовавший нас материал на группы, позволяющие представить характер возможных соотношений в нем советски отмеченного и нейтрального. Временной показатель, связанный с периодами активности тех или иных негативно-оценочных советизированных лексем, с различной степенью их идеологической и политической актуализации и с возможным затем вытеснением на периферию или уходом в пассив, на данном этапе анализа во внимание не принимался. Равно как не брался в расчет критерий происхождения – советское новообразование или используемая единица национального языка, с тем чтобы, отвлекаясь от любых дополнительных, хотя бы и важных, критериев, обратиться в самом начале к представлению вероятных различий советскости.

Первую группу составят слова с очевидной и явной советскостью, почти исключительной и резко направленной, характерные по преимуществу для публицистической речи, с оттенками обличения и острого осуждения: *аллилуйщик, зажимщик, прижимщик, перестраховщик, перерегищик, авральщик, итурмовщик, срывщик, загибщик, лакировщик, перевертень, трутень, перебежчик, анекдотчик, антисоветчик, валютчик, антиобщественник, саботажник, единоличник, мешочник, взяточник, переносчик (слухов), аппаратчик, растратчик, комитетчик, отказник, подкулачник, пособник, церковник, частник, лабазник.*

Вторую группу – слова разговорные, со «вставляемой» советскостью, фигурирующей в них как оттенок коннотативного замещенного дополнения, при этом сила и острота обличения и осуждения имеют в них регулятивный характер, т.е. могут быть более или менее резкими, в зависимости от условий употребления и политического периода: *фарцовщик, прогульщик, халтурщик, порубщик, жалобщик, потаковщик, подтасовщик, анонимщик, погромщик, самогонщик, перекутчик, половинщик, вольничек, поклетчик, подговорщик, притворщик, потворщик, алиментщик, комплиментчик, приживальщик, неплательщик, самовольщик, прихвостень, оборотень, фальшивомонетчик, начетчик, попутчик, волокитчик, бюрократ, потатчик, мошенник, законник, низкопклонник, склочник, сутяжник, законник, клязник, клеветник, наемник, собственник, шкурник, изменник, матерщинник, карманник, рвач, наушник.*

Третью группу – слова с укрытой, неявной советскостью, точнее было бы определить ее термином «смазанной», нередко намеренно двойст-

венной и(ли) затемненной, и таким же характером негативной оценки: *глубинщик, гуталинщик, керосинщик, сыщик, понукальщик, дурильщик, добытчик, лудильщик, захребетник, наплевист, локатор, куратор, мирильщик, заводила, подпевала, обирала, вельможа, зверь, вепрь.*

И четвертую группу – слова, своего рода притягиваемые, не советские по своему значению и характеру, но, будучи советизированы, способные приобретать специфический смысловой и коннотативный оттенок: *морильщик, бурильщик, удильщик, тилльщик, строгальщик, заговорщик, разносчик, хозяин, хозяйчик, затейник, нахлебник, кутила, фигурант, прохиндей, живодед, мандарин, чиновник, сановник, барин, митворец.*

За пределами перечисленных групп, своего рода пятую группу составляют слова, советскому языку не свойственные, не используемые и не коннотатируемые в нем, как правило: *бабник, придирищик, наговорщик, субчик, молодчик, господчик, указчик, немчик, турок, фетюк, господинчик, попрыгунчик, дворянчик, купчик, доносчик, висельник, крамольник, кромешник, богохульник, подонок, вертопрах, ловелас, фифа, фигура, фря, пустозвон, фанфарон, процелыга, бахвал, мазила.*

Группы находятся в отношениях корреляции (первая со второй, третья с четвертой) и противоположения первых двух двум последующим. Основу коррелятивности составляют признаки отношения к формируемой советской системе. В первой группе слова называют и характеризуют тех, кто является по отношению к ней потенциальным ее деструктором, негативно, нередко намеренно и сознательно, воздействуя на различные внешние или внутренние ее составляющие. Во второй представлены лица, определяемые и характеризующиеся как агенты нежелательного или мешающего нужному направлению образа действия и проявления. Корреляция между первыми и вторыми состоит в характере обращенности проявления – от действователя или носителя признака как объекта оценки на систему-объект (объявляемый строящийся социализм, советский строй) в первой группе и в носителе признака или действователе, в нем самом, по отношению к множеству ему подобных и равных во второй. То есть, тем самым, направленное не прямо к системе и действующее не в ней самой, не внутри ее, а через множество тех, от которых зависит потенциальный успех ее осуществления, реализации. Первая группа, тем самым, предполагает позицию отношения лица к системе как проекцию на субъекта ведущего для советской действительности финитного отношения, если под финитностью понимать категорию направления на систему-цель – объявляемый строящимся социализм и советский строй как объект общественного стремления (*opus finitum*). Вторая группа – позицию отношения лица ко множеству-социуму и внутри него, с проявлением категориального отношения деформации в социальных массивах.

Слова третьей группы определяют и называют лиц «от системы», как ее нежелательные продукты, проводники ее действия и влияния в социальных массивах, подстраивающиеся под нее и к ней приспособливающиеся, в своем поведении, образе действия, отношении к окружению, ближним, среде. Позицию эту и эту направленность можно определить в отношении «от системы к лицу», в категориях продуцирующего формирования (своего рода измененного состояния) искаженной системой структуры субъекта-лица.

Четвертую группу составляют слова, определяющие и характеризующие лиц, подстраивающих, приспособливающих свое поведение, образ действия и отношение, но не к системе, а к социальному множеству. Отсюда их не прямое, а только притягиваемое в советский язык положение. Это слова с позицией «от социума, множества к субъекту-лицу» и нейтрализованное, безразличное в своем семантическом представлении, отношение к категориям советского языка. Так, если первую группу составляют деструкторы по отношению к финитной системе, вторую – деформаторы ее социальной базы и почвы-массива, третью – продукты ее «искаженного» социального и психологического воздействия как состояния, то четвертую – стоящие вне ее, как таковым образом ей не свойственные, но и не чуждые в целом, не отрицаемые ею (последнее как определяющий признак можно было бы отнести к группе пятой).

Дополнительным категориальным признаком, дифференцированным по четырем представленным группам, можно ввести показатель активности или пассивности, с уточнением к потенциальности того и другого. Активность или пассивность субъекта-лица в своем характеризуемом как негативное отношении-состоянии зависит во многом от выделяемой направленности. Деструкторы первой группы, с направленностью своего проявления к финитной системе, представляют потенциально активное состояние в отношении к ней. Не в отношении, что важно, характерного действия (действий), их типа и вида, а в предполагаемом достигаемом результате, направленном на систему-объект.

Возьмем для примера несколько слов первой группы. *Аллилуйщик* характеризуется по словарям [Большой толковый 2000], [Мокиенко, Никитина 1998] как ‘тот, кто чрезмерно восхваляет кого-л., что-л.’. Интересующий нас категориальный семантический показатель потенциальной активности заключен не в признаках ‘чрезмерно’ и ‘восхвалять’, предполагающих интенсивность и, может быть, необоснованность определяемого действия-проявления, характеризующего лицо, а в том, что в приведенном определении не названо, но что будет иметь отношение к предмету данного рассмотрения. Любой ли объект, характеризуемый в дефиниции как кто-л., что-л., может быть предметом такого предполагаемого восхваления? Поскольку речь идет о слове советского языка,

типичный выбор такого объекта исходно окажется ограничен. Это или система, советский строй в различных ее составляющих или то, что прямо и непосредственно, а может быть и косвенно, связано с ней – представители власти, деятели советской культуры, искусства, их произведения, строители социализма и пр. *Аллилуйщик* и *аллилуйщина* обусловлены в употреблении тем, что связывается в советском языковом представлении с тем, что подходит под определение *наши успехи и достижения*, тем, чем *может гордиться страна*. *Наши*, при этом, равно как и слово *страна*, следует воспринимать как *советские*. Невозможно себе представить, чтобы льстецов, готовых к чрезмерному восхвалению, скажем, российского императора, его вельмож и министров, равно как и царский режим, или какого-нибудь зарубежного политического деятеля, диктатора, владыку, руководителя, лидера и их системы, со свойственной разбираемому слову иронией и осуждением и в рамках того же советского языка, могли бы назвать *аллилуйщиками*, а их действия *аллилуйщиной*. Объект восхваления должен быть, тем самым, определен как такой, который связан с советской системой как **opus finitum**, т.е. как достигаемая советским обществом в его стремлении и развитии цель. *Аллилуйщик* по отношению к этой видимой цели общественного движения оценивается и преподносится как агент, а *аллилуйщина* как явление, разрушительные и потенциально активные в предполагаемом своем результате. Потенциально – поскольку заложенные в результате не прямо, не в разрушении состоит направленность данного вида деятельности. Активные – поскольку результатом предполагается не строительство, не развитие и создание советской системы, а ее остановка, стагнация и торможение, т.е. то, что обратно созданию, а тем самым, как результат, перерождение и разрушение в своих закладываемых, предполагаемых основах.

Аналогичным образом такие слова, как *зажимщик*, *прижимщик* ‘тот, кто препятствует свободному проявлению чего-л.’ [Большой толковый 2000], ‘мешающий, препятствующий чему-л.’ [Мокиенко, Никитина 1998] – *зажимщик критики, хлеба*;, *перестраховщик*, ‘проявляющий чрезмерную осторожность, ограждающий себя от принятия ответственных решений’ [Мокиенко, Никитина 1998], *перегибщик*, ‘допускающий перегибы (нарушения правильной линии, вредная крайность в какой-л. деятельности)’, *авральщик*, *штурмовщик*, ‘выполняющие работу наспех по причине отсутствия планомерности и организованности в деле социалистического строительства’, что неизбежно влияет на ее качество и результат и потому оценивается как деятельность потенциально вредная и разрушительная, равно как и другие слова этой группы, следует понимать и интерпретировать в отношении действий к советской системе, имеющих непрямым результатом (потенциальность) нарушение принципов ее объявляемого функционирования, в конечном итоге ее искажение и разрушение (активность).

Слова второй группы следовало бы определить в отношении дополнительного категориального признака как характеризующиеся пассивностью и потенциальностью, следующих из их направленности в семантике не к финитной системе, а к социальному множеству. *Фарцовщик* ‘тот, кто занимается фарцой, т.е. незаконной продажей антиквариата и импорта, прежде всего одежды’, *прогульщик*, *халтурщик*, *порубщик*, *жалобщик*, *потаковщик* и др. тем отличаются от слов первой группы, что, представляя собой нарушения, деформацию в области устанавливаемых общественных отношений, не напрямую, а через эту сферу, тем самым, пассивно, а не направленно, влияют на достигаемую цель советского общественного стремления. Потенциальность как признак связывается, как и в словах предыдущей группы, с отсутствием прямой и открытой направленности к деформации общественных отношений у называемых и характеризуемых соответствующим образом лиц. Соотношение дополнительных категориальных признаков у слов этой группы, в отличие от слов предыдущей, имеет поэтому соположенный, а не взаимно включенный характер, поскольку пассивность относится к опосредованно-неактивному действию на систему, а потенциальность – на предполагаемый результат. В то время как в первой группе потенциально активными полагаются действия в результате, имея, тем самым, направленность на общий актанта.

Третью группу, представленную словами, называющими лиц, характеризующих как продукты системы, отмечает признак активности, связанный с их воздействием на другое лицо, других лиц, окружение в целом. Система, намеренно и ненамеренно, воспроизводит таких, как *глубинщик* ‘сотрудник КГБ (копающий на глубину, в том числе в чужих секретах, жизнях и душах)’, *гуталинщик* ‘Сталин (черный душой и телом, сын сапожника, всеобщий чистильщик)’¹, *керосинщик* ‘подстрекатель и провокатор (как „поджигатель”, подливающий масло в огонь)’², *сыщик* ‘тот, кто вынюхивает, доискивается, интересуется чужими секретами, вещами и обстоятельствами, ищейка, сексот’, *понукальщик* ‘тот, кто понукает, подгоняет к работе’, *дурильщик* ‘тот, кто обманывает, водит за нос, отлынивает, прикидывается не тем, кем есть’, *локатор* ‘тот, кто подслушивает, возможно, с намерением доносить’, *добытчик*, *захребетник*, *наплеvist* и т.п. Испытываемое от них негативно оцениваемое воздействие воспринимается как активное, являясь сознательным и направленным, а не косвенным, случайным и опосредованным с их стороны.

¹ В том числе, возможно, как сын сапожника и всеобщий чистильщик. Ср. у Ж. Росси: «Примеч.: маленького роста, чёрный и рябой, говоривший по-русски с сильным кавказским акцентом, Сталин напоминал тех кавказцев-ассирийцев, уличных чистильщиков сапог, которые пользовались гуталином» [1987, 1: 95].

² У Росси: «тот, кто подливает масло в огонь» [1987, 1: 154], «подстрекать, провоцировать, подливать масло в огонь; ср. *керосинщик*» [1987, 2: 291].

Четвертая группа характеризуется изначальной противоречивой двойственностью, активной пассивностью со стороны лица. Активность связана с характером, отчасти осознаваемостью, осуществляемых им действий и проявлений, пассивность – с их ненаправленностью, проявлением не нацеленным, а как таковым. *Морильщик* ‘тот, кто долгим и нудным повествованием о чем-нибудь, однообразием и монотонностью способен уморить, занудить’, *бурильщик* ‘тот, кто забуливается, т.е., увлекаясь, теряет способность оценивать ситуацию, реакцию окружающих на себя’, *удильщик* ‘тот, кто вольно или невольно кого-то на чем-то пытается подловить, выжидает, следит’, *пилильщик* ‘тот, кто изводит, доводит других моралью, попреками, занудствует’, *хозяин* ‘тот, кто держится высокомерно, пренебрежительно, властно, не считаясь с мнениями, желаниями, обстоятельствами других’, *затейник* ‘тот, кто выдумками, обманом, хитростью пытается выгадать себе что-нибудь за счет других; плут, мудрила, хитрец’, *нахлебник* ‘тот, кто живет за чужой счет’ и т.п. являются таковыми по добровольному выбору и характеру, стали такими под действием окружения, воспитания (социального множества), выработав это в себе как линию поведения, – активно со своей стороны, но не активно и не направленно в отношении своего окружения.

Отношения, связывающие выделенные четыре группы негативно оценочных слов¹, определенные ранее как отношения корреляций и противопоставлений, можно представить следующим образом:

1. от субъекта-лица к системе (с потенциальной активностью действия-проявления в результате)	3. от системы к субъекту-лицу (с активностью действия)
2. от субъекта-лица к социальному множеству (с пассивностью к действию и потенциальностью к результату)	4. от социального множества к субъекту-лицу (с активной пассивностью действия)

Несун появляется, видимо, к концу 70 гг. XX века (Русская грамматика 1980 г. отмечает это образование как новое [I: 146]) и обозначает ‘того, кто совершает мелкие кражи, уносит что-л. оттуда, где работает’ [Большой толковый 2000], ‘который выносит с производства часть производимой продукции, сырья и т.п.’. [Мокиенко, Никитина 1998] Слово, образуясь по типу *бегун*, *лгун*, *молчун*, предполагает использование основы настоящего времени в качестве мотивирующей основы (*нес-у – нес-ун*), представляя собой образование регулярное и продуктивное для разговорной речи [Ефремова 1996: 476-477]. Непосредственными предшественниками его в языке советской действительности можно считать

¹ Группы связываются также по-разному взаимодействующими в них и общими категориями, такими, как финитность, массив, субъект, деформация, продукт (из названных), но эти отношения и связи в своем классифицирующем представлении намного сложнее.

три оценочных слова с тем же суффиксом – *болтун* (разглашающий тайну), *летун* (часто меняющий место работы), *попрыгун* (то же, что *летун*, но более с оттенком ‘не могущий усидеть, удержаться на месте’), с первыми двумя из которых данное слово можно было бы отнести к группе с наиболее ярко проявленной советизированностью. В то время как два последних (*летун*, *попрыгун*) обнаруживают с ним наиболее тесную мотивационную связанность, в наибольшей мере, как представляется, повлияв на возникновение слова *несун*, не в последнюю очередь обусловленное расширением общей для них тематической группы и наличием такой же оценочной характеристики: все три слова имеют отношение к производству и обозначают лиц, приносящих ему своим поведением вред. Объединяют эти три слова еще ряд признаков. Прежде всего, характер действия, связанный с перемещением, пересечением, нарушением устанавливаемых стабильных границ (отношение к локусу, признак места). Действием неодобряемым и самовольным, совершаемым нередко в обход существующих правил и необходимо-желательных норм отношения к труду, объявляемым пропагандой как нравственные¹. Из чего следует общая для этих трех слов оценочная характеристика. *Летун*, *попрыгун*, *несун* воспринимаются как не слишком значительные, но неприятно-досадные вредители на производстве. Их действиями руководит эгоистическое стремление к собственной выгоде и мелкобуржуазно-личному интересу. Характеризует пренебрежение к интересам общества (социального множества), непонимание важности и глобальности социалистического строительства и, что из этого следует, своей роли на производстве как единицы данного множества, участвующего в этом строительстве своим объединенным трудом.

Появление слова *несун* обусловлено также негативными ассоциативными представлениями, связанными с глаголом *нести*. Помимо прямого и основного значения ‘взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать в определенном направлении, доставлять куда-л.’ [Большой толковый словарь 2000], проявляющего три признака – прихватывание с собой, перемещение с этим в пространстве и доставление к месту, внутри которых скрыто уже заложена идея присваивания, прибирания к рукам с последующим изменением местоположения в пространстве того, что взято, прихватчено в качестве груза, – помимо этих соотношений и связей, глагол *нести* проявляет также другие, ассоциативно и коннотативно значимые. Немотивированность, допускающая вмешательство неконтролируемых, стихийных, погусторонних сил и отсюда нежелательность и неожиданность возникновения (исчезновения), сопровождаемые недовольством,

¹ Показателен в этом отношении приводимый в качестве иллюстрации к слову пример из «Толкового словаря языка Совдепии» [Мокиенко, Никитина 1998]: «Пресловутый «несун», ставший настоящим воров, причиняет **глубокий нравственный урон нашим принципам** (выделено мною – П.Ч.)» (Человек и закон, 1983, № 10, 39).

удивлением, возмущением: *Куда вас несет? Вот принесла нелегкая! Черт его принес! Куда его унесло? Каким ветром занесло? Несет меня лиса за темные леса* (из сказки). Передвижение помимо воли, предполагающее захватывание, увлечение какой-то силой: *Его несло на камни. Ветер нес бумажки, листья, всякий мусор. Река несла своим течением. Море унесло*. Сопровождение, появление, приход как следствие чего-л. далеко не всегда приятного: *Осень несет дожди. Тучи несут дожди. Старость несет болезни. Нанесло тут всякого*. Распространение, передача: *Несло холодом, дымом, гарью, дурными запахами. Несло затхлостью. Из подвала несло гнилью*. Сообщение, передача чего-л. пустого, неразумного: *нести чепуху, вздор, околесицу. Послушай, что ты несеешь!* Семантика глагола также связывается с неприятностями, потерями, тяжелыми обязанностями, трудностями: *нести потери, урон, ущерб, свой крест, обязанности, службу, нагрузку, нести на себе весь дом*.

Негативная оценочная коннотативность, таким образом, поддерживаются семантически, следуя из трех просматриваемых признаков: 1) потенциальная тяжесть (груза, того, что несут), 2) спонтанность немотивированной субъектности перемещения с ним (прихватывание с собой), 3) не всегда желательное изменение начального местоположения объекта с позиции и во мнении говорящего, наиболее ярко затем проявляющаяся в *унести*, образованном от *нести* и являющимся эвфемистическим синонимом слову *украсть*.

Может быть, более ярко формирующаяся семантика проявила бы себя в форме *унесун*, возможной и в разговорно-сниженной речи даже встречающейся, образуемой по аналогии с *убегун* ‘тот, кто от кого- или чего-л. убегает’, *улетун, умотун, уведун, ускакун, увезун, убредун, украдун, уползун, улепетун*, также разговорных и просторечных. Однако поскольку нормативные образования с данной приставкой суффиксу *-ун* не свойственны (видимо, в силу определения лица ‘по привычному действию или склонности к действию’, предполагающему действие как таковое, не связанное с каким-либо результатом, вносимым приставкой *у-*), *несун* содержит в своей семантике также и это значение с *у-*. *Несун* не только и не столько *несет*, сколько действием этим, несением, *вносит*, *выносит*, что и находит свое отражение в дефинициях: ‘тот, кто совершает мелкие кражи, вносит что-л. оттуда, где работает’ [Большой толковый 2000], ‘который выносит с производства часть производимой продукции, сырья и т.п.’ (подчеркнуто мною – П.Ч.) [Мокиенко, Никитина 1998].

В интересующем нас слове срабатывают две составляющих из трех – прихватывание, связываемое с присваиванием субъектом-лицом того, что ему не принадлежит (скрытый и подразумеваемый компонент значения), и нежелательное изменение надлежащего местоположения того, что выносится, – за пределы предприятия, с пересечением, нарушением

границ стабильного и должного местопребывания его как объекта (явный, открытый компонент). *Нести, летать и прыгать* в *несун, летун и попрыгун* передают, тем самым, общую для них идею неконтролируемой и немотивированной спонтанности со стороны субъекта-лица, с нарушением стабильности места – объекта в *нести* и субъекта в *летать* и *прыгать*.

Рассмотренные мотивационные основания советизированной оценочности в слове *несун* позволяют отнести данное слово, наряду с ему близким *летун*, ко второй группе, предполагающей отношение субъекта-лица к социальному множеству. Данное отношение, как следует из рассмотрения, тяготеет к оценочности нравственного характера, в отличие, скажем, от слов первой группы (отношение лица к системе), в которых ведущей становится оценка идеологическая и политическая. Указанная закономерность, однако, не имеет в виду исключительности, поскольку нравственная оценка осуждаемого в отношении общества поведения очень легко перед лицом момента и политической необходимости может стать оценкой высшего уровня, связанной с отношением к системе, угрозой ее стабильности и существования.

Затронутую особенность хорошо демонстрирует слово *болтун*, советизированный облик которого четко связывается с перемещением его семантики по шкале оценочности от невинного в целом в своей оценке неумения сдерживаться в своих речевых проявлениях через сплетничество, выбалтывание чужих секретов и тайн, к разглашению важных секретных сведений, в том числе государственного значения, и антисоветской агитационной деятельности. При этом, если первое предполагает реакцией утомление, неприязнь, раздражение, а второе – неодобрение, осуждение, нежелание иметь дело, вступать в какие-либо контакты и связи, стремление избегать, то последнее, третье, закладывает реакцию не индивидуального и не межличностного уровня отношений, поскольку речь идет о вредительстве государственного масштаба. Реакцией в этом случае предполагаются и должны быть негодование, общественное презрение, остракизм, желание немедленного наказания по всей строгости советских законов. Отношение личного неприятия, нежелание сталкиваться и стремление избегать, характерные для первого и второго уровней, на третьем, системном и государственном, в силу значимости потенциально следующего общественного вреда, меняет свою направленность – не самому стараться не сталкиваться и избегать, а изгонять такого из общества, обезвреживать, изолировать и изымать.

В чем конкретно проявляет себя советизированность рассматриваемого лексического значения? Обратимся к словарным определениям. **Болтун** разг. 1. Тот, кто много болтает; пустослов. *Болтун подобен маятнику: и того и другого надо остановить* (К. Прутков). 2. Тот, кто не умеет хранить тайны (обычно о сплетнике). *Ну и б. же ты! Можешь*

довериться: я не б. Болтать разг. 1. Вести лёгкий, непринуждённый разговор; много говорить (обычно вздор, пустяки или не то, что следует). *Б. без умолку. Б. весь вечер. Б. о том о сём. Б. чепуху, глупости. Б., весело смеясь, шутя. О том, что видел, не болтай!* (никому не рассказывай). 2. Проводить время в болтовне (2 зн.); много и попусту обещать. *Опять болтают, а решений нет как нет.* 3. Высказывать нелепые суждения, распространять слухи; выдумывать, наговаривать. *Б. разное, всякое про кого-, что-л. Болтают, будто конец света близок. Может, и впрямь инопланетяне? – Болтают...* 4. Бегло говорить на каком-л. иностранном языке. *Б. по-французски, по-немецки. Болтовня* разг. 1. Лёгкий, непринуждённый разговор. *Весёлая, оживлённая б. Б. детей. Слушать болтовню подруг.* 2. Бесплодные рассуждения, обсуждения, речи; пустые безответственные обещания; пустословие, говорильня. *Одна б.! Болтовни много, а результатов никаких.* 3. Сплетня, выдумка. *Не было такого, б. всё это.* [Большой толковый 2000]

Оценочность данных определений связывается не в последнюю очередь с самим представлением о говорении, речи как о занятии малозначащем и непродуктивном (ср.: *говорить, а не делать; слово, не дело; говорун, говорильня*). К этому добавляется признак количественной избыточности (*много говорить*), бесплодной пустопорожности (*лёгкий*) раскованности и потому несерьёзности (*непринуждённый*), обычно бесодержательности (*говорить вздор, пустяки*), но часто видимой, поскольку то, что говорится, может стать нежелательным и потенциально опасным (*не то, что следует*). В представлении о *болтать, болтовне* присутствует также признак замещения положительных и производительных действий во времени, вытеснения действий, имеющих результат, псевдозанятости (*проводить время в болтовне, занимать чье-то время разговорами, вместо того, чтобы делать*); признак замещения не только действий и положительной деятельности, но и действительного положения вещей, т.е. самой действительности, – ложь, обман, лживые обещания, нелепые суждения, слухи, сплетни, выдумки, наговоры. Связываться это может как с ненамеренным и безответственным поведением (по глупости, неопытности, неумению сдерживаться, правильно ориентироваться в обстановке), так и с действиями сознательными, направленными на то, чтобы исказить реальное положение вещей, либо объявляющими, выдающими скрытое и потому намеренно или потенциально причиняющими вред.

Итак, *болтать* – это, прежде всего, не делать и вместо того, чтобы делать, но при этом излишне много и безответственно, нарушая и искажая сложившиеся отношения и настоящее положение вещей. *Болтовня, болтать*, тем самым, воспринимаются как поведение, ненамеренно или намеренно, дестабилизирующее, из чего следует ее потенциальная вредоносность. Слишком много – пустых, замещающих и непродуктивных

поэтому действий – искажающих и нарушающих установленный лад – вредоносны. Таков приблизительный путь возникающей на базе данного слова оценочности.

В чем же советский характер рассматриваемого явления, в какой момент появляется соответствующий оценочный признак, следующий как таковой из всего представленного? Можно ли определять его как отделяющийся от общей семантики слова и отделяющий в ней или ей добавляющий нечто свое от себя? «Толковый словарь языка Совдепии» содержит такое определение: **«Болтун** 1. Тот, кто разглашает тайну, секретные сведения. ... *Болтун – находка для шпиона.* ... 2. Лаг. Лицо, находящееся под следствием или осужденное за «болтовню» (разглашение государственной тайны) или «контрреволюционную агитацию». Росси, т. 1, 36» [Мокиенко, Никитина 1998: 60].

Значение, объясняемое первым, внешне, а также согласно приводимому определению, не отличается от значения, которое в «Большом толковом словаре» [2000] дается вторым. Заметным и явным отличие будет в значении, приводимым как лагерное (т.е. жаргонное и ограниченное). Вывод, напрашивающийся сам собой, заключается в том, что советизированность в данном случае есть не что иное, как употребление общезыкового значения слова в контексте советского языка, тем более, что такое лексическое использование для него весьма характерно.

Представляет смысл, однако, задуматься над полнотой, точнее «советскостью», приведенного определения. Ничего типично и характерно советского в этом определении нет. Всякий ли ‘тот, кто разглашает тайну, секретные сведения’, должен считаться *болтуном* в советском смысле этого слова? Видимо, не совсем. Важно, какого характера эта тайна, что за секретные сведения им разглашаются и не менее важно, кому, при каких обстоятельствах. *Болтун*, таким образом, в первую очередь, нарушает имеющийся и установленный (гласно или негласно) порядок обмена и передачи той информации, которая, имея статус «секретная» или «служебная», сообщению лицам, не имеющим к этому разрешения или допуска, не подлежит. Можно и стоит заметить, что все это так или иначе имеет связь с разглашением тайны, тем самым, секретного знания, не подлежащих распространению сведений. Советскость рассматриваемого значения, как можно предположить, состоит в его отнесенности не столько к контекстам советского языка, сколько к самой, закрепленной в нем, связанности с картиной советской действительности, которая и определяет, в случае своего вхождения в семантическую структуру лексического значения (либо втягивания ее в себя), вид и степень советскости. Слова-советизмы, или слова советского языка, являются таковыми не в силу только употребления в нем (такое тоже имеет место, но эти словоупотребления советизмами не следует называть), а в силу нагруженности лексического своего значения, включения в его состав кон-

цептуальных и экзистенциальных признаков советской картины мира. Отсюда 1) необходимо ясное категориальное представление о ней таковой и 2) те или иные выведенные на этой основе категориальные признаки должны быть закрепленными компонентами лексического значения соответствующей единицы как единицы не только русского, но и советского языка. Так, к примеру, если *несун*, *летун*, *попрыгун* имели категориально-оценочным семантическим признаком отношение к **месту** (объекта или субъекта-лица), понимающемуся для них как им свойственное, надлежащее, не сменяемое по собственной воли и в связи с этим стабильное, место производственной деятельности (предприятие), то *болтун*, в советском своем значении, связывается с категориальным признаком отношение к **знанию**, интерпретируемому как сведения не к всеобщему распространению, статусные в своем отношении к системе и связанности с ней и потому охраняемые. Степень (уровни) этой статусности могут быть разными – от государственной тайны (болтовня-шпионаж) до высказывания своего отношения к советскому строю и социализму как общему делу (**opus finitum**), что и нашло свое отражение во втором приведенном значении *болтуна*, помеченным как специальное и лагерное (болтовня как враждебная агитация).

[Фрагмент статьи *Семантика негативно оценочных категорий при обозначении лиц в языке советской действительности. Статья 2.* W: Политическая лингвистика. Вып. 1 (24)' 2008. Гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург 2008, с. 72-85]

Степень советизированности единицы обуславливается нередко узуральными и темпоральными предпочтениями, степенью актуализированности к политическому моменту соответствующих, ей приписываемых или уже в ней имеющих, коннотативных значений. Следы таких состоявшихся предпочтений могут затем сохраняться, оставаться в ней и после деактуализации. Из выбранных к рассмотрению двенадцати слов на *-ун* порядки подобного узурального распределения можно было бы обозначить следующим образом:

1. Единицы первой, наибольшей степени советизированности: *несун*, *болтун*, *топтун* / *топотун*.

2. Единицы второй такой степени: *летун*, *крикун*, *говорун*.

3. Единицы третьей степени: *шептун*, *плясун*, *писун*, *пачкун*.

4. Единицы четвертой степени: *хрипун*, *попрыгун*.

Что реально влияет на эту степень, какие языковые признаки? Опущая все остальные возможные и подробно рассмотренные ранее как категориальные и имеющие отношение к парадигмосистеме, хотелось бы обратить внимание в данном месте еще на одну черту. Это степень оторванности, изолированного присутствия и восприятия в языковом сознании говорящего соответствующего оценочного значения слова совет-

ского языка в отношении значений того же слова, но общезыковых. Критерий подвижный и относительный. Влияют на него, во-первых, появление слова как новообразования советского языка (*несун*) и потому невозможность установления для него соответствующих корреляций с общезыковыми значениями. Во-вторых, развитие очень значительных, актуальных и в какой-то период времени весьма активных семантических и коннотативных признаков, делающих слово определяющим знаком-символом соответствующего этапа и связанной с ним политики (*болтун*). В-третьих, значительное лексическое смещение, возможно заимствование из не общенародного языка (диалект, жаргоны), и оттеснение общезыковых значений того же слова на периферию, вытеснение их с точки зрения активности и актуальности (*топтун* / *топотун* для устной формы советского языка). Что касается слов второй степени, то их соответствующие употребления характеризует незначительная степень смещенности общих значений, часто даже не воспринимаемая в своем доведении, ощущение советизированного значения в реализации, часто следующей из фразеологизованных сочетаний: *летать с одного места работы на другое – летун; кричать с трибуны, на митингах, на каждом углу – крикун; говорить вместо того, чтобы дело делать – говорун*. Единицы третьей степени характеризуются нередко специфической ограниченностью употребления, не общей распространенностью в языке советской действительности, особенностью и непритязательностью, возможно грубой, окраски, исключаящими их из форм официально публицистического использования как основного и наиболее характерного для советского языка: *плясун, тисун и пачкун*, характерные прежде всего для речи партийно-номенклатурных работников и сотрудников органов наблюдения, *шептун* – как очень резко окрашенное и потому ограниченное в своем использовании значение. Единицы четвертой степени могут быть охарактеризованы в целом как малоупотребительные в соответствующих советских значениях, требующие контекстов и ситуаций, возможно поэтому не очень воспринимаемые и распознаваемые как единицы советского языка: *хрипун* предполагает понятным из ситуации референтом какого-нибудь несветского духом барда, певца, поэта, вещающего из-за границы по радио диктора, эмигранта; *попрыгун* фигурирует как синоним слова *летун*, как его замещение, нередко при этом в общем контексте.

Рассматривая характер негативной оценки при обозначении человека в языке советской действительности с точки зрения составляющих эту оценку категориальных обоснований, стоит, по-видимому, также задуматься над тем, существует ли нечто общее, что объединяет все эти признаки, мотивируя определенным образом самую такую оценку. Это общее, если оно существует, должно быть связано с языковой советской картиной мира и отражать магистральную линию ее отношения к чело-

веку, к его позиции, месту внутри себя, фактически быть воплощением советского взгляда на человека, концепции человека как таковой. Отвлекаясь от всех возможных и не случайных в данном случае ассоциаций по поводу колесика-винтика общей системы, участия в общем процессе и деле строительства социализма как его составляющая необходимая часть, по поводу благонадежности и лояльности, готовности быть и служить, по поводу преданности и самоотдачи как требования, предъявляемого к каждому и отдельному представителю общества и коллектива, необходимо выявить признаки, которые отражаются в коннотативной семантике исследуемых единиц. Выявить мотивирующую основу категориальной системы оценки. Подобной основой, как позволил установить анализ отобранного для изучения материала, могло бы быть невхождение человека как единицы, лица в организуемое, собираемое, объявляемое советское целое, его несоветскость, несоответствие, по тому либо иному категориальному основанию (и это основа исследуемой категориальной парадигмосистемы), формируемому образу требуемого общественного коллектива. Признак этот можно было бы назвать **декорпоративностью**, поскольку предполагаемой и желательно-требуемой его противоположностью, как позитив, являлась бы корпоративность – вхождение и соответствие, согласованность с декларируемым общим – *opus finitum* как его достигаемая цель, организуемым для достижения этой цели состоянием общества (социального множества), объявляемыми к осуществлению действиями и процессами для достижения цели, определяемые как действия и процессы совместные, т.е. опять-таки корпоративные.

Декорпоративность как минус, ущерб, негатив в отношении человека, его неспособность или же нежелание быть заодно с направляемым к осуществлению поставленной цели общественным коллективом, имеет свои причины и основания, которые должны быть выявлены и обозначены. В этом и состоит смысл негативной оценки, и это же составляет основу ее дальнейшего категориального различия. Рассматриваемая негативная оценочность в отношении человека, в дальнейших ее различиях и уточнениях, становится способом дифференциации социального множества, используемого как инструмент и как средство для достижения политических целей, способом селективного, выборочного и сортирующего отношения к человеку. Важно определить и сказать, кто есть кто в отношении *opus finitum* и того, что с ним связано, что может влиять на его желаемое и направляемое осуществление.

В связи со сказанным выявляемые категориальные основания и их подзначения не могут быть безразличны к порядку и месту в системе, будучи отражением декорпоративности в той или иной позиции негативно оценивающего, отнюдь не случайным образом, взгляда. Однако прежде чем пробовать установить их места и порядок в системе, отношения

друг к другу и в общей связи, необходимо представить все категориальные основания, которые в ходе анализа оказалось возможным установить.

Таких оснований получилось семь. Четыре из них – отношение к месту, знанию, поведению, действию – при рассмотрении слов с суффиксом *-ун* себя проявили. Еще одно составило категориальный признак отношения к обладанию и два, несколько отстоящих в своей позиции к пяти остальным, были названы кумуляцией и презентцией. Прежде чем дать необходимую характеристику с определением каждого из семи оснований и установить их порядок в системе, представим их для начала в виде дифференцирующих признаков групп:

Место: *несун, летун, попрыгун, топтун / топотун, невозвращенец, нарушитель (границы), перебежчик, окруженец.*

Знание: *болтун, шпион, доносчик, переносчик (слухов), клеветник, сыщик, сексот, осведомитель, информатор, трансформатор, агитатор, фальсификатор, инсинуатор, просветитель, разглашатель, громкоговоритель, выдумщик, фантазер, прорицатель, пророк, догматик, вульгаризатор, эггон, начетчик, поугай, стукач, дятел.*

Поведение: *крикун, хрипун, плясун, писун, говорун, пьяница, прогульщик, подхалим, аллилуйщик, писака, авантюрист, делец, предприниматель, сочинитель, писатель, графоман, бумагомаратель, бюрократ, чиновник, чинуша, стилиста, перевертыш, последыш, позер, службист, аккуратист, политикан, обещалкин, пораженец, паникер, интеллигент, перестраховщик, волыжник, комплиментчик, жалебщик, нытик, шкурник, ловчила, ловкач, потребитель, антиобщественник.*

Действие: *шептун, пачкун, пасквилянт, наушник, бракодел, саботажник, авральщик, штурмовщик, срывщик, порубщик, лакировщик, полировщик, антисоветчик, диверсант, провокатор, халтурщик, предатель, зажимщик, прижимщик, критикан, очковтиратель, поклепщик, подговорщик, наговорщик, анекдотчик, мироед, кровосос, кровопийца, живодед, мародед, отравитель, поджигатель, вредитель, расхититель, соглашатель, вымогатель, членовредитель, хулиган.*

Обладание: *взяточник, мешочник, перекупщик, валютчик, фарцовщик, карманник, шабашник, рвач, хапуга, хищник, барышник, стяжатель, пенкосниматель, нэпман, фабрикант, спекулянт, барыга, куркуль.*

Кумуляция: *лишенец, лавочник, обыватель, мещанин, иждивенец, трутень, дармоед, паразит, буржуй, одиночник, подкулачник, хозяйчик, господчик, попутчик, алиментчик, церковник, частник, собственник, мелкий собственник, гебист, отщепенец.*

Презентация: *левак, кулак, беляк, дворянчик, купчик, оппортунист, военспец, пацифист, аппаратчик, комитетчик, диссидент, отказник, лабазник, наемник, подзаборник, сожигатель, служитель (культы), оппозиционер, бывший, примававшийся.*

Место в исследуемой системе рассматривается как отношение к некоторому пространству, локализация самого субъекта-лица либо объекта взаимодействия с ним со стороны субъекта, позиционное, точечное,

отмеченное в границах субъектного проявления. Место может определяться как важное или неважное при характеристике, влияя тем самым на соответствующие подзначения внутри данной группы: как территориальное советское целое, актуализированное к его пересечению (*нарушитель*) и оставлению (*невозвращенец*); как место производственного участия советского коллектива (*несун, летун, попрыгун*); как локус пространственного самовосприятия субъекта с представлением о нарушении, вторжении в него со стороны советского органа наблюдения (*топтун / топотун*) и т.п. Признаками места, тем самым, становятся а) способ пространственной реализации, восприятия, протяженность – территориальное целое, место-объект (помещение, территория), точка / точки пространства; б) наличие актуальных либо неактуальных границ с точки зрения возможного нарушения, пересечения, удаления; в) отмеченность либо неотмеченность присутствием либо участием на нем социальных множеств, других субъектов; г) единичность / множественность / безразличие актуальной проекции к территории, месту-объекту, точкам пространства (скажем, *несун, невозвращенец, перебежчик* для первого подзначения; *летун, попрыгун* для второго; *топтун / топотун* для третьего); д) отношение к аутоперцепции субъектного «я», восприятие / невосприятие места как своего / чужого.

Знания определяются как сведения, информация не общего характера, известные одним и не известные другим. Как укрываемые, не объявляемые, они становятся объектом установления, разглашения, передачи и слежки. Как не укрываемые – распространения, оповещения, пропаганды, искажения, преувеличения, обмана и лжи. В структурном своем отношении знания устроены подобно категории места, т.е. для них допустима возможность иметь позиционный характер, отмеченный границами проявлений субъектов (субъекта); быть важными или неважными в отношении содержания; представлять отношение к целому (государственная тайна, советская идеология, сведения, касающиеся всей страны), к какой-то части (сведения, касающиеся отрасли, местности, предприятия, коллектива, группы лиц); к отдельному субъекту-лицу. Для знания также существенным оказывается пересечение, нарушение границ в смысле закрытости, не общей известности, ограничения к распространению. Третий признак (отмеченность / неотмеченность присутствием либо участием субъектов для места) у знания получает вид, также исходно связанный с субъектной отмеченностью, но интерпретирующийся в аспекте способности / неспособности эти исходные знания, сведения правильно применить (*догматик, эпигон, вулгаризатор, начетчик, полугай*). Четвертый и пятый признаки (единичность / множественность и отношение к аутоперцепции «я») на уровне языковых значений для данной категориальной группы не актуальны, хотя способны себя проявить в речевой ситуации.

Поведение можно интерпретировать как свойство по проявлению, характеризующему субъекта и отличающему его от других. Свойство это воспринимается, во-первых, в отношении того, как ведет себя данный субъект, и, во-вторых, в отношении чего он себя так ведет. То есть, иными словами, какое несоответствие желаемому образу инкорпоративно-советского поведения и в отношении чего конкретно в советской действительности дает себя в нем обнаружить. В каждом отдельном случае отклонение от желаемого норматива к чему-то ведет, что-то за этим стоит и из этого может следовать. *Крикун* своими громкими выступлениями, намеренно или нет, дестабилизирует сложившийся status quo. *Хрипун* своим неприятным скрипучим голосом на самом деле не принимает советской действительности, не соглашается с ней, объективно – ее отрицает. *Плясун*, увлекаясь своим занятием, делает вид, что не замечает того, что должно занимать советского человека, уклоняясь, тем самым, от дела строительства социализма. *Писун*, обращаясь письменно с жалобами в инстанции, недоволен, поскольку видит кругом недостатки, концентрируется на них и отвлекает от настоящего дела. *Говорун* говорит много лишнего, чего не следует говорить, дезорганизуя, тем самым, и отвлекая. *Пьяница*, также как и плясун, является уклонистом: посвящая время и силы питью, выключает себя из общего дела, дезорганизуя к тому же других. *Прогульщик* отлынивает от дела и также дезорганизует. *Подхалим*, выслуживаясь перед начальством, стремится использовать свое незаслуженно получаемое таким образом положение не на пользу общему делу (тем самым, также и уходя от него), а в личных целях. *Аллилуйщик* излишними восхвалениями также дезорганизует и отвлекает от выполнения стоящих задач. *Писака*, как говорун, писун и плясун, много, возможно лишнего, возможно также, что увлеченно, пишет, вместо того чтобы, как все другие, работать и остальным не мешать. *Авантюрист*, прежде всего политический, дестабилизирует своим безответственным и лично заинтересованным поведением сложившуюся систему преемственности и отношений в руководящем звене. *Делец*, равно как и *предприниматель*, увлеченный собственными интересом и выгодой, в отношении общего дела строительства социализма, личных выгод не предполагающего, оказывается в лучшем случае лицом бесполезным. *Сочинитель*, *писатель*, как крайняя степень того же самого *графоман*, определяются в интересующем нас ключе в том отношении, что, занимаясь своим поглощающим их занятием, самодостаточны и автономны, воображая, что что-то там значат, а общее, выполняемое всеми дело их не касается и им для самореализации и самооценки не нужно: *Подумаешь, там какой-то писатель! Вот еще (тоже мне) сочинитель (создатель, изобретатель, первооткрыватель и пр.)!*

Поведение, таким образом, оценивается в отношении **замещения** и **выключения**. Замещения лицом-субъектом общей, корпоративной дея-

тельности, связанной с провозглашаемой финитной целью – строительством советского общества и социализма, с выключением себя из нее, деятельностью другого рода, как правило, субъективной и личной. То есть, тем самым, деятельностью значительно более низкого уровня и значения и, к тому же, как следствие, декорпоративной. Направления такой оценки связываются с дестабилизацией, неприятием (дезакцептацией), уклонением (дигрессией), нарушением в правильном действии и структуре (дезорганизацией) – советской действительности как таковой в ее целостности, сложившихся, свойственных ей, в том числе и общественных, отношений, характерных положений момента, руководящих органов, институтов и аппаратных структур, процессов функционирования и формирования в проекциях к видам и формам деятельности. Дополнительными, хотя существенными в отношении оценки, становятся для категории поведения такие признаки, как избыточность, интенсивность и неоправданность. Оцениваемое как негативное, кроме того, что связано с той или иной содержательной составляющей – дестабилизация, дезакцептация и т.п. действительности как целого, ее общественных отношений, руководящих органов, аппарата и пр., – может быть еще и усилено, проявлять себя чересчур активно, в избыточно-преувеличенной форме (*писун, писака, крикун, аллилуйщик, бумагомаратель, стилига, паникер, аккуратист, службист, нытик, ловчила*) либо с претензией, не соответствующей способностям или действительному положению вещей (*графоман, позер, комплиментчик, перестраховщик*).

Действие, по сравнению с поведением, более сильная составляющая рассматриваемой парадигмосистемы. В отличие от поведения, выступающего как характеристика свойства субъекта, себя тем или иным образом, вольно или невольно, намеренно или нет, проявляющего, действие представляет умышленный и сознательный вид агентивного проявления субъекта, как опосредованно, так и непосредственно направляемого им к совершению вреда. Вред этот может быть подрывным (субрутив) – *шептун, пачкун, пасквильянт, наушник, наговорщик, поклепчик, предатель, хулитель, соглашатель*; портящим (корруптив) с точки зрения искажения – *антисоветчик, анекдотчик, провокатор, халтурщик* или срыва – *бракодел, саботажник, авральщик, штурмовщик, срыващик, диверсант, растратчик, членовредитель*; ломающим, уничтожающим (деструктив) – *порубище, отравитель, поджигатель, вредитель*; скрывающим истинное положение вещей (обскуратив) – *лакировщик, полировщик, очковтиратель*; посягающим на достоинство, честное имя, добро и неприкосновенность (инвазив) – *мародер, живодер, миродер, кровосос, кровопийца, шантажист, вымогатель*. Вред может иметь в виду или быть прямо нацеленным на советский строй как целое, на отдельные его составляющие, корпоративную деятельность советского

общества в различных ее проявлениях, а также на благополучие, здоровье и жизнь советских людей.

Обладание связывается с незаконным или неодобряемым получением, присвоением, приобретением в собственность, прежде всего материальных, благ, представляющим собой результат используемой позиции – *взяточник, хапуга, пенкосниматель, нэпман, фабрикант*, деятельности, связываемой с обманом, перепродажей – *мешочник, перекупищик, фарцовщик, барышник*, нарушением законов – *валютчик, шабашник*, воровством – *карманник*, обусловленный свойством лица-субъекта – *рвач, хищник, стяжатель, барыга, куркуль*. Смысл негативной оценки концентрируется вокруг посессивности декорпоративного типа, в ущерб и за счет других, в том числе и в первую очередь советского общества и его членов. Отсюда намеренно социализируемый и потому в итоге своем связываемый с финитной деструкцией (для *opus finitum*) характер, приписываемый категории обладания. Тот, цель которого обладать и присваивать, вместо того чтобы участвовать в общем деле строительства социализма, отступает от корпоративного принципа вхождения в организуемое социальное целое и партиципации в нем, направленной на достижение общей цели. Отсюда три получившихся и взаимосвязанных подзначения, как субъективных препятствия к необходимому состоянию – изначальное свойство субъекта, его деятельность и позиция, которую он, занимая, использует не во благо общему делу, а ему вопреки. Обладание, тем самым, становится своего рода обратным отображением, отрицанием предлагаемой позитивной модели советской действительности, воплощаемой в общественной деятельности, и положения субъекта в ней, затрагивая ее входящие составляющие – квалитатив, узитатив и ситуатив.

Два оставшихся категориальных признака находятся в отношениях взаимной соотнесенности. Как концентрирующий, вбирающий в себя, заряженный антиобщественный декорпоративный, враждебно настроенный (возможно, потенциально) элемент – кумуляция. И как элемент, подобным же образом себя проявляющий, но центробежный, и потому направленный из себя, не внутрь и не внутри себя. Признак, в большей мере связываемый, в отличие от предыдущего, не столько со свойством и психологией, сколько с позицией, отнесенностью, и потому называемый презентцией в отношении оцениваемого субъекта-лица. В этом последнем случае лицо определяется не как носитель чуждой и декорпоративной в советском значении и понимании общественной психологии и социальных идей (кумуляция), а как представитель чуждой социализированной структуры, как презентивный, а не кумулятивный ее элемент. Структура эта может восприниматься как то, что находится вне или существовало до созидаемой советской социальной структуры, равно как и то, что внутри нее представляет собой ее отрицание, неприятие и ан-

тиструктуру – организованную, воображаемую или индивидуальную (неучастия, невхождения, противопоставления себя ей).

В отношении кумуляции это могут быть исключенный из структуры советского корпоратива и потому потенциально опасный как затаившийся враг – *лишинец, буржуй, подкулачник* (с точки зрения институтива), *гебист* (с точки зрения ингрессива), носитель декорпоративной общественной психологии в силу каких-либо социальных – *лавочник, обыватель, мещанин, единоличник, хозяйчик, господчик, церковник, частник, собственник, мелкий собственник*, либо индивидуальных причин – *иждивенец, трутень, дармоед, паразит*, отколовшийся, уклоняющийся, колеблющийся, сам себя исключивший, не (до конца) признающий советских принципов и общественных норм – *попутчик, алиментчик, отщепенец*.

В отношении презенции значения подразделяются следующим образом: представитель внешнего несвоего, несветского, открытый и явный – *беляк, дворянчик, купчик, лабазник, наемник*, скрытый, неявный – *военспец, пацифист, служитель (культы)*, представитель внутреннего несвоего, несветского, открытый и явный – *кулак, оппортунист, диссидент, отказник, оппозиционер* (с точки зрения институтива), *аппаратчик, комитетчик* (с точки зрения ингрессива), скрытый, неявный – *левак, бывший, примазавшийся, подзаборник, сожигатель*.

Семь представленных категориальных значений отображают устройство парадигмосистемы советизированного языка, которая действует как основа для соответствующего производства и восприятия смыслов, т.е. как его генеративная и перцептивная база. Семь этих значений связаны отношениями, позволяющими, с одной стороны, определять их в системном единстве, с другой, – устанавливать группы и виды взаимных соположений, с дальнейшими уточнениями в подгруппах и подзначениях. Семь значений, как следует из их рассмотрения, имеют три объединяющих их основания, по которым они могут быть объединены соответственно месту в общей системе.

Позитивы, как было сказано, могут являть собою иную парадигматическую картину.

Парадигматико-категориальное представление позитивов: принципы последовательно-системного описания.

[Фрагмент статьи *Семантика советского позитива в контексте продуцируемого представления действительности (на материале обозначения лиц)*. // Политическая лингвистика. Вып. 3 (26) 2008. Гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург 2008, с. 110-127.]

С точки зрения языкового материала, в наблюдаемом и явном своем проявлении – лексического и фразеологического, язык советской эпохи,

советский язык-новояз и язык советской действительности в какой-то части имели бы общий состав единиц (язык эпохи и язык действительности в первую очередь). Общий состав в отношении вида и формы, но далеко не всегда это были бы те же самые их значения, контексты, конструкции, формы употребления. Смысловое и функциональное отличие этих внешне, по форме своей, совпадающих единиц (насколько их стоит определять как тождественные себе, вопрос не такой простой, как может на первый взгляд показаться), это отличие следовало бы из природы, т.е. парадигматики и синтагматики каждого из трех проявлений «советского» языка. Попробуем показать это, неполно и приблизительно, на каком-то примере (трактовка при этом, без представления целого, может быть далеко не единственной).

Стахановец как лексему языка советского времени можно было бы определить примерно следующим образом: передовой рабочий-ударник, работающий с превышением существующих производственных норм.

Как лексему языка пропаганды – тот, кто самоотверженно и бескорыстно, во имя общего блага, отдавая всего себя, трудится на производстве, являясь примером настоящего советского отношения к работе и обществу, значительно перевыполняя обычные нормы.

И, наконец, как лексему языка советской действительности: тот, кто своим выделяющимся на фоне других отношением, работая с превышением существующих производственных норм, способствует укреплению советского строя, возможности проведения политики государства и партии в массы, являясь пропагандистским примером для подражания.

Небезынтересно в указанном отношении было бы сопоставить определения, даваемые слову по словарям. Возьмем для этого дефиниции из словаря под ред. Д.Н. Ушакова (ТСУ, 1940 г.), Словаря русского языка в 4-х томах (МАС, 1984 г.), Большого толкового словаря, гл. ред. С.А. Кузнецов (БТС, 2000 г.).

Стах`ановец, *вца, м. (нов.)*. Работник социалистической эпохи, к-рый в социалистическом соревновании добивается наивысшей производительности труда, наилучшего использования техники и превышения производственных планов путем преодоления старых технических норм и существующих проектных мощностей. ...*Стахановцы являются новаторами в нашей промышленности... Сталин. Стахановцы тяжелой промышленности. Стахановцы социалистических полей.* [По имени Алексея Стаханова, забойщика шахты «Центральная – Ирмино» в Донбассе, начавшего в 1935 году борьбу за высокие показатели социалистического труда.] (ТСУ)

Стах`ановец, *-вца, м.* Передовой рабочий, творчески овладевший средствами новой техники и достигающий в социалистическом соревновании значительного превышения норм выработки (название, распространенное в Советском Союзе в 30-40 гг.). *Стахановцы наглядно показывают нам, что любой человек может быть артистом в своем деле.* М. Горький, О новом человеке. [По имени донецкого шахтера А. Стаханова] (МАС)

Стахановец, -вца, м. 1. Передовик, много и плодотворно работающий человек, превышающий обычные нормы выработки (было распространено в СССР в 30-70-е гг.; по имени донецкого шахтёра А. Стаханова). *Он у нас настоящий с. 2. Ирон.* О человеке, работающем с целью, чтобы его заметили. *Стахановцем хочешь быть? Эй, с., кончай работу!* (БТС)

Сравнение первых двух, дефиниций советского времени, в его начале, в связи с появлением слова (1940 г.), и в конце (1984 г.) дает представление прежде всего о временной перспективе. Воздействующий, воспитательно-дидактический, характер лексемы заметен в обоих случаях. В ТСУ основное внимание уделяется идее нового, характерного для советской эпохи, социалистического отношения к труду как соревнованию, предполагающему необходимость стремления к максимально возможному (и невозможному, но не для советского человека *implicite*), преодолевая существующие *старые* технические нормы и мощности (наследуемые от не советских спецов!). Раскрывается смысл триады желаемого достижения (с использованием суперлативов) – наивысшая производительность труда, наилучшее использование техники, превышение производственных планов. Определение имеет, тем самым, характер вводящий, нацеливающий (заряжающий, мобилизующий) и разъясняющий. Смысл явления, характерного исключительно для новой, советской, эпохи, и такого же нового, социалистического, отношения к труду, имеет целью служить примером и руководством к действию. Приводимые иллюстрации подчеркивают идею новаторства, связываясь с задачами индустриализации, подсказывая необходимость новаторского подхода и применения новых методов с превышением существующих норм не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Подробно, с ближайшей смысловой перспективы, дается фигура инициатора, фамилия которого послужила мотивирующей основой слова. МАС, в контексте иных идейных задач, обращает внимание на передовый и творческий характер подхода к средствам новой техники, оставляя актуальность социалистического соревнования и необходимость значительного превышения норм, но ограничивая описываемый пример такого подхода сферой промышленности (словами *рабочий*, *выработка* в определении) и временем (в 30-40 гг.). Толкование в результате приобретает характер обобщенного позитивного опыта – некогда было так-то и так-то, и из этого стоит извлечь для себя актуальные представления и выводы, приспособив их и переосмыслив для современных задач. В отличие от дефиниции в ТСУ, определение слова в МАС в его воздействующей направленности можно было бы охарактеризовать как обобщающее и прагматическое.

БТС устраняет из определения советскую идеологическую направленность, оставляя, однако, идею советского позитива (неотъемлемо свойственного данному слову) – *передовик*, переводя его в обобщенное

представление *человека, много и плодотворно работающего*, но не минуя при этом советской привязанности – *превышающий обычные нормы выработки*. Время распространения слова, по сравнению с МАС, получает, на первый взгляд неожиданное, расширение – 30–70-е гг. Меняется перспектива, теперь постсоветского, восприятия слова, и раздвигаются неизбежно границы того представления, которое связывается с его использованием. В этом, видимо, состоит некий весьма интересный феномен. В 70–80-е гг. *стахановец* воспринимается как историзм, советского времени 30–40 гг., когда это слово и связанное с ним явление возникли, были вызваны к жизни, активны и актуальны и, что не случайно, имели, по-видимому, иной, более узкий и приближенный к представляемой пропагандой действительности характер и смысл. В 90-е и последующие за ними годы *стахановец* также воспринимается как историзм, но советского времени как такового, без отнесения только к началу (в 30–40-х гг.). Поэтому не в активной и актуальной, а в обобщенной и соответствующим образом позитивно заряженной семантической форме, типично советского (чтобы не сказать пропагандистского) позитива, на почве которого возникает значение ироническое, определяемое как второе – *о человеке, работающем с целью, чтобы его заметили*. Можно было бы с известной долей предположения сказать, что *стахановец* 30–40-х и *стахановец* 80-х гг., с точки зрения, но не языка советской эпохи, а языка советской действительности, не одно и то же. В последующие за 80-ми годы слово воспринимается в этом последующем, а не первоначальном своем значении.

Попробуем данное положение объяснить. Поможет в этом, как это ни странно, может быть, прозвучит, определяемое нами ранее третье – советский язык-новояз, язык советского официоза и пропаганды, своими воздействующими, эксплицитными и имплицитными, сторонами присутствующий, далеко не всегда и только навязчиво себя проявляющий, но в желаемом направлении, когда он есть, заряжающий определение семантики слова. Язык этот (узуальная форма языка советской эпохи) устанавливает, каждый раз актуализируемый, привязываемый к актуальному времени, характер соотношения языка советского эпохи (описываемого, как правило, по словарям советского времени) к продуцируемой, а потому и меняющейся в задаваемом представлении, советской действительности. Продуцируемое им (хотя далеко не обязательно только им, этим языком, но им в соответствующем направлении, а потому и наиболее явно и полно, определяемое), продуцируемое им или только им отображаемое представление, образ советской действительности 30–40-х и 70–80-х гг. был, естественно, разным. Для него это было пропагандистское представление и пропагандистский образ, существовавшие наряду с другими, в словарях советского времени также отображаемыми. Однако, поскольку мы связаны условиями разбираемого слова, ори-

ентирующее системоценностное присутствие языка пропаганды в нем, несомненно, есть.

В контексте сказанного *стахановец* 30–40-х гг. предстает как тот, кто являет собой образец воплощения в человеке нового, социалистического, отношения к труду. Не как к вынужденной условиями существования необходимости, как это было раньше (материальное обеспечение, обогащение, реализация жизненных планов, удовлетворение личных амбиций и пр.), а как к средству наиболее полного и скорейшего достижения обществом поставленных перед ним задач преобразования (продуцирования советской) действительности (определяемых как социалистическое строительство). В связи с чем такой человек, работающий на производстве, должен и будет стремиться к тому, чтобы максимально производительно и с полной отдачей использовать собственные физические, умственные, профессиональные (новаторство) ресурсы, равно как и объективные, внешние – технику, нормативы, выжимая из них все возможное и невозможное (для большевиков невозможного нет) во имя скорейшего достижения поставленных партией и государством задач. *Стахановец* этого времени, тем самым, в себе проявляет идею внутренней свойственности, продолжения, отображения в человеческом материале советской, устанавливаемой как общее социальное дело, в его поступательном, продуцируемом развитии, системы, в контексте ее укрепления, обеспечения в смысле постоянно наращиваемого, увеличивающегося, нормы-числа производства (по принципу $n + 1$, где n представляет число, каждый раз на какую-то единицу растущее). В отношении к продуцируемой советской действительности, к ее продуцированию, *стахановец* этого времени, следовательно, оказывается в его актуальном центре (времени советской действительности 30–40-х гг.), семантически отображая ведущую формулу отношения пропаганды (явно – в ее интенциональной, не слишком явно – в прокламационной части) к человеку как средству и материалу поставленных обществу производственных, значительно превышающих его ресурсы и силы, заданий.

Стахановец 70–80-х гг. предстает по-другому. Актуальность отличающего его от прежнего отношения к работе снимается. Снимается также, утрачивая свою прежнюю значимость, идея преобразующего и постоянно наращиваемого усилия в отношении достижения желанного образа советской действительности (социалистическое строительство, человек для которого – средство и материал). Остается поощряемый, одобряемый, положительный образ-типаж передового, ответственного, творчески подходящего к поручаемому делу советского человека, участника производства, благодаря умению, профессиональным навыкам и труду которого производственный коллектив достигает в социалистическом соревновании значительных показателей. Системоценностное мобилизующее напряжение *стахановца* 30–40-х гг. из императива и образ-

ца для настойчиво прокламируемого подражания переходит в плоскость этического и личностного, не столько необходимого для строительства социализма, как раньше, сколько желательного, связанного с внутренними возможностями и выбором, а потому образца, в известной мере высокого и исключительного, не для всех и далеко не всегда потому достижимого. *Стахановец* времени 70–80-х гг. отображает идею отмеченной знаковости, приобретая признаки символьного, а потому обобщенного и отвлеченного, не в полной мере реального воплощения. На основе чего развивается отношение отстраненности и сомнительности, которое, вступая в соединение с эмпирическим знанием действительности советского производства, приводит к представлению о вполне допустимой и вероятной фальши, неискренности внутренних побуждений, о демонстративности такого субъекта, желании привлечь к себе, своей работе внимание начальства и получить таким образом от него поощрение (2-е значение БТС).

Общим, объединяющим смыслом того и другого значения было бы, таким образом, представление об исключительности, выделенности данного человека на фоне других. *Стахановец*, прежде всего, привлекает к себе внимание – начальства, коллег, своим исключительным, повышено-энергетическим отношением к производимой работе, предполагающим выжимание из себя и всего, в производстве используемого, до последней возможности ради реализации каких-то собственных, возможно небескорыстных, но в каждом случае демонстративных, затей. И именно тут возникают различия и характерные, по-видимому, для позднего восприятия значения слова, сомнения. Ради чего им это делается, какова подоплека подобного поведения?

В 30–40-е годы, определяясь как бескорыстное, характерное для новой, советской эпохи, такое его отношение к работе мотивировалось и пропагандировалось как вызванное порывом, энтузиазмом ударников очередных пятилеток, стремлением больше работать, с тем чтобы больше производить. Страна, в представлении средств пропаганды, во многом также и в массовом восприятии, была на подъеме, в невиданном по внутренней силе и мощи рывке.

В 70–80-е годы идея мобилизующегося на скорейшее строительство социализма, как желаемой и достижимой цели, энтузиазма-подъема ударников не проходила. Ударничество, в условиях развитого социализма, по объективным и по субъективным причинам, должно было получить какое-то новое объяснение. Творческого, не рутинного отношения к своему труду, результатом, возможно отчасти и целью, которого было бы достижение коллективом, в котором такой ударник работает, т.е. своим для него коллективом, значительных показателей, лучших и больших по сравнению и на фоне других (социалистическое соревнование). И, что из этого следовало, для него, своего коллектива, определен-

ных выгод и поощрений, премий, наград, благодарностей, благосклонного отношения со стороны партийно-советского руководства, что определялось понятием *быть на хорошем счету у начальства*, со всем из этого вытекающим. В условиях общего кризиса коллективизма и разлагающего влияния (в представлении средств пропаганды) индивидуалистской морали (чему отчасти и противопоставлялось как средство преодоления извлекавшаяся из фанфарного времени первых социалистических пятилеток идея ударничества, с чем связывается упор на этическую ее составляющую) подобное представление должно было порождать и, естественно, порождало не только коллективистскую (значение в МАС и 1-е в БТС), идущую от пропаганды, но и индивидуалистскую форму интерпретации (2-е значение в БТС), существовавшее, но не отражавшееся в словарях советского времени.

Значения слова 30–40-х и 70–80-х годов, таким образом, можно было бы представлять как разные, вводимые, переводимые, акцентируемые, грани чего-то общего, какого-то общего представления, заложенного в семантике, трудно сказать чего – желаемого отношения человека к своей производственной деятельности, как агента-производителя и продукта одновременно советской действительности, не в реальном ее, а представляемом, опосредуемом средствами интерпретации (не только и не исключительно пропаганды), виде. Агентно-продуктное это отношение к продуцируемому представлению действительности в *стахановце* выражалось бы как такое, которое предполагает причастность, внутреннюю свойственность его (как агента силы и одновременного, движущего, ее результата) этой самой действительности, процессу ее продуцирования, по показателям, семантическим признакам наращивания, количественного роста, увеличения массы числа, превышающего обычное среднее, норму. Значение это можно было бы воспринимать как значение того «языка», который определялся нами как язык советской действительности.

Язык советского времени имеет свою позицию в подобном образом представляемой семантике. Человек, поскольку объектом описания в данном случае является он, определяется в отношении к обществу и ко времени – советскому обществу и советскому времени, соответственно. Определяясь как представитель советского общества и советского времени, *стахановец* был бы тем, кто в условиях, порождаемых временем, применял особенные, превышающие обычные формы и методы производства, демонстрируя этим необходимость не стандартного отношения к процессу и результатам труда.

Значения советского языка пропаганды поворачивали бы, акцентировали в каких-то своих частях совпадающий, пересекающийся и общий смысл в ту сторону, которая тяготеет к представлениям *ударник* и *передовик*, т.е. идейно, морально и производственно лучший, максимально

использующий имеющиеся возможности, показывающий пример, мобилирующий остальных, ведущий их за собой к достижению общей цели. Акцентировались, подчеркивались, эксплуатировались бы признаки, связанные а) с идейно-коммунистической сознательностью (бескорыстие, преданность делу, ради общего блага и достижения цели, не ради себя); б) с максимальностью наилучшего из возможного, наивысшей степени, оптимального проявления; в) образцовостью мобилизующей силы примера, способного своим действием на массы, на окружение заражать, заряжать, поднимать и г) с устремленностью к цели (скорейшее построение социализма в СССР). И ср.: агент-продукт причастного отношения к советской действительности по показателю растущего увеличения производимой им массы-числа. Или – производитель, по собственным либо не собственным, вызванным социальным временем (политическим временем), побуждениям и причинам, демонстрирующий большее, чем среднее и необходимое, достижение своих производственных результатов. Характерные то и другое для языка советской действительности и языка советской эпохи.

Рассматриваемые три формы советского русского языка, таким образом, имеют свои позиции, свои акценты и повороты в интерпретации и мотивации включаемых, осваиваемых, перерабатываемых или вновь вводимых и создаваемых, лексических форм и значений. Условно, поскольку крупно и обобщенно, эти позиции можно было бы охарактеризовать как опытно-ментальную – носителя советского опыта и советской ментальности, в отношении языка советской действительности; как социально-темпоральную – в отношении к общественному времени и состоянию советской действительности, для языка советской эпохи и как когнитивно-воздействующую – для языка официоза и пропаганды.

Вполне естественно, что для советского времени и языка периода актуального существования советской действительности, в условиях регулярного, не сходящего с экранов, страниц газет и других источников информации, неизменно звучащего и видимого повсюду, действия и воздействия официоза, различение и разграничение в единицах семантики, тем более в случае формально единых и общих, признаков, организуемых комбинаций каждого из трех языков, – такое разграничение в советское время было бы, как представляется, и затруднительным и малорезультативным. Необходимость и важность, поучительность (можно бы было сказать), равно как и более вероятная осуществимость такого разграничения появляется, видимо, после, т.е. во времени последействия и послевоздействия. Когда язык советского официоза и пропаганды неизбежно уходит со сцены, переставая активно воздействовать и влиять, язык советского времени перемещает что-то в себе значительное в пассив, преобразуясь в какой-то новый, другой язык, язык последующей,

наступившей эпохи. И когда, наконец, язык советской действительности также что-то начинает в себе менять, как-то преобразовываться и переходить (а может, и нет), приобретая какие-то новые, очередные формы. Сказать, какие формы он начинает приобретать, во что превращаться, и уходить ли, и насколько и в чем, если все-таки уходить, – на эти вопросы можно было бы более или менее определенно ответить, после того как его, язык этот, обстоятельно изучить, представив в его специфике и вероятном отличии от двух других, несомненно уходящих, советского состояния действительности и советского времени, языков.

Определения словарей, далеко не случайно поэтому, но часто вслед за ощущением меняющегося состояния времени и проживаемой советской действительности, а также под действием воздействующего и вездесущего официоза, представляют значения интересующих нас лексем (впрочем, не только их) в смешении, соединении и различных по своему образу и характеру соотношениях признаков всех трех форм советского языка, хотя, при этом, и на какой-то общей, объединяющей их основе. Тенденция, действующая по своей неизменной инерции и в лексикографической практике последующего периода.

Если еще раз сравнить приведенные ранее определения из трех словарей (см. последующие абзацы в квадратных скобках), можно заметить следующее. В ТСУ от языка пропаганды-официоза эксплицитно представлен признак максимальности наилучшего (три других – сознательность, образцовость, цель – присутствуют как имплицитные). От языка советской действительности – признак причастности отношения (два раза слово *социалистический* и *соревнование*), агента-продукта (*работник эпохи*) и в меньшей, не акцентируемой степени признак растущего увеличения производимой массы-числа (во второй части определения). От языка советского времени – признак производителя социального времени (причины и побуждения не акцентированы, имплицитны либо опущены), признак демонстрирования (но не демонстративности) – *добывается, наивысшей, наилучшего, превышения* – и признак большего, чем среднее, достижения. Две последних формы, по-разному сочетаясь в своих характерных признаках, таким образом, почти полностью находят свое отражение в определении ТСУ. Признаки языка пропаганды подчеркнута, акцентированно представлены только одним, остальные воспринимаются как неявно присутствующие, т.е. имплицитные.

[ТСУ: Работник социалистической эпохи, к-рый в социалистическом соревновании добывается наивысшей производительности труда, наилучшего использования техники и превышения производственных планов путем преодоления старых технических норм и существующих проектных мощностей.]

В определении МАС от языка пропаганды имплицитно использован только признак идейной сознательности, следующий из восприятия слов (фон социальных знаний) *передовой* (в отношении к *рабочий*), *творче-*

ски овладевший; три других – максимальность наилучшего, образцовость мобилизующей силы примера, устремленность к цели – практически в нем не задействованы. От языка советской действительности можно заметить причастность (*в социалистическом соревновании, овладение средствами новой техники*) и увеличение производимого (но не растущего – достижение *значительного превышения норм выработки*). От языка советского времени – производитель (*рабочий, выработка*), предполагаемые побуждения и причины, следующие из социальных знаний (снова *передовой*), социальная (политическая) актуальность времени (*творчески овладеть средствами новой техники*), демонстрирование (*достигающий, значительного*) и большее, чем среднее, достижение результатов (*превышения норм*). Определение МАС, таким образом, в большей мере, чем ТСУ, тяготеет к признакам языка советского времени, чем советской действительности, и еще в меньшей степени отображают язык пропаганды.

[МАС: Передовой рабочий, творчески овладевший средствами новой техники и достигающий в социалистическом соревновании значительного превышения норм выработки.]

В определении БТС идея сознательности и образцовости (из языка пропаганды) может быть связываема только со словом *передовик*, неизменно в себе содержащим советские коннотации. В контексте уже не советского восприятия слово это может быть также привязано к проявлению признаков причастного (теперь некогда) отношения к советской действительности либо вызванных социальным (политическим) временем побуждений-причин (не следует забывать, что толкуется слово советского языка, советизм, и это подчеркивается – в СССР в 30–70-е гг.). Остальное в определении (за исключением лишенных советскости *много и плодотворно работающий человек*), с учетом 2-го значения, представляется более обоснованным связать скорее с признаками языка советского времени, чем языка советской действительности, определив их в отношении (опять же *передовик, превышать, обычные нормы выработки*) демонстративности, большего, чем среднее и необходимое, достижение производственных результатов. Из чего следует, что БТС отражает в представленном определении признаки языка советского времени, а из этого, только как неизбежное проявление-следствие, некоторые типичные, наиболее важные признаки языка советской действительности и языка пропаганды, сочетающиеся у них с языком советского времени, совмещающимися в общих, используемых в определении, словах.

[БТС: 1. Передовик, много и плодотворно работающий человек, превышающий обычные нормы выработки 2. Ирон. О человеке, работающем с целью, чтобы его заметили.]

Показательно, что в других, постсоветского времени, словарях можно увидеть такое же предпочтение. Лексема *стахановец* определяется в них скорее как единица языка советской эпохи, чем языка советской действительности, что вполне объяснимо и не случайно. «Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой дает такое определение: **стаха́новец** м. 1. Тот, кто добился высокой производительности труда (в СССР в 30–40-х годах). Задействуются признаки производителя и большего, чем среднее, достижение результатов. Всё остальное либо отсутствует, либо может быть выведено как имплицитное, на основе советского знания о труде, отношении к труду, идее высокой производительности. «Толковый словарь языка Совдепии» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной, намеренно обращенный к советскому представлению, определяет *стахановца* словами ‘передовой рабочий, ударник’, в которых можно увидеть признаки, сближающие его с определением в МАС: производитель (*рабочий*), предполагаемые побуждения и причины (*передовой*), в контексте послесоветского восприятия – демонстративность (*ударник*). В последнем слове возможно также определение идеи сознательности, максимальности, образцовости, причастного отношения, следующих из социальных знаний, однако, как представляется, все же на фоне и в соединении с признаками языка советской эпохи.

Интересно отображение слова *стахановец* в сленговом употреблении конца советского и уже не советского времени, дающее представление о признаках, закреплённых в его значении как остающиеся (отстоявшиеся), и потому существенные, если не основные, вершинные, для восприятия. Сошлемся на материалы 1980–1990-х гг. «Словаря русского арго» В.С. Елистратова: **Стаха́нов**, -а, **стаха́новец**, -вца, м. (или **горбатьи́й** ~). Активный человек, ведущий большую работу; энтузиаст. *Что я тебе, горбатьи́й стахановец, что ли, в магазин переть! Вот и работай, если Стаханов.* Данное определение в его составляющих, едва ли не полностью, можно было бы отнести к группе признаков языка советского времени: производитель (отсюда *активный*), демонстрирующий, проявляющий большее, чем у других (*активный, большую работу*), достижение (рвение), выделяющийся этим на фоне других, по сравнению с ними (*энтузиаст*). Ведущий для данного слова признак языка советской действительности – причастное отношение к ней, равно как и показатель растущего увеличения производимого, оказываются нейтрализованными. Признаки языка пропаганды (сознательность, преданность делу, максимальность, образцовость примера – *активный, большая работа, энтузиаст*) воспринимаются как перевернутое их переосмысление, в издёвке, иронии, и на основе прежнего знания, отстраненного в социальном времени, особенностей этого языка.

Слова словарных определений, используемые для описания значений, как можно было заметить по ходу нашего рассуждения, могут быть

отнесены, а тем самым, и содержать в себе признаки, в равной степени как языка советского времени, так и языка советской действительности или языка пропаганды. И это естественно, поскольку толкуемые ими слова также могут быть единицами одного, другого и третьего. Одновременно трех, при этом каких-то двух или какого-то одного в предпочтительной степени, двух каких-то из трех, и также не обязательно равным образом, предпочтительно одного из трех либо, в конечном счете, ни одного, что будет предполагать, что данное слово не обладает признаками, делающими его советским. Поскольку слова толкования слов по существу такие же, как и определяемые ими, лексические единицы, воспринимаемые и нередко используемые из общего фонда советизированного русского языка, языка советского времени, они обладают общими, объединяющими их с толкуемыми, смысловыми, ассоциативными и коннотативными характеристиками. Для различения трех, наделенных советскостью, языков поэтому, равно как и для представления отнесенности слова (набора, списка слов) к одному из них, к двум или ко всем трем, потребуются такой анализ и такая его процедура, которые, как в принятых для семантических языков описания правил [Жолковский, Леонтьева, Мартемьянов 1961]; [Мартемьянов 1964]; [Апресян 1966; 1969]; [Жолковский, Мельчук 1969]; [Мартынов 1977], предполагают воспринимать используемые при определении слова как семантические маркеры, показатели, признаки, кванты смысла, а не как слова, т.е. лексические единицы нормального языка. Набор таких маркеров смысла при этом должен быть ограничен, четко охарактеризован, вписан в систему соотношений и показан в своем дефинитивном действии. Иными словами, предполагать разработку парадигматики и синтагматики описываемой предметно-понятийной области как систему и как процедуру в их порождающем и объясняющем проявлении. Однако прежде чем перейти к представлению подобной системы и процедуры, целью которого было бы описание языка советской действительности как вербализируемого, т.е. передаваемого словами, способа восприятия мира и человека, стоило бы коснуться еще одной важной проблемы. Решать ее в более или менее полном объеме и даже наметить достаточно основательно невозможно в рамках статьи, к тому же такое решение видится как перспектива, себя открывающая после определения видимых контуров предполагаемой системы, однако поставить проблему, о ней заявить, следовало бы уже в самом начале. Речь идет о границах, объеме, видах и типах советскости в языке, советского заряжения, индуцирования единиц языка и, как следствие, самого языка.

Попробуем показать отдельные стороны этой проблемы еще на одном примере. Возьмем для этого слово иного рода, не воспринимаемое как слово советского языка, не определяемое как советизм, внешне с советскостью вроде никак не связанное, но между тем появившееся,

возникшее и получившее широкое распространение в советское время. В определенный период советского времени бывшее воплощением советского позитива – человека мужественного и устремленного, уверенного в себе, в своих силах, надежного, крепкого, твердого, героя, романтика, труженика и открывателя, покорителя и опору страны, обеспечение ее оборонной и народнохозяйственной мощи. Речь идет об отважном советском покорителе воздуха и надежных крыльях Родины, иными словами, о *летчике*.

На примере этого слова как раз и можно будет увидеть и показать интересующее нас отличие слова и того, кого или что оно означает. Слово *летчик* не советизм, в том числе и не семантический советизм типа *болтун*, *беседа*, *вожак*, *пионер*, т.е. вряд ли та единица, которую можно было бы определять как лексему языка советской действительности, языка советской эпохи или языка пропаганды. Другое дело, что и как она в языке советского времени обозначает, с чем, с какими сторонами советского восприятия, в интересующем нас случае советского позитива, связана, какие, определяющего для него значения, признаки, стороны выражает, способна передавать. Иными словами, здесь мы подходим к тому, что семантика советского представления о мире, советское продуцирующее отношение к действительности, равно как и созданное (создаваемое, продуцирующее себя) представление действительности, субъективный и массовый образ ее, в своем устройстве и своих механизмах, существует как нечто само в себе, в словах языка себя воплощая и отображая, заряжая собою слова, подчиняя их и затем, как следствие, подчиняясь им, организуясь и утверждаясь ими. Процесс, тем самым, осуществляется в обе стороны – от желаемого представления действительности к языку и от языка к представлению действительности. Причем таким, видимо, образом, что организация, заряджение и обустройство того и другого происходят по принципу взаимного уточнения и дополнения, сообщающимся и взаимно перетекающим, одновременным образом. Природу и философский смысл семантического насыщения и оформления единиц сознания и единиц языка оставим, однако, без дальнейшего в них погружения. Этим их соотношением важно было лишь подчеркнуть их внутренне обособленный и одновременно взаимно зависимый, сопологаемый и дополняющий друг друга характер. Для того, чтобы можно было исследовать и описывать семантику языка советской действительности, не искажая способности видения и адекватности выявления единиц и свойств интересующего объекта, по крайней мере на первом этапе, явлениями и законами собственно языка, законами единиц его лексического наполнения, развития и состава.

Толковые словари как советского, так и постсоветского времени не содержат в своих дефинициях никаких указаний, которые могли бы давать возможность предположить хоть какую-нибудь идеологическую

нагруженность семантики разбираемого слова. Отдельные признаки ее можно почувствовать, при условии знания ассоциативного и социального фондов, лишь в иллюстрациях. **Лётчик**, а, м. (авиаци.). Лицо, самостоятельно совершающее полеты на аэроплане и управляющее им. *Школа летчиков*. (ТСУ) **Лётчик**, -а, м. Водитель самолета. *Военный летчик. Морской летчик. Летчик-испытатель*. □ *Летчик должен знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы так же, как хороший моряк знает свойства воды*. Каверин, Два капитана. (МАС) **Лётчик**, -а; м. Специалист, умеющий управлять каким-л. летательным аппаратом (обычно самолётом, вертолётom). *Военный л. Лётчик-испытатель. Л. поднял в воздух самолёт. Опытный л. Учиться на лётчика*. (БТС)

Динамика развития представления о летчике, отраженная в трех различных по времени словарях, связывается со степенью социального освоения в сознании говорящих авиации, авиаторов и пилотируемых ими машин. ТСУ обращает внимание на признаки самостоятельности совершаемых летчиком действий и управлении аппаратом, определяемым словом *аэроплан*. МАС определяет слово через вождение, т.е. профессиональные действия того, кто находится в *самолете*. БТС – с точки зрения носителя, обладателя профессиональных умений и навыков (специалист, умеющий управлять), распространяя их на любой летательный аппарат, не только аэроплан-самолет, как отмечалось раньше. Социальное время, тем самым, нашло свое отражение в последовательном уточнении 1) от представления о том, кто совершает определенного рода действия, отличающиеся от похожих других (ср. не самостоятельно совершаемые и не управляемые полеты на аэроплане), каковым может быть лицо, не обязательно делающее это профессионально или имеющее к этому разрешение; 2) через такие же, совершаемые действия, но требующие специальных умений и подготовки, т.е. действия, представляемые как профессиональная деятельность, похожая на другие и вместе с тем отличающаяся от них (ср.: водитель автобуса, троллейбуса, такси, грузового автомобиля и пр.); 3) к определению совокупности соответствующих навыков, действий, умений и профессиональной деятельности как специальности, отличающей и характеризующей своего обладателя в каком-либо отношении. Развитие представления, следовательно, осуществляется, для данного случая по шкале, укладывающейся в показатели производитель определенного рода действий → деятель в определенном рода сфере, области → обладатель, носитель определенного рода признаков. Показатели, которые связываются с представлением о категориальном и парадигматическом в устройстве интересующего нас предмета, в данном случае в его отношении к социально-темпоральной проекции.

Применительно к языку советской действительности это категориальное и парадигматическое должно укладываться в систему отражаемых референциалей того окружаемого внешнего, того представляемого

в сознании средствами языка как внешнее и существующее (либо того, что будет существовать), которое характеризуется как советское представление о действительности. Как сама советская экзистенциальная, жизненная реальность и как советское представление о реальности не советской (тавтологии в этом случае не получается избежать). Категориальную и парадигматическую специфику интересующего нас, таким образом, проявления языка будут составлять референциальные соотношения с имеющимся (имевшимся) в сознании говорящих советским образом существующего. С его оценками, знаниями, значениями, не обязательно и не исключительно повторяющимися пропагандистки ориентированные, но связанными, коллективно и опытно переработанными и в известной мере следующими из них, т.е. коррелятивными.

Прежде чем предложить описание данной парадигматики, наметив подход и возможный начальный фрагмент к нему, вернемся к советскому представлению о летчике, но теперь не как к слову в его семантике, а значению как вероятному элементу соответствующей референциальной системы. С тем чтобы на наглядном примере попробовать вывести то, что, с одной стороны, может быть для нее характерно и представлять, намечать подход к дальнейшему описанию, а с другой, что давало бы основание взгляда, позволяло увидеть отличие между словом, семантикой слова русского (советизированного) языка, и словом, в его семантике, отражающей, воплощающей в себе советские представления о действительности¹. В ее поступательном осуществлении, революционном развитии, как это было принято определять, имея в виду умение и необходимость видеть и находить в настоящем начатки будущего, которое предстоит и которое следует достигать, работать на него и его приближать, усиливать их, развивать, акцентировать, а следовательно, и на них акцентироваться. Свойство, которое, будучи важным и неотъемлемым для понимания, тем самым, и описания советского представления действительности, было определено нами как продуцируемость и которое, как следствие, предполагает такое ее отражение, которое не обязательно, а часто вовсе и не должно, соответствовать ей как реальности существующего, поскольку задача его в совершенно другом. Задача в том, чтобы отражать ее таковой, каковой она долженствует быть, навязывая ей,

¹ В связи со сказанным возникает еще одна представляющаяся важной проблема, которую на данном этапе придется оставить без рассмотрения, с тем чтобы вернуться к ней после и на основе парадигматического определения системы советской действительности. Проблема, которой отчасти уже приходилось касаться. Речь идет о границах советскости в отношении лексического состава. Почему, на основе каких семантических свойств *стахановец, передовик, ударник*, к примеру, должны и могут определяться как слова-советизмы, а выражающие не менее важные для советского позитива и также часто и регулярно использовавшиеся в советское время *летчик, моряк, солдат* и т.п., обозначая, передавая что-то неодолимо в себе советское, советизмами вместе с тем не являются.

включая в нее, подчиняя своим субъективным намерениям, политическим и идейно-концептуальным задачам. А поскольку желания и результат, при слишком сильном, воодушевленно-приподнятом и интенсивном воздействии, напоре со стороны желающего, неизбежно расходятся, все это, действительности навязываемое и приписываемое, как ее настоящее, прошлое или будущее, составляет не реально-действительное, а желательно-продуцирующее, в интересующем нас случае советское, воображение о ней.

Представление о летчике, в контексте сказанного, вписывается в образ, имеющий по крайней мере тройную природу, связываемую (пока условно, поскольку об этом уже говорилось) с идеей действующего, деятеля и обладателя признака. В отношении и с позиции действующего, т.е. лица, человека, точнее образа человека-лица, производящего действия, заключенное в летчике содержание связывается с идеей обеспечения, укрепления, поддержания и устройства того, что существует и создается как новое общественное устройство – страна победившего социализма, СССР. Летчик, в контексте такого своего представления, это тот (*надежные крылья страны*), благодаря которому реализуется план укрепления обороноспособности, обеспечения безопасности настоящих и будущих достижений, безопасности и надежности территории и границ. Он же одновременно тот, кто обеспечивает способность внутритерриториального сообщения и перемещения, быстрых и недоступных для других транспортных средств перевозок, доставок, а также химическую либо другую какую-то обработку посевов, массивов, лесных насаждений и т.п. Назовем этот общий, объединяющий данные проявления признак статально-экзистенциальным аффирмативом [лат. *affirmo, affirmatum* ‘поддерживать, укреплять’], предполагающим обеспечение, укрепление экзистенциального состояния, статуса, существующего положения советской действительности в ее отношении к институтивной и территориальной стабильности и коммутативности, ненарушенности границ (лимитатива), темпорального обеспечения, длительности во времени (дуратива) и оптатива поддерживающих и обеспечивающих нормальное жизненное функционирование (*vitalia*) сторон. Идея летчика-действующего, таким образом, состоит в таком обобщенно-социализированном результате, итоге, общественном благе свойственных его проявлениям действий, которое определяется смыслом обеспечения и поддержания, аффирматива а) стабильности, б) коммутативности и в) оптатива витального проявления сложившегося положения вещей (*rerum natura*). В отношении и с позиции деятеля идея летчика может быть передана понятием расширения, распространения, выхода за пределы имеющегося, освоенного, и освоения нового, земного и околоземного, пространства (воздуха) – пространственный амплификатив (экстенсив). В отношении и с позиции обладателя, носителя признака веду-

щими будут направленность поднимающей вверх и вперед, отрывающей, порывающей силы¹ – от земли, от земного ее притяжения, тяжести, связей, привязанностей, ограничений, условий, условностей и т.п. Идея порыва, отрыва, преодоления – интенсивностный (*super et prae* ‘вверх и вперед’) абруптив (лат. *abrupto, abruptum* 1) ‘отрывать, срывать’; *se a.* ‘вырываться’; 2) ‘внезапно прерывать, прекращать’; ‘нарушать’; ‘отделять’).

Три выведенных стороны отраженного в определяемом значении проявления дают возможность задаться вопросом об их отношении к определяемому, его значимой для представления советской действительности позиции, ее перцептивного образа в сознании говорящих. Иными словами, поставить вопрос о том, чем является, в разбираемом случае летчик, представление о нем, идея и образ его, для сознания носителей языка советской действительности в соответствии с выведенными для него основаниями-признаками.

Другой вопрос будет связан с идеей характера представления. Чем отличаются, в интересующем нас отношении, применительно к описанию будущей парадигмосистемы, понятия действителя, деятеля и обладателя, или носителя, признака. В каких отношениях находятся, могут оказываться не только сами эти понятия, но также и то, что они собой представляют, значения, смыслы, которые передают.

И, наконец, в связи поставленными, не менее важными для понимания описываемой системы могут быть два следующих и также взаимосвязанных, объясняющих смысл процедуры вопроса. Что такое лицо, человек применительно к сознанию носителей языка советской действительности, что и как оно, точнее его идея, содержит в себе и собой воплощает для этой действительности как перцептивного образа. Это было бы одной частью вопроса, другая часть которого заключалась бы в том, чтобы выяснить, чем является идея и смысл, оформление смыслом, лица в предлагаемой к описанию парадигмосистеме, семантическом кодовом построении описания языка советской действительности. Второй вопрос касался бы определения образа представляемой действительности. Что она есть, чем является, что представляет собой в двух обозначенных перед этим проекциях – применительно к сознанию носителей ее языка и применительно к предлагаемой семантической форме его описания.

¹ Применительно к сказанному ср.: аналогичное значение для советского мифа о летчике у [Вайс 2007: 42], определяемое им в отношении внушающей силы, общей семантики интенсификации и перевода идеи движения вперед в вертикальную плоскость – «вперед и выше!», а также слова популярной в советское время песни, объединяющие разбираемые признаки обладателя, деятеля и действителя, *Все выше и выше и выше Стремим мы полет наших птиц И в каждом пропеллере дышит Спокойствие наших границ...*

Первый из четырех поставленных, вопрос о позициях трех признаковых сторон описанного значения – обеспечения-поддержания, расширения-распространения и преодоления-отрыва – следовало бы решать в отношении ряда проекций. Социально-темпоральный аспект, отразившийся некоторыми своими особенностями по словарям (ТСУ, МАС, БТС), предполагал бы последовательно развертывающиеся, взаимно переходящие и дополняющие друг друга акценты на обеспечении-поддержании (начальная фаза, отчасти нашедшая отражение в ТСУ, – статально-экзистенциальный аффирматив), на расширении-распространении (конечная, завершенная фаза, передаваемая более в МАС, – пространственный аффирматив-экстенсив) и на преодолении-отрыве (обобщенная фаза после, отраженная, наряду с другими, но в большей степени, чем в МАС и ТСУ, в БТС, – интенсивностный (*super et prae*) абруптив).

Основаниями этих акцентов были бы отношения а) к поставленной перед советским обществом цели строительства социализма (*opus finitum*), предполагающего достижение и поддержание важных для этого оборонных и народнохозяйственных рубежей; б) к советской стране, как стране и обществу построенного социализма, функционирующему в своем существующем и стабильном режиме, который необходимо, чтобы усиливать, расширять; в) к советским людям и отдельно к каждому советскому человеку, как носителю и воплотителю в жизнь необходимых, составляющих сущность советского отношения к действительности, задач и идей. Эти три позиции-отношения могли бы стать составляющими для того представления, которое кладется нами в основу идеи советской действительности, отображаемой в свойственном ей сознанию и языке.

Что касается второго вопроса, о соотношении действующего, деятеля и носителя (обладателя¹) признака, характеристики эти могли бы укладываться в последовательность одно в другое включаемых представле-

¹ В этом месте хотелось бы обратить внимание на двойственные в ряде случаев характеристики – носитель и обладатель, аффирматив-экстенсив, расширение-распространение, обеспечение-поддержание и т.п., которые не столько загромождают или, напротив, дополнительно уточняют определяемую ими идею, сколько нередко дают представление о двух возможных позициях, направлениях взгляда – извне либо изнутри. Носитель признака, таким образом, будет представлять собой характеристику для взгляда извне, обладатель, напротив, изнутри, для него самого. Аффирматив – как то, что имеет своим направлением-выходом силу на подкрепление, поддержание, исходящую изнутри, от себя вовне. Экстенсив – простираание, растягивание, расширение, распространение, овладение – как то, что постигается, воспринимается, обобщается так, соответствующим данному представлению образом, взглядом извне. Расширение, соответственно, будет связано с экстенсивом, распространение – предполагать позицию аффирматива (направление-выход вовне из себя) в экстенсиве, имеющем результатом охватывание, овладение пространством. Подобным образом, но применительно к данному смыслу, могут быть объяснены и другие используемые удвоенные характеристики.

ний. В этом случае действительность мог бы описываться как совершающий действие или действия, наблюдаемый в их совершении, воспринимаемый как такой, который их совершает или в любой предполагающий соответствующие условия момент способен их совершить. Деятели, соответственно, как обобщенное представление действий, внутренне свойственных, присущих, потенциально возможных в своем совершении для лица, не обязательно видимых, представляемых для него в их таком совершении. И, наконец, обладатель – как тот, кто воспринимается не в отношении действий, ему присущих, возможных, потенциальных или им совершаемых, а в отношении внутренних, ему наличных характеристик. В отношении параметров, смыслов, отличающих его от других, составляющих его неотъемлемую природную свойственность.

Три рассмотренных представления человека-лица в его отношении к действиям, определяющим, характеризующим его самого, укладываемые в соотношение того, что можно было бы интерпретировать как актуализация – потенциальность – наличие, позволяют наметить решение третьего поставленного вопроса. Лицо, человек, применительно к сознанию носителей разбираемого языка, можно было бы представлять как сгусток, пучок внутренне ощущаемых признаков, замкнутых в заключающей их в себе, объединяющей, распознаваемой и потому несущей и значимой для них, оболочке. Признаков, обладающих внутренне наделенной способностью заряжаться, накапливаться и себя проявлять – в наблюдаемом выходе, в отражении, действии, месте, позиции, отношении к советской действительности, той действительности в том ее представлении, о котором речь. Само лицо и сам человек, в отношении к этому сгустку себя отражающих признаков, оказывается, представляется тем, что наделяет их этой способностью, что сообщает динамику и обеспечивает им проявление, придает наблюдаемую, распознаваемую, различаемую форму, являясь заряженным ими и одновременно их отображающим, выводящим наружу, кинетическим оформителем-энергетизатором. Иными словами, лицо, человек, в представляемой действительности, присутствует в ней не как данность, не как обособленность и самоценность, не как биологический и социальный, наблюдаемый, имеющий форму и идентифицирующую его очевидность, репрезентант, индивид, элемент. Но как то, что, будучи свойственно определяемой действительности, воплощающее ее и воплощенное в ней ее живое придает, заряжает энергией этого своего живого и объявляет, выводит наружу некую совокупность свойств, необходимых, типичных, желаемых ей.

Две названных ранее стороны вопроса – отношение к сознанию носителей и к описанию парадигмосистемы, таким образом, совместились в идее того, что представляет собой определяемая действительность и чем является в ней, для ее представления, человек. Действительность, о которой речь и в контексте сказанного, что и должно найти свое отра-

жение в способе ее представления в предлагаемой парадигмосистеме, а с нею и в ней, соответственно, человек, предстает как организованная определенным образом совокупность признаков. Как своего рода поле их проявления, отражения и обнаружения, не имеющее, в отличие от представления о человеке, способности к энергетизирующему, сообщающему движению, выводящему их из себя проявлению. Как то, что содержит, выводит, вводит, соединяет, разъединяет, организует, меняет, но не оживляет, не динамизирует их. Иными словами, производитель, транслятор, организующее и одновременно продукт и носитель выводимых из нее, на ее основе, ей придаваемых и в ней замечаемых признаков. Действительность и в ней относящийся к ней человек, наделенный (наделяемый) присущими ей и ему, характерными признаками, становятся распознаваемыми и воспринимаемыми на их основе и в виде их (действительность также в отдельных своих проекциях и фрагментах), представителями, референтами и репрезентантами которых они выступают. Поскольку действительность и человек распознаются и определяются по этим признакам, признаки эти способны стать средством их характеристики и описания. Парадигматический образ того и другого – советской действительности применительно к позитивному представлению в ней человека – будет предметом дальнейшего рассмотрения.

[Фрагмент статьи *Язык советской действительности: семантика позитива в обозначении лиц.* // Политическая лингвистика. Вып. 1 (27)' 2009. Гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург 2009, с. 132-147.]

Предполагаемый, следовательно, как окончательный образ присутствующего в сознании представления действительности, отображенного (не обязательно явно) в ее языке, мог бы складываться из взаимодействия по крайней мере пяти, по-разному соединяемых и неоднозначно участвующих в общем процессе, сторон: того, что исходит из заявляемого, прокламируемого источником (1); того, что связано с его внутренним, закладываемым, интенциональным, скрываемым и в известном смысле намеренным (2); того, что следует из объективного, опытно-наблюдаемого и обобщенного представления воспринимаемой и переживаемой, проживаемой человеком, действительности (3); того, что связано с осознаваемой им частью своего ментального существа (4) и, наконец, того, что присутствует в нем неосознанно, как внутренне направляющее, мотивирующее и регулирующее (5). Отражаемый в языке советской действительности, таким образом, результат можно было представить в виде соединения составляющих по следующей схеме:

(Интенция → Прокламация ← Эмпирическое → Когниция ← Мотивация)
= Производимое представление действительности

В наиболее явном и очевидном, и потому показательном, виде продуцирующее намерение (интенционально-прокламационная часть воздействия-взаимодействия) обнаруживает себя в языке советской действительности в том, что представлялось источником как положительное для человека и в человеке. Как образ для подражания, воспроизводства для каждого и в себе (другое дело, чем мотивировался, как осознавался и как претворялся он, этот образ, в итоге – когнитивно-мотивационная и продуцируемая часть общей схемы). По признакам его, по чертам, в своей совокупности желательный, но реально не достигаемый, либо только предположительно достигаемый, а потому продуцируемый и индуцируемый. Назовем его, этот образ, для простоты представлением советского позитива – положительных качеств того, что должно быть и как должно быть в советском желательном человеке (производимом производимой им же действительности, ее и творцом, и продуктом).

Лицо, человек, выступая участником, партиципантом совместного созидательного процесса, представляемого как в статике, так и в динамике, т.е. как состояние в его длительности и как проявление, или действие, – человек, придающий движение процессу, имеющему смыслом созидание советской действительности, а также испытывающий воздействие с его (процесса) и ее (советской действительности) стороны, включенный (включившийся), втянутый в этот процесс, может быть наблюдаемым в общем движении, состоянии в четырех (согласно образу организуемой системы) своих проявлениях, возможных ролях. В роли действующего лица, или действующего (способного к необходимому действию и определяемого, характеризуемого по этому признаку как позитив). В роли деятеля, занятого, используемого в какой-то сфере, приписываемая деятельность которого, не обязательно связанная с осуществлением какого-то рода действий, определяется скорее как место, позиция, положение, процессуально заряженное состояние в продуцируемой системе. В роли носителя, обладателя признака, представляемого как важный, необходимый, с точки зрения организуемой системы общественно значимый. И, наконец, в роли представителя, или репрезентанта, какой-то группы, какой-то части, какого-то коллектива, объединения, совокупности, множества, т.е. как элемент, входящий в общее социальное целое.

Четыре указанных ролевых проявления – действитель, деятель, обладатель и представитель – отражаются при представлении позитивных значений обозначаемого ими субъекта в четырех других, передаваемых отношениях 1) к тому, что отдельно, является, предстает единичным (сингулятив); 2) к тому, что является множеством, совокупностью, представляет объединение, общество, социум (социатив); 3) к тому, что представляет собой систему, устройство (структуратив) и 4) к тому, что воспринимается как ее проявление, функционирование (проектив).

Получаемые в результате объединения позиции имеют два связанных категориально соотношения, которые можно было бы определить как а) внутреннее, имманентное, свойственное и б) привносимое, придаваемое, испытывающее воздействие на себя извне. Иными словами, заряженное (кумулятивное) и не заряженное, или позиционное, аддитивное, проявление. Общая схема всех указанных соотношений выглядела бы следующим образом (интересующие нас значения находились бы в двух центральных колонках):

	Заряженные	Не заряженные	
Отдельность	<i>Наделенный</i>	<i>Отмеченный</i>	Носитель
Объединение	<i>Принадлежащий</i>	<i>Нужный</i>	Представитель
Структура	<i>Причастный</i>	<i>Поставленный</i>	Деятель
Функционирование	<i>Действующий</i>	<i>Организуемый</i>	Действователь

Прежде чем перейти к отражению выделенных курсивом значений в лексическом материале с более подробным их описанием, имеет смысл дать о них общее представление.

Наделенность / отмеченность следует понимать как такую характеристику, которая предполагает признак, приписываемый лицу как его носителю (обладателю) и отделяющий его от других, выделяющий его при сравнении с ними и на их фоне. Признак, определяющий человека вне связи с отношениями к включению его, вхождению в большее – множества, объединения, числа таких же, как он, и ему подобных (отношение к социуму) или системы, устройства, объединения целого с его институтами, установлениями, порядками, правилами и т.п. (отношение к стране и советскому строю), а также вне проявления в характеризующем действии или деятельности в этой системе. Речь идет, таким образом, о признаке, характеризующем человека в его особенности и отличии от других, который может быть признаком внутренне свойственным (кумулятивным) либо придаваемым кем-то, какой-то организацией, учреждением извне (аддитивным). Сопоставление признаков, заключенных как характеризующие лицо в лексемах *герой*, *боец* (по природе, характеру – *боец революции*, *за дело рабочего класса*, *социалистического фронта*, *за высокое качество продукции*), *энтузиаст*, *общественник* (по призванию), с одной стороны, и *светило*, *светоч*, *маяк*, *гигант (науки, мысли, труда)*, с другой, определяемых и те и другие как признаки по показателям обладания и обособления (отделения) дает возможность увидеть отличие кумулятивности от аддитивности.

Признаки первого ряда проявляют себя как такие, которые определяются (воспринимаются) называющим в отношении их имманентности, свойственности, наличия, принадлежности характеризуемому ими лицу, их носителю и обладателю. В то время как признаки ряда второго – как определения, характеристики, даваемые ему, приписываемые

ему другими, кем-то, каким-то авторитетом (авторитетами), т.е. институционально, извне. Называя кого-то *героем, энтузиастом, бойцом, общественником*, говорящий определяет его как такого, кто способен, готов к особым, исключительным, выделяющим его на фоне других, характеризующим его положительно, проявлениям, поведению, действиям, и эти признаки, согласно вкладываемому о них представлению, являются неотъемлемой частью его природы, характера, воспитания, его духовного облика как отдельности и обособленного лица. Определяя кого-то словами *светило, светоч, маяк, гигант (науки, мысли, труда)*, говорящий либо авторитетный (пропагандистский, публицистический) источник, если он это делает без иронии, присоединяется к существующему общему мнению, опирается на него либо к нему апеллирует, его таким своим употреблением вводя в обиход, делая достоянием общего представления о нем. Ирония, в свою очередь, строится, достигается вследствие непрямо, внутренне отрицаемого, подвергаемого сомнению общего мнения, существующего и принятого либо же выдаваемого за таковое (игра позиций и точек зрения). Определяя кого-то *героем*, а кого-то *энтузиастом*, кого-то еще *бойцом, общественником*, равным образом – кого-то словом *светило*, другого *светоч, маяк, гигант*, говорящий, источник такого определения, находит, хочет видеть в определяемом, показать, приписать ему признаки ряда носителя (обладателя) как внутренне свойственные (наделенность, кумулятивность) либо приписываемые (отмеченность, аддитивность), отличающиеся, разные в каждом отдельном случае. Отличия этих и им подобных признаков составляют смысл дальнейшего описания, отдельно для каждого из выделенного в таблице курсивом значений.

Принадлежность / нужность приписывается лицу, определяет его, как имманентное (кумулятивное) либо придаваемое (аддитивное) свойство, в отношении его вхождения, включения в большее множества себе подобных – коллектива, объединения, ассоциации, группы, массы, массива, числа (разновидности множеств на данном уровне представления себя не проявляют). Принадлежность / нужность, тем самым, определяет лицо как представителя, репрезентанта, какого-то социума, какой-то общности, в его отнесенности к этой общности, принадлежности (кумулятивности) либо приданности, приписанности, назначенности, поставленности (аддитивности) в ней. Различие того и другого, пока что без уточнения всего дальнейшего, могут проиллюстрировать *красноармеец, интербригадовец, известинец, краснопутиловец* в отношении первого признака (принадлежности) и *плановик, кадровик, агроном, председатель* в отношении второго (нужности). В лексемах первого ряда заложено представление об отнесенности: член такого-то коллектива, группы, один из – боец Красной Армии (*красноармеец*), член интербригад (*интербригадовец*), работник газеты «Известия» (*известинец*), рабочий

Путиловского завода (*краснопутиловец*). Лицо, человек определяется по этому признаку, который становится одновременно средством его положительно-одобрительной характеристики, через отношение, отнесенность к соответствующим образом оцениваемому, общественно значимому коллективу. Лексемы второго ряда определяют тех, кто включается, вводится, назначается в коллектив, приписывается, придается ему (сам коллектив при этом как средство оценочной и определяющей характеристики себя не проявляет, коллектив может быть любой). И через представляемую таким образом аддитивность предполагают важным для понимания заключенного в них позитивного смысла и соответствующей оценки обозначаемого лица, что и становится определяющей их чертой, тот признак, который был обозначен как нужность. Речь идет в данном случае о необходимости, важности, нужности обозначенного словом лица, его места и роли, выполняемых им, возложенных на него заданий и функций, что и содержится как его позитивная характеристика в слове. Заданий и функций для коллектива и общества, в отношении к занимаемой должности, на которую он назначен, поставлен, принят. Оценка данной его позиции в коллективе, а также общественной роли, следующей из выполняемых им функций, никак не зависит от его внутренних качеств, как в предыдущем случае (признаки наделенность / отмеченность). Это оценка его соответствия месту, оценка самой позиции и доверия к нему (со стороны поставивших, пользующихся общественным авторитетом, вышестоящих), признание его быть достойным и подходящим, его проверенность и социальная апробация. Нужность, как характеристика и как определяющее качество, следует как направленный признак не от лица и не от коллектива. Это характеристика общественной необходимости в отношении коллектива занимаемой данным лицом позиции. Для того чтобы подразумеваемый, предполагаемый (*implicite*) коллектив как общественная единица функционировал так, как следует и как должно быть, играя в обществе назначаемую ему для этого роль, нужно, чтобы была в коллективе необходимая для достижения этого соответствующая позиция, место и роль – для субъекта-лица, занимаемые и осуществляемые подходящим для этого человеком. Также как коллектив, человек этот не наделяется при обозначении словом какими-то выделяющими его, подчеркивающими его особенность, исключительность признаками, определяющими его в отношении предпочтительности. Человек этот может быть, также как коллектив, любим, но только, и это самое главное, должен быть в нем общественно нужным.

Причастность / поставленность определяет лицо в отношении его проявления, значения его деятельности к системе – ее становлению, устройству, организации, стабильности, безопасности, существованию, развитию и т.п. Под системой следует понимать государственное устройство, строй, страну. То есть структуру с ее институтами, целями,

установлениями, задачами, функциями, правилами, по отношению к которым общество (социум, объединение, множество предыдущего основания) выступает как материализующая, реализующая, осуществляющая все это и все это на себе испытывающая и в себе несущая, субстанциальная часть. С точки зрения рассматриваемого парадигматического строения причастность / поставленность как основание предполагает следующую, третью, по отношению к двум предыдущим, ступень. Лицо, человек, выступая, характеризуясь, определяясь по представляемым основаниям как проектив, как проекция признаков, отраженных в нем свойств отношения к общему целому, на первой ступени (надленность / отмеченность) проявляет себя как отдельность, на второй (принадлежность / нужность) – как позиция в социуме, на третьей, рассматриваемой, – как реализующий через себя и в себе структуру целого и реализуемый в ней и по отношению к ней субстантив. Как позиция, положение, место в осуществляющей, реализующей себя системе целого через посредство деятельности обозначаемого соответствующими словами лица. Системоделятельностные позиция, место, значение, роль, из которых и на основе которых следуют позитивные смысл и оценка для называемого человека.

Так же, как и предыдущие (и последующее) основания, причастность / поставленность дифференцируют признаки кумулятивности и аддитивности – того, что выступает как имманентное либо как приписываемое извне. Отличие в этой паре могут иллюстрировать *авроровец, стахановец, целинник, бамовец*, с одной стороны, и *агроуполномоченный, двадцатипятилетний инструктор, группкомсорг*, с другой. Первый ряд предполагает внутреннее, по зову сердца, по призванию, призыву, отклику, а также отношению, положению, месту, случайности, т.е. своего рода стихийности и(ли) инициативности причастного к системе проявления со стороны лица, действительно такого либо за такое выдаваемого. Второй – назначение, направление, откомандирование, уполномочивание, придание, поставленность по отношению к системе. *Авроровец*, член экипажа крейсера «Аврора», своим легендарным выстрелом открывшего новую страницу человеческой истории, воспринимается как тот, кто имеет отношение, причастен к этому событию, обладающему значением первоначала, исходной точки для дальнейшего установления и развития системы. *Стахановец* – как тот, кто имеет отношение, причастен к наращиванию, росту укрепляющей, поддерживающей, опорной, жизнеобеспечивающей составляющей как ведущего основания системы. *Целинник*, соответственно, как причастный к ее (жизнеобеспечивающей составляющей) пространственному распространению, расширению. *Бамовец* – как тот, кто причастен к освоению поддерживающих, способствующих ее реализации и оптимальное функционирование пространств. Соответственно, *агроуполномоченный* – по

ставленный от комитета партии куратор сельского хозяйства – имеет отношение к жизнеобеспечивающей составляющей. Но не как производитель, а как организующее и контролирующее, мобилизующее других начало, проводящее необходимую политику на вверенном участке сельскохозяйственного производства. *Двадцатипятилетний инструктор, группкомсорг*, аналогичным образом, являясь представителями мобилизующей и направляющей, руководящей составляющей целого системы, поставленными, призванными и уполномоченными, способствуют реализации ее настраивающих, организующих, а не производящих функций.

Между поставленностью как признаком рассматриваемого основания и нужностью основания предыдущего можно увидеть некоторое сходство. Отличие этих двух признаков, следующее из их отношения к социуму или к системе, может быть относительным. Строится оно на сопоставлении внутренне свойственных, сущностных, необходимых, с точки зрения общества, мест, позиций, ролей для лица в данном коллективе с позициями, местами, ролями (а с этим отчасти и самими коллективами), следующими не из внутренней, коллектива и социума, необходимости, а из воображения о реализации приписываемых, видимых в системе и продуцируемой ей действительности функций и задач. Поставленность, тем самым, представляет собой последующее и внешнее, надстроенное (встроенное) по отношению к предыдущему (нужности) основание, идущее не от знания о функциональной природе общества и коллектива, а от предательства о развиваемой системе с идеей заложенного в ней строительства общественного будущего. Это последующее и внешнее, встроенное, может восприниматься как мобилизующее и организующее по отношению к внутреннему и функциональному. Реализуются эти признаки в противопоставлении того, кто нужен – народному хозяйству, дальнейшему его развитию, делу, стоящим перед обществом экономическим, производственным, социальным задачам, кто выполняет полагающуюся для этого работу, являясь работником, тружеником на вверенном ему участке, тому, кто назначается, направляется, ставится, наделяясь полномочиями, обязанностями с какой-то внешней целью – контроля, мобилизации, организации, проведения политики, для решения вопросов больших, охватывающих, способствующих реализации задач иного рода. Первый, таким образом, может быть воспринят как осуществляющий задачи внутреннего поля действия, второй – как проводник, способствующий реализации (применительно к условиям действительности) идейно-политических задач.

Четвертая пара признаков – действующий / организуемый – представляет собой следующий по отношению к предыдущим уровень. Система определяется через лицо в отношении к своему функционированию, т.е. в движении, динамике. Действующий, как имманентное, куму-

лятив, предполагает действие и способность к проявлению в действии – со стороны лица, в нужном, желаемом, способствующем, усиливающем направлении, для системы и ее задач, с должным участием и силой, самозабвенно, преданно и не щадя себя. Организуемый, как аддитив, т.е. внешнее, приписываемое, придаваемое, предполагает втягивание, включение, – не действие, а задействие в какое-то занятие, движение, объединение, с пропагандистской, воспитательной, общественно-политической либо другой какой-то целью, того же организующего, включающего, задействующего порядка. Противоположение данной пары признаков, тем самым, отражает в качестве общего идею должного, желаемого для человека, как действующего (задействуемого) члена формируемого общества и создаваемого этим обществом будущего, – в ее достигнутой, реализованности, с одной стороны, и закладываемом, приближаемом достижении, с другой. Такой человек, как есть (образец, пример для подражания, желаемый в системе), и такой, какой, чтобы был, чтобы мог им стать (образцом, примером, желаемым будущим в системе). Иллюстрацией первого признака могут быть лексемы *боец* (участник каких-либо действий) – как тот, кто бьется, активно добивается необходимых целей, своими действиями участвует в деле преобразования, достижения, осуществления идей, заложенных в системе; *борец* (за мир, за дело рабочего класса, пламенный, неутомимый); *защитник* (рубежей, отечества), *страж*, *стражи* (границы, неба, верный). Иллюстрацией второго – *юнармеец*, *пионер*, *комсомолец*, *коммунист*, *колхозник*. *Юнармеец* – член военизированного отряда, участник военно-спортивной игры, проводимой в школах и между школами, – как тот, кто, входя, включаясь в мероприятие, принимает участие в действиях, имеющих целью не формирование, не создание, не организацию существующих и новых частей, элементов и отношений в системе, а подготовку себя как участника и отряда, членом которого он является, воспитание, выработку каких-то умений, навыков и способностей, рассчитываемых на их использование в будущем, важных и нужных системе. Данное представление и составляет смысл определяемого признака. Задействие, организуемость имеет целью организацию, закладывание оснований на будущее, ближайшее или далекое. Тех оснований, реализация которых предполагается к осуществлению в людях, человеческом материале, с его помощью и при его посредстве. Подобным образом могут быть описаны и представлены *пионер*, как член детской коммунистической организации, *комсомолец* (член коммунистического союза молодежи), *коммунист* (член коммунистической партии), *колхозник* (член колхоза) и др. – в отношении участия, задействия их, организации в какого-то рода объединения, имеющих целью предполагаемое либо планируемое использование их ради целей, необходимых системе.

Литература:

- Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык. – Л., 1986.
- Апресян Ю.Д. Семантическая модель анализа // Апресян Ю.Д. Идеи и методы структурной лингвистики. – М., 1966.
- Апресян Ю.Д. О языке для описания значений слов // Известия АН СССР ОЛЯ, 1969, № 5.
- Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 35. – М., 1997.
- Арнольд И.В. Стилистика декодирования. Курс лекций. – Л., 1974.
- Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. – М., 1985.
- Бельчиков Ю.А. К изучению речевых новаций в русском литературном языке конца XX – начала XXI столетия // Славистика. Синхрония и диахрония. Сборник научных статей к 70-летию И.С. Улуханова. Под общей ред. В.Б. Крысько. – М., 2006.
- Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. Пер. с англ. – М., 1987.
- Борисова Е.Г., Имплицитная информация в лексике // ИмPLICITность в языке и речи. Отв. ред. Е.Г. Борисова, Ю.С. Мартемьянов. М., – 1999.
- Вайс Д. Сталинистский и национал-социалистический дискурсы пропаганды: сравнение в первом приближении // Политическая лингвистика – 2007. – № 3 (23).
- Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 2003.
- Вежбицка А. Антитоталитарный язык в Польше. Механизмы языковой самообороны // Вопросы языкознания, 1993, № 4.
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 2002.
- Горбаневский М.В. Имя, наполненное временем // Русистика. 1992. № 1.
- Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре массовой коммуникации. – М., 1982.
- Дуличенко А.Д. Русский язык конца XX столетия. – München, 1994.
- Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия (1985-1995). Отв. ред. Е.А. Земская. – М., 2000.
- Жолковский А.К., Леонтьева Н.Н., Мартемьянов Ю.С. О принципиальном использовании смысла при машинном переводе // Машинный перевод, Труды Ин-та ТМ и ВГ АН СССР. Вып. 2. – М., 1961.
- Жолковский А.К., Мельчук И.А. К построению действующей модели языка «Смысл ↔ Текст» // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 11. – М., 1969.
- Земская Е.А. Введение. Исходные положения исследования // Русский язык конца XX столетия (1985-1995). – М., 2000.
- Земская Н.А. Новояз, new speak, nowotowa... Что дальше? // Русский язык конца XX столетия(1985-1995). – М., 2000.
- Зильберт Б.А. Языковая личность и «новояз» эпохи тоталитаризма // Языковая личность и семантика. – Волгоград, 1994.
- Какорина Е.В. Трансформации лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия (1985-1995). Отв. ред. Е.А. Земская. – М., 2000.

- Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 1992.
- Караулов Ю.Н. О состоянии русского языка современности // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. – М., 1991.
- Клемперер В. ЛТН. Язык Третьего рейха. Записные книжки филолога. – М., 1998.
- Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971.
- Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. – М., 1994.
- Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. – М., 1989.
- Купина Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. – Екатеринбург – Пермь, 1995.
- Купина Н.А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. Отв. ред. Л.П. Крысин. – М., 2000.
- Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. – Вильнюс, 1995.
- Леонтьев А.А. Язык пропаганды: социально-психологический аспект // Язык как средство идеологического воздействия. Отв. ред. Ф.М. Березин. – М., 1987.
- Маковский М.М. Удивительный мир слов и значений. Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике. – М., 2005.
- Мартемьянов Ю.С. К построению языка лингвистических описаний // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, АН СССР. – М., 1964.
- Мартынов В.В. Универсальный семантический код. – Минск, 1977.
- Мирошниченко А. Толкование речи. Основы лингво-идеологического анализа. – Ростов-на-Дону, 1995.
- Муханов И.Л. О текстообразующей функции имплицитных смыслов высказывания (диалог) // Имплицитность в языке и речи. Отв. ред. Е.Г. Борисова и Ю.С. Мартемьянов. – М., 1999.
- Найдич Л.Э. След на песке. Очерки о русском языковом узусе. – СПб., 1995.
- Нечаева В. Изменения в лексическом составе современного русского языка и нарушение узуса // Русский язык в переломное время: 1985-1995. – München, 1996.
- Парятникова А.Д. «Конденсированные символы» в буржуазной пропаганде // Язык и стиль буржуазной пропаганды. – М., 1988.
- Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968.
- Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советский эпохи. – М., 1975.
- Речевое воздействие в системе массовой коммуникации. – М., 1990.
- Русская грамматика. Т. I-II. Гл. ред. Н.Ю. Шведова. – М., 1980.
- Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект. Отв. ред. Е.А. Земская, Д.Н. Шмелев. – М., 1993.
- Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. I. – М., 1991.
- Русский язык конца XX столетия (1985-1995). Отв. ред. Е.А. Земская. – М., 1996, 2000.

- Русский язык сегодня. Отв. ред. Л.П. Крысин. – М., 2000.
- Скляревская Г.Н. Русский язык конца XX века: версия лексикографического описания // Словарь. Грамматика. Текст. – М., 1996.
- Скляревская Г.Н. Слово в меняющемся мире. Введение // Толковый словарь русского языка XX в. Языковые изменения. – СПб., 1998.
- Солганик Г.Я. Системный анализ газетной лексики и источники ее формирования. – М., 1976.
- Стриженко А.А. Роль языка в системе средств пропаганды. – Томск, 1980.
- Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. – М., 1994.
- Ферм Л. Особенности развития русской лексики в новейший период (на материале газет). – Uppsala, 1994.
- Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия. – М., 2006.
- Шарифуллин Б.Я. О лексике и фразеологии политизированного языка // Лексика и фразеология: Новый взгляд. – М., 1990.
- Швейцер А.Д. Контрастивная стилистика. – М., 1993.
- Язык и массовая коммуникация. Социолингвистические исследования. Отв. ред. Э.Г. Тумаян. – М., 1984.
- Язык и стиль буржуазной пропаганды. Отв. ред. Я.Н. Засурский и А.Д. Пароятникова. – М., 1988.
- Язык как средство идеологического воздействия. Отв. Ред. Ф.М. Березин. – М., 1987.
- Bralczyk J. O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. – Warszawa, 2001.
- Drinan R.F. The Rhetoric of Peace // College Composition and Communication. 23. 1972.
- Fillmore Ch. Types of lexical information // Studies in syntax and semantics. Ed. by F. Kiefer. – Dordrecht, 1969.
- Głowiński M. Nowomowa po polsku. – Warszawa, 1990.
- Goffmann E. Forms of Talk. – Oxford, 1981.
- Good C.H. Die deutsche Sprache und die kommunistische Ideologie. – Bern, Frankfurt a. M., 1975.
- Pstyga A. Z badań nad strukturą rosyjskich negatywów rzeczownikowych // Wokół struktury słowa. Pod red. A. Pstygi. Wyd. Un-tu Gdańskiego. – Gdańsk, 2003.
- Schlesinger A. Politics and the American Language // Communication through Behavior. – St. Paul, 1977.
- Schmidel L., Schubert M. Semantische Struktur und Variabilität von Schlüsselworten aus Politic und Wirtschaft. – Leipzig, 1979.
- Schmidt W. Der Verhältnis von Sprache und Politik als Gegenstand Ideologie. – Halle (Saale), 1972.
- Seriot P. Analyse du discours politique soviétique // Culture et Sociétés de l'Est. 2. – Paris, 1986.
- Weiss D. Was ist neu am «newspeak»? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion // Slavistische Linguistik 1985. – München, 1986.
- Zaslavsky V., Fabris M. Лексика неравенства – к проблеме развития русского языка в советский период // Revues des etudes slaves 1982, v. 54, № 13.

Цитируемые словари:

Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. (БТС, БТСРЯ) – СПб., 2000.

Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Репринт 5-го изд. 1899 г. – М., 1991.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех томах. (Даль) – М., 2000 (по 2-му изд. 1880-1882 гг.).

Елистратов В.С. Словарь русского арго (материалы 1980-1990-х гг.). (Елистр.) – М., 2000.

Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Т. 1-2. (Ефр.) – М., 2000.

Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М., 1996.

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. – М., 1977.

Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. (Квес.) – М., 2003.

Латинско-русский словарь. Сост. И.Х. Дворецкий и Д.Н. Корольков. Под общ. ред. С.И. Соболевского. – М., 1949.

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. (ТСЯС) – СПб., 1998.

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. (БСЖ) – СПб., 2000.

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I-II. 2-е изд. (Преобр.) – М., 1959.

Росси Ж. Справочник по ГУЛАГУ: В 2 ч. Изд. 2-е, доп. (Росси) – М., 1991.

Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. Т. I (III). (РСС) – М., 1998 (2003).

Словарь иностранных слов. Гл. ред. Ф.Н. Петров. 9-е изд. (СИС) – М., 1982.

Словарь русского языка в 4-х томах. Гл. ред. А.П. Евгеньева, 2-е изд. (МАС) – М., 1981-1984.

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы). Авторы-составители Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. (СТЛБЖ) – М., 1992.

Срезневский И.И. Материалы словаря древнерусского языка. Т. I-III. (Срезн.) – М., 1958.

Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. Гл. ред. Г.Н. Складская. (ТСРЯХХв.) – СПб., 1998.

Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова (т. I-IV). (ТСУ) – М., 1935-1940.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. 2-е изд. (Фасм.) – М., 1986-1987.

Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. (Хим.) – СПб., 2004.

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I-II. 3-е изд. (Черных) – М., 1999.

Глава 5. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР КАК ИНДИКАТОРЫ СИЛЫ И БЕССИЛИЯ ОБЩЕСТВА

Знаменитая работа Лакоффа и Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» положила начало огромному потоку исследований, объектом которых стало «отслеживание» слов-ключей к тем метафорам, на которых строятся ментальные схемы интерпретации действительности как у целых социумов, так и у отдельных их представителей, чья духовная жизнь определенным образом влияет на речемыслительные практики целых сообществ (речь идет о политиках, писателях и т.п.– властителей умов и судеб). Особого внимания удостоилась политическая метафора, отражающая не только речевую, но и практическую сторону деятельности социума.

Думается, что мысль американских лингвистов-когнитивистов о том, что концептуальные метафоры структурируют не только речь, но и практическую деятельность носителей культур, может быть развита в определенном направлении: наблюдения над общественной жизнью позволяют предложить идею разноуровневого существования политических метафор в культурных практиках тех или иных социумов.

Как известно, в качестве наиболее характерных политических метафор общественной жизни выступают *милитарные* метафоры, метафоры политической жизни как *шоу, спектакля*, метафоры *болезни* [Чудинов : 2001] – к ним в последнее время прибавилась *маркетинговая* метафора, структурирующая политическую жизнь в терминах торговли (см.ниже).

Согласно предлагаемой гипотезе, политическая метафора, которой «живет социум», может иметь три уровня своего существования:

1) уровень структурирования практической деятельности. Поскольку регулирование практической деятельности социума осуществляется властью, постольку именно ей принадлежит внедрение метафоры в жизнь социума (организация одних форм жизни по образцу других). Сама метафора может озвучиваться в обществе или табуироваться в языке власти по определенным причинам (если власть не желает освещения подлинной сути своей политической практики). Если метафора озвучивается, она определяет языковую метафорику текстов соответствующего периода и может становиться основой развития текстов, их своеобразным предикатом, присоединяющим к себе соответствующие актаны (см. ниже).. Так было с метафорой разделенного мира в дискурсе советской идеологии, где жизнь общества интерпретировалась в терминах войны между двумя лагерями. Отсюда в текстах присутствовали *враги, предатели, изменники* и т.д.;

2) дискурсивный (собственно метафорический) уровень существования концептуальной метафоры. Он проявляется в текстовом разверты-

вании метафоры, в использовании соответствующей языковой метафоры, имеющей образный характер, но не влечет за собой практических действий, вытекающих из метафоры на правах ее следствий (*враги и предатели* не уничтожаются).

При этом может существовать рассогласование между практической деятельностью власти, регулируемой определенной метафорой, и ее оценкой в речевой практике социума: метафора, используемая в независимых СМИ или дискурсе оппозиции для обозначения действия власти, несет отрицательную характеристику этой деятельности (см. ниже);

3) собственно языковой уровень существования концептуальной метафоры – она реализуется через «стертые» метафоры. Именно стертые метафоры прочно встроены в наш язык, заставляя нас думать о ситуации в определенных терминах: напр., в терминах *победы / поражения*, будь то избирательная кампания, публичная дискуссия или адаптация к сложностям бытия (*бороться с жизнью*).

Итак, проиллюстрируем сказанное наблюдениями над формой реализации той или иной метафоры, на определенном этапе используемой в социуме для характеристики его общественной жизни или для ее регулирования.

Каждая революция начинается с новой системы текстов и с новых метафор, в сущности, определяющих новизну текстовых приемов. Это положение настолько общеизвестно, что уже не требует отсылок к первоисточникам данной идеи. Так, метафора идеологической борьбы, конфронтации двух лагерей в мире с разными общественными устройствами, составлявшая основу политических текстов советского периода (будь то внешнеполитические отношения или отношения внутри страны в период 30–40-х годов) сменилась в начале 90-х прошлого века, после провозглашенной М.С. Горбачевым «деидеологизации» политики, иными метафорами – *спорта, шоу*, на данном этапе – *маркетинга*. Важно отметить характер дискурсов, использующих ту или иную метафору: если метафора борьбы была характерна для текстов власти, рупором которой были СМИ, то в последующий период общественной жизни, когда власть перестает контролировать СМИ (или оказывается неспособной это делать), в ее дискурсе и дискурсе СМИ могут использоваться разные метафоры для концептуализации общественной жизни. Говоря о мене метафор, хочется подчеркнуть, что концептуализация мира посредством тех или иных метафорических концептов определяется не «языковым вкусом эпохи», не случайным выбором определенной метафоры на роль интерпретатора действительности в тех или иных терминах – как метафорические модели политической жизни, так и смена метафор обуславливаются набором социальных факторов. Так, метафора *спорта* в российских дискурсах, пришедшая на смену метафоре *борьбы*

советских дискурсов, в сущности, была ее органическим продолжением в новых условиях: метафора *спорта* очень близка метафоре *войны / борьбы*: чем, в сущности были «бои» гладиаторов – спортом? борьбой не на жизнь, а на смерть? Очевидно, что фрейм «гладиатор» в качестве одной из составляющих» включает слот «смерть». Таким образом, метафора политической борьбы, войны двух лагерей, предполагающая и физическое устранение «врага», сменилась менее «кровавой», однако достаточно близкой по духу метафорой спорта (прекращение войны на время Олимпийских игр в античности можно рассматривать как сублимацию потребности в уничтожении Другого (агрессии) в потребность противоборства на спортивных состязаниях).¹

Предвыборная гонка, предвыборная борьба, предвыборный марафон – спортивные метафоры не были характерны для советских кампаний выборов, где не было соревнующихся сторон; трудно даже произнести применительно к этому институту советского государства выражение «предвыборная кампания»: «Преобразования избирательной системы, начало которым положили массовый политический энтузиазм конца 80-х годов и нововведения в советском избирательном законодательстве, осуществленные в 1988-1989 годах, радикально изменили российские выборы. Выборы девяностых годов разительно отличались от того мероприятия, которое называлось выборами в советские времена» (Бужин 2006: www.yabloko.ru/Publ/Book/Selective_technologies/st_003.html). Автор приведенных строк достаточно жестко оценивает и современные российские выборы, применяя к ним метафору *шоу*: «Несмотря на то, что российские выборы быстро приобретают черты **заранее отрепетированного спектакля**, несмотря на сужение круга избираемых органов власти, Россия не собирается отказываться от выборов вообще» (там же). Советские выборы также можно обозначить как отрепетированный спектакль – с режиссерами, принявшими один и тот же сценарий на обозримые времена. Правда, у этого сценария была «дефектная парадигма» – не хватало для реализации всех слотов выборов, как уже было сказано, соревнующихся сторон. Но были щедрые декорации: избирательные участки украшались соответствующим образом – красными плакатами, шарами и т.п. (по воспоминаниям автора, жившего в провинциальном белорусском городке: выборы происходили в школе, где играла музыка, и в этот день – именно день, а не вечер – в фойе под музыку танцевали люди, как правило, школьники, для которых день становился праздничным), и были актеры – и те, кто играл роль избираемых, и те, кто приходил на избирательные участки. (Можно сказать, используя термины когнитивной лингвистики, что фон доминировал над фигурой.) В сущности, советские выборы были не выборами, а референду-

¹ «Спорт — это имитация войны» (Джордж Оруэлл).

мом по принятию кандидатур, выдвинутых партией. Метафора спектакля была скрыта: она реализовалась не на языковом, а на референтном уровне – отрежиссированная процедура, скорее, напоминала организованный поход школьников в театр, где разыгрывался спектакль под названием «выборы», – при этом «школьники» обязаны были не пропустить развивающего действия. Эта принудительность оформилась языковой метафорой *пойти на выборы – исполнить свой гражданский долг*.

Как уже неоднократно отмечалось, начало 90-х годов характеризовалось широким использованием метафор *шоу* в дискурсе СМИ при описании политических коллизий: «звезды политической сцены играли превосходно», «в залах был полный аншлаг», «зарубежные гастролы наших либералов» и т.п. Естественно, что эти метафоры не могли быть озвучены на предыдущем этапе политической жизни, как и метафоры *борьбы* или *спорта*, поскольку, как мы уже говорили, советские выборы осуществлялись в системе, основной стилистической тональностью которой была серьезность, и по сценарию с неполным набором составляющих. Метафоры *игры*, *шоу* в начале 90-х прошлого века коррелировали с общим усилением театрализации политической действительности: избирательная кампания, проводимая с одновременным участием звезд эстрады и иногда расцениваемая как «дуэль Бабкина – Боярский» (имеется в виду выступление эстрадных звезд в поддержку «своего кандидата») подчеркивала характер выборов, происходивших в «обществе спектакля» (Ги Дебор). Автор тогда, как и известнейший российский представитель политической лингвистики А.П. Чудинов, усматривал в происходящей театрализации имитацию политической жизни, ее мимесис: «Прагматический потенциал этой метафорической модели определяется ярким концептуальным вектором неискренности, искусственности, ненатуральности, имитации реальности: субъекты политической деятельности не живут подлинной жизнью, а вопреки своей воле исполняют чьи-то предначертания». (Чудинов 2001: <http://www.philology.ru/linguistics2/chudinov-01.htm#330>). Сегодня, в свете исчезновения подобных метафор из дискурса СМИ, автор по-иному оценивает прошедшее: эпоха начала – середины 90-х в России была временем освобождения от предписанной идеологией прошлого серьезности, весь «новый мир» превратился в спектакль: чета Горбачевых записала свои голоса в рэп-композиции, мэр Москвы Лужков сломал ногу, исполняя кульбит на арене Московского цирка, что само по себе символично: на глазах овеществлялась метафора: *власть – цирк и власть сломала ногу*, танцевал и пел Б. Ельцин. Впрочем, пели не только в России – запел даже Иоанн Павел II: Ватиканом была выпущена пластинка, где под современную музыку, чем-то напоминающую рэп, папа читает молитвы на пяти языках. Это было время раскрепощения, отхода от традиционных форм поведения, время усталости от ужасов реальности. Примечательны собы-

тия в Перу, когда в 1996 году в японском посольстве были захвачены террористами заложники – в это время возле посольства устраивались представления актеров и певцов с целью развлечь заложников. Война превращалась в шоу – и, напротив, в мире начала XXI века шоу стали пахнуть войной: так было с «Норд-Остом», так было и в Кении на конкурсе красоты 2002 года, где погибло около 250 христиан в ходе мусульманских актов возмущения статьей в газете под названием «Девушки так красивы, что каждая могла бы стать женой пророка Мухаммеда». Мусульмане не допускают десакрализации своего священного пространства, проникновения в него мирских и плотских элементов. Мы же можем констатировать, что особенности мироощущения и миропонимания в конце прошлого века структурировали действительность как театр, превращая войну в шоу, в то время как происшедшая смена мироощущения, напротив, превратила шоу в войну.

Уменьшение в политическом дискурсе театральных метафор (остаточным явлением можно считать метафору *фарса*, характеризующую дискурс современной российской оппозиции: «Я не участвую в фарсе» – акция демократов в ходе предвыборной президентской кампании 2008 года) связано, таким образом, с изменением духа экстралингвистической реальности. Тем не менее политическое действо в «обществе спектакля» продолжает носить его черты. Спектакль современных выборов совмещает в себе некоторые признаки прошлого (режиссеры – политтехнологи от власти, сценарий имеет полную парадигму и, видимо, пишется всякий раз, если иметь в виду появление новых и иногда «псевдокандидатов»), как это было на прошедших президентских выборах в России, где от демократов выступал малоизвестный А. Богданов, «назначенный» на роль демократа. [«По информации одной из центральных газет, в Кремле подумывают о том, чтобы поставить Богданова во главе новой «правой» партии, которая образуется после развала старых. Пока же лидер ДПР якобы проходит «обкатку» на президентских выборах. (<http://www.democrats.ru/rus/news/document1216.shtml>)]. Если исходить из дискурса оппозиционной прессы, то и результат выборов (финал спектакля) является заранее написанным. Но есть принципиальное отличие настоящих выборов от референдума советского периода, также обусловленное экстралингвистической действительностью: средства массовой коммуникации – прежде всего телевидение – делают нас участниками непрерывного спектакля, в котором любой предмет, в том числе и политик, становится продаваемым товаром. На сцене этого шоу высвечиваются только отдельные стороны товара (Дебор 2000: http://www.nbp-info.ru/new/lib/deb_obsh/02.html), поэтому те, кто на сцене, так заинтересованы в том, чтобы высветить нужный ракурс. Отсюда повышается роль зрителей спектакля – электората. Слово *электорат* прочно вошло в дискурс российских политиков, смотрящих на своих

сограждан сквозь призму их участия в выборах. Показательной в этом отношении представляется реплика одного из ведущих российских политиков в одном из телевизионных интервью: в связи с недавней кончиной автора бессмертного шлягера «Besame mucho» Консуэлы Веласкес телевидение обращалось с просьбой ко многим известным людям ответить, насколько, по их мнению, сегодня современен этот шлягер. Известный политик Вяч. Никонов ответил примерно так: «Не весь электорат сегодня принимает эту песню». О ком говорил В. Никонов? Об избирателях, отдающих голоса за его партию? Ведь *электорат* (от лат. *elector* – избиратель) – ‘круг избирателей, голосующих за определенную партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах’ (Большой юридический словарь). Может ли это слово считаться точным синонимом слова *избиратели*? Из его толкования следует наличие дополнительных семантических компонентов (‘голосующих за определенную партию’), отражающих практику многопартийной системы, чего не было в прежней политической действительности. Значит ли это, что Никонов не предполагает иных возможностей у избирателей, чем быть сторонниками его партии (тогда выборы также превращаются в спектакль), или политик, не отдавая отчета в особенностях содержания заимствованного политического понятия, просто выражает свое видение сограждан как вечных зрителей политических действий? Вообще нельзя ли согласиться с Константином А. Богдановым, высказавшим мысль о том, что на русской почве многие заимствованные понятия подвергаются трансформации: «Применительно к русской культуре давно замечено и часто повторяется, что история инокультурных заимствований в России – это прежде всего история переосмысления заимствуемых ценностей» (Богданов 2006: 8). Так, последние выборы в Государственную Думу России (2007) в некоторых российских СМИ и призывах характеризовались как «референдум в поддержку Президента» [«Выборы в Государственную думу 2 декабря станут референдумом в поддержку курса президента России Владимира Путина. Как передает корреспондент «Росбалта», об этом заявил сегодня утром журналистам секретарь президиума генерального совета «ЕР» Вячеслав Володин» (<http://www.rosbaltvolga.ru/2007/10/05/419782.html>)]. Подобное употребление нарушает синтаксическую сочетаемость слова (*референдум по вопросу*), и свидетельствует о трансформации его значения по сравнению с тем идеологическим полем, из которого оно к нам пришло (при референдуме объектом является не кандидат или список кандидатов на определенную должность, а определенный вопрос).

При всех несовершенствах политической жизни, структурируемой в терминах *спектакля*, сама театральная метафора оказывается гораздо гуманнее военных метафор, так как не предполагает физического устранения политических оппонентов. В рамках действительности,

структурируемой этой метафорой, они выступают, скорее в качестве актеров одного театра, стремящихся завоевать симпатии публики и главные роли политического репертуара, не гнушаясь при этом многими не дозволенными моралью вещами (грязным технологиями), как это бывает в театре. О военной метафоре много и плодотворно писали известные российские исследователи «метафорического зеркала России», и прежде всего А.П. Чудинов, отметивший наличие в конце 90-х годов прошлого века агрессивную тональность российских СМИ, создаваемую такими метафорами (Чудинов 2001). Безусловно, прав и коллега А.П. Чудинова Э. Будаев, сказавший о том, что система метафорических моделей СМИ служит индикатором общественного состояния, мировидения общества даже в том случае, когда общество не отдает себе отчета в состоянии собственного сознания (Будаев 2007: analculturolog.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=368) – мне бы хотелось только сказать о неизбежности этой метафоры в наших устах и о разных уровнях ее существования в общественном сознании, как, впрочем, и других базовых метафор, структурирующих на определенном этапе жизни социума его мировидение (далее: структурных метафор).

Конрад Лоренц, как известно, различал межвидовую и внутривидовую агрессию в животном мире, наследником инстинктов которого является человек. Лоренц приводит пример того, как нереализованный инстинкт агрессивности у человека, в принципе, не чуждающегося убийства сородича (внутривидовая агрессия, по Лоренцу), может приводить к тяжелейшим неврозам: он рассказывает об индейцах племени юта, тяжело страдающих от избытка агрессивных побуждений, не реализуемых в условиях урегулированной жизни современной индейской резервации в Северной Америке. Индейцы-юта, которые в течение нескольких столетий вели жизнь, практически полностью состоявшую из войн и грабежей, сегодня чаще, чем другие люди, подвержены неврозам и склонны к самоубийству. В этом племени существует строжайший запрет на убийство соплеменника (насилие по отношению к чужим – межвидовая агрессия – в порядке вещей). Перед нами пример запрета на внутривидовую агрессию, приводящего к тяжелым нервным срывам (Лоренц 1992: 18). Таким образом, частота реализации военной метафоры, отражающей потребность человека в выплеске агрессии, есть не только наследие истории народа, но и архетип сознания, имеющий свои истоки в животном мире...

Нужно сказать, что метафоры *внутривидовой борьбы* весьма популярны в современном российском дискурсе, что также связано с экстралингвистической ситуацией – отсутствием подлинно противопоставленных политических партий в спектре политических сил России. *Внутривидовая борьба в российской политике, внутривидовая борьба единоклассников, КПРФ на пути внутривидовой борьбы* и т.п. – эти метафоры

можно считать новинкой политических дискурсивных практик, тем не менее связанной с основной – военной – метафорой и вместе с тем отсылающей к ее биологическим архетипическим истокам.

Если миром правит метафора *борьбы*, то те, кто говорят по ее сценарию, практически произносят один и тот же текст, независимо от лагеря, к которому себя причисляют. «И “ведьмы”, а вернее – красно-коричневые оборотни, нагля от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать... Что тут говорить? Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?» Кому принадлежат эти слова? – Здесь и эпитеты *ядовитые, грязные*, использовавшиеся в дискурсе власти СССР против тех, в ком она видела своих врагов, и *оборотни* – слово, столь знакомое по шпионским скандалам в СССР, цель которого – расчеловечить «противника», и *нагля*, и народ в качестве тотема и многое другое, знакомое по процессам, берущим истоки в далеких 30-х годах. А под письмом – подписи людей, глубоко уважаемых в обществе в качестве тех, кто противился торжеству репрессивной системы (Письмо 42-х 1993). Автор не хотел бы называть фамилии известнейших русских интеллигентов, как ему кажется, потерявших в этот момент «чувство стиля» – это случилось в октябре 1993 года, когда политическая борьба едва не переросла в гражданскую войну. Если продолжить разговор об октябре 1993 в Москве, то здесь произошло скрещивание метафор *войны* и *шоу*: политическая борьба стала войной, а война вокруг Белого Дома, в соответствии с правящей тогда театральной метафорой, транслировалась по телевизору (!) как шоу, и многие «зрители» (автор хранит эти воспоминания в памяти) не могли, по их словам, «оторваться от экранов».

Говоря о реализации структурных метафор, можно, как представляется выделить парадигму базовой структурной метафоры, исходя из того, что именно находит реализацию в общественной практике: дискурсивный уровень метафор или следствия из них, имеющие вид неречевых (не только речевых) действий. При этом язык также испытывает определенную зависимость от формы реализации метафоры.

К первому (верхнему) уровню реализации метафоры можно отнести случаи, когда сфера-мишень и сфера-источник в сознании языкового коллектива отождествляются. При этом метафора регулирует деятельность социума и озвучивается в его речевых практиках, например, политическая борьба или конкуренция в бизнесе воспринимаются как настоящая война. В таком случае название оппонентов *врагами* или *предателями* ведет к таким же последствиям, как если бы это

было на фронтовой полосе. Выражение *враг народа*, берущее свой исток во Французской революции (*ennemi du peuple*), было использовано в российской практике впервые Лениным по отношению к партии кадетов, которая в целом была представлена им партией «врагов народа». Как известно, Ленин определил слои населения (купечество, духовенство, прочие имущие слои), которые могут быть отнесены к *врагам народа* и на этом основании уничтожены. Интересно, что словари русского языка, начиная от словаря Ушакова и до Словаря русского языка (1981), в качестве иллюстрации к первому значению приводят *классовый враг*, *идейный враг*, само же значение толкуется практически тавтологическим образом: «Тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы с кем-нибудь» (МАС), чего, естественно, нет в словаре Даля: «противник, неприятель, супостат, недоброжелатель, злорадец, (супротивник, противоборец; также в знач. общего противника рода человеческого, дьявола, сатаны или в значении военном, неприятельской земли, войска)». При таком толковании метафоричность значения в выражении *идейный враг* перестает ощущаться. *Враг* – не тот, кто реально причиняет зло, кто нападает на родную землю, а тот, кто может не соглашаться с идеей, мыслями, планами. Поэтому он должен быть физически устранен. Это и есть тот уровень жизни концептуальной метафоры *мир – фронт борьбы* (*мир – это война*), при котором происходит полное уподобление сферы-источника и сферы-мишени, результатом чего являются соответствующие действия.

Второй уровень существования структурной метафоры – наличие понимания того, что имеет место уподобление, а не отождествление двух сфер. Метафора находит вербальное воплощение, но следствия из нее не реализуются в практической деятельности социолингвистического коллектива. Так, если один из руководящих государственных деятелей говорит журналисту: «Враги прямо перед тобой, ты с ними воюешь, потом заключаешь перемирие, и все ясно. Предателя нужно уничтожить, раздавить... Знаете, Алексей, вы не предатель. Вы враг (www.newsru.com/russia/16sep2008/echo.html), и за этим не следует соответствующих действий, то мы можем констатировать дискурсивный (собственно метафорический) уровень существования структурной метафоры и производных от нее номинаций действительности – уровень «растождествления» сферы источника и сферы-мишени. Как сказал поэт, «в России не много таких насчитаешь эпох / Прохладно-отрадных, и чудится в этом подвох» (А. Кушнер). Современный политический дискурс пестрит метафорой *врагов народа*: ср. политический бестселлер Дм. Рогозина под названием «Враг народа», список «врагов народа» на одном из националистических сайтов с именами правозащитников и сотрудников правоохранительных органов, противодействующих ксенофобии. Опасность такой концептуализации мира, даже при растожде-

ствлении членов метафорической модели, заключается в том, что второй уровень метафорической концептуализации может легко перейти в первый, что не раз случалось в истории. На названном сайте в разделе «Жертвы большой политики» указаны имена и фамилии правозащитников, следователей и сотрудников правоохранительных органов, их домашние адреса, паспортные данные, ИНН и места работы. По словам Александра Брода, фигурирующие в списке люди «очень взволнованы, поскольку опасаются насилия, учитывая, что в этом году национал-радикалы просто распоясались» (NEWS.ru.com: <http://www.newsru.com/russia/23apr2008/spisok.html>). Автору хотелось бы привести пример, казалось бы, неожиданного случая перехода уровня растождествления членов метафорической модели мира как фронта в уровень их отождествления. Некогда, анализируя советский публицистический дискурс, автор усматривал сюрреалистический момент в таких, например, строках из литературных статей периода «оттепели»: автор статьи «Пусть камни говорят и учат» рассказывает о подписанном Лениным в 1918 года декрете «О памятниках великим деятелям социализма, науки, литературы и искусства»: «...Называя имена тех, кому предстояло стать навсегда на улицах и площадях... революционный народ имел в виду, что отлитые в бронзе, они будут не просто напоминать о себе, но и жить, бороться и действовать... Памятники должны были быть поставлены для того, чтобы сражаться в одном ряду с комиссарами, агитаторами и отважными воинами» (Цимбал1966: 191). Картина памятников, идущих в бой вместе с воинами Красной Армии, напоминала автору ожившего Командора, и сознанию, не пронизанному духом военной метафоры, она представлялась жутковатой. Те, кто «отлит в бронзе», лишены покоя после смерти, имеют свою «посмертную судьбу»: «жить, бороться, действовать». Однако прошло совсем немного времени, и «бронзовый солдат» в Таллине стал участником (если иметь в виду его удаление с «поля боя») и причиной подлинных сражений, с настоящими жертвами.

Нужно сказать, что иногда трудно различить уровни реализации метафоры в сознании, стоящем за определенным текстом. Так, «Независимая газета» в конце 1998 года помещает статью с названием «Верная твердыня православия», где автор Маруся Климова, рассказывая о строительстве Исаакиевского собора, возведенного, как известно, по проекту Огюста Монферана, в частности, пишет: «В поручении этого проекта молодому французскому архитектору заключался некий утонченный садизм: француз должен был воспевать мощь России, победившей в войне его родину, католик возводил памятник православной религии. Можно смело утверждать, что Монферан был первым русским коллаборационистом (и даже коллаборационистом в «квадрате»). Следовательно, начало французскому коллаборационизму было положено еще императором Александром I в 1818 году» (Климова 1998). Отметим, что

Монферан выиграл конкурс на лучший проект в 1809 году, то есть до Отечественной войны 1812 года – М. Климову, видимо, такие подробности не интересовали. Сознание, рассматривающее мир сквозь призму неизбежного военного противостояния, готово увидеть его приметы всюду, где намечаются контуры оппозиции «свой – чужой». Приведенный пример еще раз иллюстрирует и безусловную правоту А.П. Чудинова и Э. Будаева об агрессивном потенциале российской прессы в названный период, и, надеюсь, служит подтверждением мысли об архетипичности метафоры *войны / борьбы*: неявные антизападные настроения с годами переросли в открытые, агрессивный потенциал прессы стал действующим инструментом политической жизни: «Запад – враг России» (<http://www.islamnews.ru/news-8490.html>); «По мнению Илларионова, Россия пытается спровоцировать высокопоставленных чиновников западных стран на жесткие высказывания в свой адрес. Это необходимо для того, чтобы мобилизовать электорат против внешнего врага. Подобная кампания в России проводится под каждые выборы. В 1996-м году врагом были объявлены коммунисты, в 2004-м - олигархи, а в 2008-м эта роль уготована Западу» (<http://www.klerk.ru/more/?77485>).

Возвращаясь к тексту М. Климовой, думается, уместно констатировать наличие второго – дискурсивного уровня существования военной метафоры: метафора военного противостояния развертывается в тексте, но никаких действий по отношению к «коллорационисту» Монферану не может последовать. Тем не менее, если предположить, что французы решат по образцу других народов пересмотреть свою историю, может возникнуть изменение отношения к известному архитектору: если бы соотечественники Монферана решили вычеркнуть его из своей истории на том основании, что он был «коллорационистом», то мы бы имели реализацию первого уровня концептуальной метафоры. Остается надеется, что второй уровень существования военной метафоры все реже будет перерастать в первый – подлинного военного противостояния.

Третьим уровнем реализации (существования) структурной метафоры является употребление обусловленных ею номинаций как практически клишированных обозначений действительности, метафоричность этих номинаций ощущается, но образно-экспрессивный потенциал метафоры исчезает: на левом фланге партии, предвыборный штаб/ борьба, победить политических противников и т.п. «Стертые метафоры» представляются «эхом» концептуальной военной метафоры – именно они неизбежно присутствуют в нашей речи, независимо от предмета говорения: кинематографисты *ведут борьбу на кинофестивалях, мы убиваем время* и даже *боремся с жизнью*, не понимая того, что результатом победы над жизнью может быть только смерть. Но и третий уровень – стертых метафор – может реактуализиро-

ваться и перерасти в иные уровни существования базовой метафоры: например, конкурентные отношения в бизнесе, трактуемые в терминах борьбы и войны, приводят к подлинному «отстрелу» актантов бизнес-ситуации.

Идея разноуровневого существования структурной концептуальной метафоры в полной мере относится и к другим структурным метафорам, упоминаемых выше: так массовый исход мастеров сцены в политику можно расценивать как полное отождествление политической трибуны и артистической сцены (*весь мир – театр*). Интересно, что живя метафорой театра, лингвокультурный коллектив перестает ощущать разницу в значении слова *роль* в таких употреблениях, как *роль интеллигенции* (=значение), *социальная роль* (=функция) и *артистическая роль* (=художественный образ). Примером такого смешения прямого и метафорического значений слова *роль*, как представляется, является следующее высказывание известного российского политического комментатора: «Политик не актер, он сам себе и сценарист, и режиссер – это главная его функция. Ну и актер, исполнитель, естественно. Все люди, всякая профессия предполагает какую-то роль, у врача, у журналиста, у политика, у любого есть социальная роль. Поэтому, когда это путают с тем, что он все врет – это немножко другое дело. Разные есть игры, разные есть актеры и режиссеры, а роль она у всех людей есть, без роли вообще жить нельзя» (Леонид Радзиховский в передаче «Радио Свобода». Ответ на вопрос: «Должен ли политик быть актером?») (Политика и лицедейство: 2003, <http://www.svoboda.org/programs/rt/2003/rt.080703.asp>). Отметим, что только в театре / кино роль *играют хорошо* или *плохо*, в остальных случаях *роль выполняют / исполняют*. Если же роль врача играют, то к такому врачу крайне опасно обращаться пациентам. Интеллигенция может *сыграть свою роль*, но роль эта может быть только *большой* или *незначительной* – *хорошо* же *играть свою роль* интеллигенция не может.

Как уже было сказано, исследования политической метафорики показывают, что в дискурсивной практике происходит мена доминирующих метафор. Милитарные метафоры могут занимать ведущие позиции в политическом дискурсе определенного сообщества и могут эти позиции сдавать, никогда не уходя, в силу своей архетипичности, из когнитивных структур социума. [В дискурсе «молодых демократий» 90-х годов, например, в Литве, в качестве наиболее популярного обвинения, предъявляемого политическим оппонентам, было обвинение *предатель нации (tautos išdavikas)*]. Как показывает время, милитарные метафоры сдают позиции под натиском других метафор, определяющих мироощущение социокультурного коллектива на определенном этапе его существования. И вот здесь хотелось бы отметить в российском дискурсе появление метафорики нового типа, производной от структурной мета-

форы, которая до сих пор не отмечалась как характерная для российского дискурса. Он запестрел метафорами *супермаркета* для обозначения пестроты политического спектра или использования супермаркетов для проведения политических акций. [«После победных для партии выборов 2003 г., несмотря на почти неизбежное превращение массовой правящей партии в некий «идейно-социально-политический супермаркет», в ней структурировались три идеологические платформы» (<http://gazeta.rjews.net/hanin11.shtml>)], *секонд-хэнда* для обозначения вторичности политических идей [«Потому что все, что делает и предлагает сегодня президент... – это все политический «секонд-хэнд» с плеча Кучмы, который Ющенко решил поносить» (<http://narodna.org.ua/news/2007/07/09/4256/>)], *шопинга* [«Политический шопинг ХАМАСа» www.ng.ru/tag/granitsa/)], *франчайзинга* для обозначения поиска политических покровителей [«В Украине стремительно развивается политический франчайзинг – передача в управление брэндов раскрученных политических блоков и партий, считает киевский политолог Андрей Ермолаев» (<http://www.newsukraine.com.ua/news/44637/>)] и т.п.

Читатель уже понял, что речь идет о «торговых» метафорах, или метафорах маркетинга. «Современная эпоха, называемая эпохой глобализации, сопровождается объективными процессами, среди которых особенно следует выделить процесс маркетингизации всех сфер общественной жизни. Процесс маркетингизации в конце XX-го – начале XXI вв. приобрел глобальный характер. Это связано с широким распространением и развитием рыночных отношений, которые стали пронизывать все сферы общественной жизни. В итоге сформировался особый тип массового мышления, базирующийся на рыночных подходах и рыночных ценностных ориентациях. Проникая в область политики, рыночная парадигма сделала возможным появление и распространение в общественном сознании таких понятий, как «политический рынок», «политический капитал», «политический маркетинг»... По аналогии с рыночными отношениями продавцов и покупателей начали трактоваться взаимоотношения между политическими субъектами органами государственной власти и гражданами, партиями и общественностью, кандидатами и избирателями» (Спаский 2005: http://planetadisser.com/see/dis_247949.html).

Весьма показательным с точки зрения построения текста как развернутой метафоры *политика – это маркетинг* представляются выдержки из следующего текста:

***Госдума на пороге банкротства Коммерческий расклад
может опрокинуть политический***

С точки зрения организации бизнеса, нижняя палата парламента представляет собой достаточно локальный рынок с годовым оборотом, не превышающим \$250-300 млн., т.е. на порядок меньше, например, рынка косметических средств и сравним с оборотами интернет-рынка. Транзакции на этом рынке

ограничены: их можно проводить лишь через 450 брокерских контор, персонифицированных физическими лицами-депутатами. Лицензии брокеров – четырехлетние и приобретаются в ходе так называемой «политической борьбы».

Бизнес-цикл каждого «брокера» в Думе (на деле, «депутат» – это ЗАО, а не ПБОЮЛ: без команды официальных и неофициальных помощников народный избранник практически неконкурентоспособен на рынке политических услуг) начинается с инвестиций в приобретение лицензии – а именно, депутатского мандата. Стоимость избирательной кампании на выборах 2003 года для депутата-одномандатника оценивалась в \$250-800 тыс., более или менее проходное место в федеральном списке шести партий – «Единой России», ЛДПР, КПрФ, «Яблока», СПС, «Родины» – котировалось в сумму от \$300 тыс. до \$2,5 млн., в зависимости от обстоятельств. В среднем депутат, покупавший место в Госдуме, выложил за него \$400-500 тыс (Бутрин: 2003 <http://www.globalrus.ru/opinions/135742/0>).

Если говорить об уровнях реализации базовой метафоры, то мы имеем при описанном положении вещей, очевидно, полное отождествление сферы политики и сферы торговли (первый уровень реализации метафоры). При этом деятельность власти регулируется метафорой маркетинга, но власть не озвучивает эту метафору в своих речевых практиках – ее вербальное воплощение происходит в дискурсе СМИ, на данном этапе общественной жизни России не находящихся под жестким контролем властных структур.. Автор приведенной выше статьи говорит, в частности, об отношении россиян к своим политикам: «большая часть населения твердо уверена в том, что российские депутаты идут на выборы за деньгами». И здесь я не могу не привести редакторский казус, происшедший с обращением Исыкульского форума интеллектуалов, который на интернет-странице (www.asiajournal.to.kg/ru/issues/1997/0203/final1.html) выглядит следующим образом:

Обращение участников Исык-Кульского Форума-97 к политическим лидерам мира и международной общественности: Бишкек, 18 июля 1997 года.

В самом тексте обращения писателей и политиков, художников и ученых: «Мы призываем политических лидеров мира». Произошла описка – в столь авторитетном обращении международной общественности, зывающей к утверждению принципов толерантности в мире. Естественно, вспоминается З. Фрейд: «Прямо невероятный случай опитки и описки произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта публично была названа «продажной», надо было дать отпор и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз – в рукописи и гранках; все были очень довольны. Вдруг появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место гласило: «Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым корыстным образом (in

eigenutzügster Weise) отстаивали общественное благо». Само собой понятно, что должно было быть написано: «самым бескорыстным образом» (in un- eigenutzügster Weise). Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась и сквозь патетическую фразу (Фрейд 2006: 218). По Фрейду, в описках и обмолвках сквозит наша подлинная, часто скрытая от нас самих мысль. Не буду утверждать, что авторы приведенного текста видят в политиках только «продавцов» чужих интересов, но волеяневолей допущенные опечатки заставляют думать, что в мире *политических брокеров, дистрибьютеров, риэлторов* подобные казусы являются имплицитным выражением структурной метафоры **политика – это торговля (маркетинг)**.

Итак, в предложенном материале была высказана мысль о том, что каждая из структурных метафор, выражающих мироощущение и мировидение социума, метафора, которой «социум живет», может иметь три уровня своего существования:

1) при регулировании действительности определенной метафорой и ее озвучивании имеет место смешение в сознании членов социума реального и метафорического видения действительности: происходит полное отождествление сферы источника и сферы мишени. Метафорический характер языковых средств перестает ощущаться. Так, для *милитарной метафоры* этот уровень проявляется, как правило, в ведении действий, предусмотренных кодексом фронтовой полосы, против «врагов», «предателей» и т.п. Для метафоры *шоу* этот уровень реализуется в отношении к любому действию, событию как к требующему визуального освещения. «Общество спектакля», в котором мы живем благодаря телевидению, практически оставляет обществу единственный уровень реализации этой метафоры – уровень смешения реального действия и игры. Видимо, можно говорить о том, что утверждение данной метафоры в сознании общества сопровождается на первых этапах вхождением людей артистических профессий в политическую жизнь общества и, напротив, стремлением людей политики «выступить» на настоящей сцене. Постепенно расцветает имиджмейкерство и политическая режиссура (политтехнологии). Применительно к метафоре *маркетинга* этот уровень реализуется в покупке депутатских мест и голосов избирателей, что рассматривается частью общества как нормальное явление, не влекущее ответственности.

Мы не останавливались на метафоре *болезни общества*, рассматриваемой многими исследователями. Думается, что действительность дала нам печальные примеры реализации первого уровня этой метафоры: заключение инакомыслящих в психиатрические больницы и лечение их соответствующими препаратами.

Таким образом, первый уровень существования структурных метафор реализуется через непосредственные действия в концептуализируе-

мой данной метафорой действительности (возможно, обозначение этого уровня как *первого* следует считать неточным. Лучше говорить о верхней границе реализации парадигмы структурной метафоры);

2) второй (срединный) уровень существования структурной метафоры – дискурсивный (собственно метафорический). Он проявляется в текстовом развертывании метафоры, в использовании соответствующей языковой метафорике, имеющей образный характер, но не влечет за собой действий, вытекающих из метафоры на правах ее следствий. Так, *милитарная* метафора не приводит к уничтожению «врага», а только к его словесному осуждению, метафора *шоу* должна побуждать политика чувствовать свое «расколотое» Я – между сущностью и имиджем, как чувствует актер различие между собственной личностью и воплощаемым образом. «Зрители» в таком случае вправе упрекнуть «исполнителей ролей» в неискренности и лицедействе. [Ответ на вопрос: *должен ли политик быть актером?* – «Конечно, нет, конечно, не должен быть лицедеем. Так как артист – это буквально профессия, относящаяся к совершенно определенной отрасли, сценической, театральной отрасли. Публичный человек должен владеть навыками публичной деятельности, любой публичный человек, но что же касается политической публичности, безусловно, здесь, на мой взгляд, налагаются определенные ограничения. Он должен соответствовать своему предназначению» (Каринэ Гюльбазизова «Радио Свобода»: <http://www.svoboda.org/programs/rt/2003/rt.080703.asp>)].

Применительно к метафоре торговли собственно метафорический уровень реализации проявляется в использовании метафор *политического шопинга, супермаркета, сэконд-хэнда* и т.д. При этом отношения в политической сфере, как и во всякой другой, уподобляемые рыночным, в обществе не принимаются как естественные: «Граждане товарищи, не гоните! Надеюсь, вы смотрели вчерашние новости – и особенно «реальную политику», хе-хе. То, чем хотят выставить движение другороссов, и чем его выставляют – наиболее логичный ход властей. Касьянов – прозападный урод, Каспаров – политический брокер (Сорвав куш, он сматает куда-нить в Куршевель: <http://forum.msk.ru/material/news/325968.html>). Отметим, что в случаях двух последних метафор (*шоу* и *торговли*) дискурсивный уровень реализации метафоры характеризуется выражением негативного отношения к сфере-мишени, а при переходе на первый уровень – от слов к делу – эта оценка нейтрализуется. «Игра» политиков перед «электоратом» или покупка депутатских мест начинают восприниматься как естественные явления;

3) к третьему уровню реализации структурной метафоры (нижней границе парадигмы структурной метафоры) было отнесено использование «стертой» языковой метафорике в дискурсивных общественных практиках. Стертые метафоры, особенно если они связаны с архетипами

человеческого сознания, склонны «оживать», переводя структурную метафору на другие уровни – сознательного речевого и физического действия.

Думается, можно говорить о том, что, если третий уровень структурной метафоры реализуется в дискурсе лингвокультурного коллектива как элемент его языковой системы (дело сторонников «политкорректности» ставить запреты на пути реализации военной метафоры в языке, чтобы не провоцировать выплеск агрессии по отношению к Другому), то соотношение двух других уровней составляет специфику переживаемого общественного периода: можно *делать, не вербализуя метафору, обозначать, не реализуя экстралингвистических следствий, делать и обозначать*. Думается, исследование этих аспектов существования политической метафоры может задать новый спектр исследовательских вопросов: ***вопрос официального (общественного) лицемерия, общественного бессилия, утверждения метафоры как общественной идеологии***, как, если власть выстраивает жизнь своих подданных на основе определенных метафор (выборов как спектакля), но не озвучивает метафору, а общество молча принимает такое регулирование жизни, то мы имеем общественное лицемерие. Конечно, здесь существует более сложный спектр общественных отношений: общество понимает и принимает /общество понимает и не принимает/, общество не понимает и принимает. Видимо, каждая из этих ситуаций сопровождается своим набором дискурсивных практик - их характер требует отдельного исследования.

Если власть или оппозиция концептуализируют в тексте действительность определенным образом, но не прибегают к реализации на практике следствий из концептуальной метафоры (не арестовывают «врагов» или не «лечат» общественные болезни), то мы имеем ситуацию официального бессилия. Если оппозиция обозначает действия власти через метафору с негативным оценочным потенциалом (*политика – торговля*), и при этом ситуация в обществе не меняется, можно говорить об общественном бессилии. Наконец, если власть или другая общественная группа реализуют метафору и следствия из нее и в тексте и в практической деятельности, мы имеем идеологию этой общественной группы. Автор отдает себе отчет, что предложенная им схема существования концептуальной метафоры может быть серьезно уточнена и скорректирована в дальнейших исследованиях – если это произойдет, автор будет считать, что высказанная им идея продуктивна.

Литература

Богданов К.А. О крокодилах в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2006.

Будаев Э. Политическая метафора в лингвокультурологическом аспекте // Аналитика культурологии. № 3 (9), 2007.

Бузин А. Административные избирательные технологии московская практика. – М.: Центр «Панорама», 2006.

Бутрин Д. Госдума на пороге банкротства // Глобалрус. 22.12.2003. <http://www.globalrus.ru/opinions/135742/0>

Дебор Г. Общество спектакля. – М.: Логос, 2000.

Маруся Климова. Верная твердыня православия // Независимая газета. 22.12.1998.

Письмо 42-х. // Известия. 5.10.1993.

Политика и лицедейство. 2003. <http://www.svoboda.org/programs/rt/2003/rt.080703.asp>.

Фрейд З. Психология бессознательного. – СПб: Питер, 2006.

Цимбал С. Пусть камни говорят и учат. (О монументальной пропаганде) // Звезда. № 1, 1966.

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное политической метафоры. (1991-2000). – Екатеринбург, 2001.

Глава 6. ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Один из крупнейших мыслителей XX века Ойген Розеншток-Хюсси считал, что здоровье нации, гигиена ее умственной жизни зависит от четырех устойчивых тенденций: «от того, как мы описываем, тем самым рассекая и расчлняя. Как мы поем и тем самым ликуем, как мы выслушиваем распоряжения и тем самым изменяемся, и от того, как мы благодарим и тем самым увековечиваем реальность (Розеншток-Хюсси: 1995, с. 84)¹. Эти четыре тенденции, воплощенные в разных видах дискурса, соответствуют четырем основным установкам человека: пластичности, конвенциональности, ликованию, агрессивности – человек пластичен, когда поддается повелительному наклонению, он ликует, поверив открытому внутри себя, и следует конвенциям, когда редуцирует прошлое, повторяя условные ритуальные формулы и тем самым устанавливая связь между прошлым и будущим. Наконец, человек агрессивен, когда, обозначая, вырывает из континуума действительности ее фрагменты и, фиксируя их в слове, придает им завершенность и статику, окаменелость [«Мы ему поставили пределом мертвые пределы естества, оттого как в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова» (Гумилев)].

Если принять тезис Розенштока-Хюсси как основу для диагностики состояния общества, то следует ответить на вопрос, каковы же характеристики четырех указанных видов речи в пространстве текста, каким он предстает взору лингвиста в последнее десятилетие XX века и первое десятилетие нового тысячелетия? Ответ на этот вопрос может позволить увидеть симптомы общественных недугов или выздоровления, которые должны проявиться в поведенческих реакциях и мироощущении, уже эксплицитно выраженном в текстах. Кроме того, анализ может показать динамику изменений в мироощущении общества и, если, выкладки верны, почувствовать тенденции, дух времени, возможный вектор общественного движения. Правда, стремясь проанализировать соответствующие виды дискурсов с позиции обозначенных в них симптомов общественных болезней, требуется, видимо, уточнить, что считать проявлением общественного недуга или, напротив, выздоровления. Попытаюсь ответить на этот существеннейший вопрос в процессе исследования.

В предлагаемом читателю исследовании делается попытка проанализировать на основе песенного дискурса конца прошлого–начале нынешнего века особенности питающих это время и часто не осознаваемых в эксплицитной форме идей, и таким образом очертить то, что в эпоху, заявляющую об отсутствии национальной идеи, составляло ее идеологию.

¹ Розеншток-Хюсси. Речь и действительность. – М.: Лабиринт, 1995. С. 84.

Употребленное понятие *идеологии* применительно к объекту исследования – песне (и в частности, лирической) – неизбежно требует обращения к спорам о том, что есть идеология. В самом первом приближении я как лингвист позволю ограничиться положениями В. Волошинова о том, что «где нет знака, нет идеологии» (Волошинов: 1995, с. 221). Позволю себе изложить не которые положения работы В. Волошинова «Наука об идеологиях и философия языка»¹.

Всякий идеологический продукт... преломляет другую, вне него находящуюся действительность.

Область идеологии совпадает с областью знаков.

Знак противостоит знаку и возникает только между социально организованными индивидами.

Индивидуальное сознание есть социально идеологический факт. Оно складывается в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива. Если лишить сознание его знакового содержания, от него ничего не останется.

Слово – идеологический феномен *par excellence*, оно – чистейший медиум социального общения и сопровождает все идеологическое творчество.

Всякое идеологическое преломление становящегося бытия сопровождается идеологическим преломлением в слове как обязательным сопутствующим явлением.

СЛОВО – наиболее чуткий показатель социальных изменений, «притом там, где они еще только назревают, где они еще не сложились, не нашли доступа в оформившиеся... идеологические системы Слово способно фиксировать все переходные, тончайшие и мимолетные фазисы социальных изменений (Волошинов:1995, с. 231).

Основная идея предлагаемого читателю исследования заключается в общем-то в достаточно тривиальном утверждении о том, что лирическая песня, являясь отражением духа времени, несет в себе специфическим образом воплощенную идеологию этого времени. Эволюция идеологических воззрений, отраженная в песне 50-х – конца 90-х годов ушедшего века, и составляет предмет внимания в данном исследовании. Судить же о характере изменяющихся идеологических установок общества можно на основании внимательного наблюдения за изменениями, происходящими с «чистейшим медиумом социального общения» – словом, используемым в песенном жанре.

В данном исследовании, говоря о лирической песне, мы, видимо, расширяем ее понимание, относя к лирической песне не только те, где выражено эксплицитное переживание отдельной личности (написанные от лица *Я* и повествующие о переживаниях этого *Я*). Существуют эпохи, когда *Я* ощущает теснейшую слитность с *МЫ*, и именно это ощущение рождает

¹ Волошинов В. Философия и социология гуманитарного знания. – СПб., 1995.

эмоцию одиночества, ликования, общего возбуждения. Разумеется, «Смело, товарищи в ногу» вряд ли можно отнести к лирической песне, так как она оказывает мобилизующее гражданское воздействие. Но разве в поэзии не говорят о гражданской лирике? Будем исходить из того, что и словесный ритм, и, конечно, музыкальный, определенным образом действующие на бессознательные структуры психики, придают особую интенсивность эмоции, возбуждаемой песенным текстом, в силу чего всякая песня, реализующая эмотивную функцию, то есть побуждающая эту эмоцию разделить, преисполниться определенного настроения, может быть признана лирической (напр. «Прощай, любимый город» А. Чуркина, написанная от лица *МЫ*). Если же в песне преобладает побудительная функция, ее цель видится в мобилизации слушающих к общему действию, тогда мы можем исключить эту песню из разряда лирических.

Согласно Г. Маркузе, любой текст несет коды мышления и поведения стоящей за автором текста социальной группы¹ [Marcuse: 1967, с. 205-206]. По этой причине разумно предположить, что и песня содержит в себе определенные словесные коды, или, иначе говоря, риторическое выражение стоящей за песней идеологии, как сознательной, так и бессознательной. В обществах, откровенно идеологизированных и берущих искусство под опеку государства, песня не может не выражать его ценностных установок, но делает это в специфической форме: она отражает не столько идеологию, ориентированную на борьбу с Другим, Чужим, сколько психологию, ориентированную на Авторитет, т.е. на утверждение таких моделей поведения, которые почитаются достойными, авторитетными в обществе, стоящем на определенном идеологическом фундаменте.

Цель предпринятого исследования, как уже отмечалось, заключается в том, чтобы проанализировать «словесные коды», т.е. определенные риторические формулы, выражающие, по мнению автора, дух времени, его идеологию в лирических песнях 50-70 гг. и в песнях последнего десятилетия ушедшего века. Песни 50-70 гг. являются до сих пор востребованными текстами и занимают в репертуаре современных исполнителей видное место, что говорит о некоей их вневременной ценности. Конец XX века ознаменовался появлением «радикальной песни», в наибольшей степени порывающей с лирической песенной традицией прошлого («Мумий Тролль», Земфира, «Адо» и др.). Сопоставление «говорения о любви» в песнях середины и конца века предполагает выявление эволюции сценариев речевого песенного поведения и выдвижение соответствующих интерпретационных гипотез происшедших изменений.

Таким образом, исходная установка анализа языка песни состоит в том, что песня как вид идеологического дискурса, являющегося в обществах, сознательно исповедующих определенную идеологию, по своей

¹ Marcuse Herbert. L'uomo a una dimensione. – Torino, 1967

природе предписывающим, не может не выполнять общих функций этого дискурса. В обществах деидеологизированных песня, скорее, выражает бессознательную идеологию, или психологию, определенной социальной группы.

Песенный дискурс конца века: Я и Мы-культура. Ликование и печаль

По Розенштоку-Хюсси, в песне человек ликует. «Там, где один запекает, а другой подхватывает, сознания поющих одухотворены одним духом – единомушие выходят на передний план, а все различия сознаний подавляются» (Розеншток-Хюсси. 1995, с. 85)¹.

Это чувство ликования, единомушия в пении, где «один ощущает опору в другом», удивительно подмечено автором «Собачьего сердца» – несмотря на разруху, представители «нового мира» все время поют. Пение становится здесь преобладающим видом общения, создававшим коллективистскую «Мы»-культуру, элиминировавшую различия между «Я» и «Ты».

Значимость песенного дискурса как социального явления стала осознаваться довольно поздно философами, антропологами, лингвистами. В России, начиная с появления проекта «Старые песни о главном» (новогодняя ночь 1996), возникла необходимость социологического объяснения популярности этого культурного феномена – и делалось это в терминах ностальгии по прошлому. В период как будто прощания с духом прошлого, ценностями коллективистской культуры, эпохой несвободы личности вдруг обнаружилось, что нового «главного» или не существует, или оно требует осмысления, или не вдохновляет на создание песен, которые бы вызывали ликование и дарили чувство неодинокства. Понадобился пристальный анализ лирической песни – ее риторики и идеологии, чтобы понять место этого дискурса в выяснении «общих мест» эпохи, выражающих ее дух.

Несколько слов о «духе» конца прошлого века, запечатленном в песенном дискурсе. Конец XX века представляется автору временем, когда общество не создает песен, предназначенных для хорового исполнения – солирует «Я», отделенное от «Ты» стеной одиночества и не соединяющееся с ним даже в любви

Ты морячка – я моряк
Ты рыбачка – я рыбак
Ты на суше, я на море
Мы не встретимся никак

(О. Газманов)²

¹ Розеншток-Хюсси. Речь и действительность. – М.: Лабиринт, 1995.

² Здесь и ниже песенные тексты цитируются по сб. «Нам песня строить и жить помогает».

Здесь разрушение изначальной общности, выражающейся в том, что Он и Она названы словами с общим корнем, то есть *родственными* (термин школьной грамматики), подчеркнутое противопоставляющим знаком тире, обуславливается именно тем обстоятельством, что родственные слова имеют общий корень, но... разные суффиксы. Эта разность служебных частей слова становится достаточно мотивированным выражением причины, по которой «моряк» и «морячка» никогда не встретятся, ибо они обитают в разных мирах («море» и «суша»). Перефразируя Козьму Прутковка сегодня, можно сказать: «зри не в корень, зри в суффикс». Не значимые вещи – ревность, невзаимная любовь, неверность – разводят людей, они не могут встретиться просто из-за «детали», разводящей их по разным пространствам (как тут не вспомнить постмодернистское внимание к детали – к возможности в малом увидеть большое). В простенькой разбитной песенке Олега Газманова проглянул призрак гендерных проблем, одиночества человека современного общества, живущего «в раздробленном пространстве и времени» (Ю. Кристева, 1998, 257).¹ Возможно, популярность «старых песен о главном» объясняется тем фактором, что в ситуации, когда история утратила привычные очертания и понятия добра и зла стали не столь определенными, человек потянулся к простому и ясному говорению о том, «что такое хорошо», и в этом говорении было важно единство понимания вечных категорий добра и зла: человек, обращаясь к песням прошлого, обретал искомое единодушие и единство, и ему становилось не так страшно. «Дух оптимизма един для советских песен всех поколений от 30 до 60-х годов – пишет С. Бойм (Бойм, 2002, с. 135)², отмечая, что советская песня освобождала от рутины повседневности, действительно облегчая жизнь. Да, она была элементом «сталинского спектакля» (об «обществе спектакля» принято говорить в применении к современному обществу потребления. Видимо, С. Бойм права, называя спектаклем ритуализованную действительность советского времени, чей сценарий не допускал отклонения от произнесения определенных реплик в соответствующих ситуациях (напр., акты благодарности в адрес партии и правительства или обязательное цитирование марксистско-ленинских источников в научных работах любых отраслей знаний) – эти спектакли были организованы (прописаны) по установленным правилам и, в сущности, не нуждались в особой режиссуре, как не нуждается в ней отработанный ритуал. Благодаря ритуалу, по Розенштоку-Хюсси, как говорилось выше, осуществляется связь прошлого и будущего. В ритуализованной действительности человек не выпадает из времени – когда же ритуал исчезает, связь

¹ Кристева Ю. Душа и образ // Интенциональность и текстуальность. – Томск: «Водолей», 1998.

² Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. – М.: Новое литературное обозрение, 2002.

времен» распадается. Советская песня, будучи элементом такой театрализованной действительности, имела определенный набор тем, вербализуемых в заранее установленном ключе. Этот «ключ» мы рассмотрим ниже, пытаясь сравнить трактовку вечных тем в «старых» и «новых» песнях, и тем самым по возможности продемонстрировать смену мироощущения на рубеже веков.

Так, герой советской песни – «не одиночка... а коллективное советское “Мы”», в котором растворены и забыты все отдельные “Я”» (там же, 136). Герой конца века начинает чувствовать свое одиночество – наступает эпоха персоналистской Я-культуры. Путь к ней, как неоднократно, отмечалось, имел длительную историю. Возможно, стоит вспомнить о коллективном субъекте Мы-культуры, заявившем в «Интернационале» «мы весь, мы старый мир разрушим». Здесь Мы имело своим референтом угнетенную и обездоленную (а значит, большую в понимании субъекта Мы-культуры) часть человечества. Мы в другой песенной строке – «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути» – относилось к несколько более ограниченному по масштабу референту: им был народ одной страны. Я и Ты объединялись в сильном и грозном Мы и испытывали ликование от чувства приобщения к этой силе. Так, в Мы-культуре выражался человек угрожающий, который, утверждаясь в своей силе, переходил в человека ликующего (ср у Ю. Давыдова: «Гимназисты, притаив дыхание, воодушевлялись гордой слитностью своего мизерного, с поротой задницей «Я» и ребросокрушительного «Мы», способного всем языцам дать «карачун»-об уроках истории и учителе, постоянно произносившем «мы взяли», «мы покорили» («Вечера в Колмове»).

Человек ликующий несколько позднее стал ощущать себя сверхчеловеком, продолжая осуществлять тем не менее чисто русскую задачу: «преодолевать пространство»

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
 Преодолеть пространство и простор
 Нам Сталин дал стальные руки-крылья
 А вместо сердца пламенный мотор¹
 (Авиамарш)

Ликующее Мы имело здесь своим референтом наиболее престижную группу советского населения – летчиков, олицетворяющих боевую

¹ Подробный анализ этой песни предложила Светлана Бойм в «Мифологии повседневности. В частности, автор указывает, что песня была написана малоизвестным поэтом П. Германом и композитором Д. Хайтом в 1920 году, но популярной стала спустя 10 лет. Песня была переведена на немецкий (несмотря на то, что была создана людьми еврейского происхождения), «покорив фашистское воображение своей патриотической мелодией», однако вместо слов «все выше и выше и выше» там пелось «Хайль, Гитлер» и «бей жидов, спасай Германию» (Бойм, 2002, 137).

мощь страны, но припев («все выше и выше и выше»), очевидно, большинство членов советской общности относили к себе. С. Бойм рассказывает в «Мифологии повседневности», как ее живущий в Америке пожилой отец напевает эту песню, загружая посуду в посудомоечную машину. Молодое поколение предвоенных лет через *Мы* громко заявило о себе и в поэзии – стихотворение Н. Майорова так и называлось: «*Мы*» (ср. также более позднее стихотворение С. Гудзенко «*Мое поколение*»). Таким образом, при разности тональностей, песня на слова Д. Хайта и стихотворение Майорова представляют собой явления *Мы*-культуры, где размышления о личной судьбе возможны только через призму судьбы общей.

В 50-60 годы «*Мы*» в песенной культуре интимизируется, сужая размеры референтной группы до числа представителей определенной профессии и т.д.: «Не кочегары мы, не плотники...». В это время появляются песни геологов, журналистов, космонавтов, милицейских работников из знаменитого сериала «*Следствие ведут знатоки*». На первый план в песне выходит человек *созидающий*. И человек *угрожающий*, и человек *ликующий*, и человек *созидающий* были членами некоей общности, создававшей платформу одиночества и вместе с тем, как представляется, устранявшей ощущение интимной близости, близости *двух*: человек в любой ипостаси не говорил вполголоса - его должно было быть хорошо слышно. Интересно, что лучшие военные песни – «Темная ночь», «Вьется в тесной печурке огонь» - написаны от лица *Я*: «каждый умирал в одиночку», и потому на рубеже жизни и смерти ритуальные формулы не работали, прорывалось искреннее, естественное чувство.

Знаменитые 60-годы – это годы поэтов-бардов, время магнитофонной культуры. «Самое главное в магнитофонной культуре, – пишет Светлана Бойм – это интонация и формы обращения. Вместо «*Мы*» громкоговорителей и всенародных хоров здесь мы встречаем интимное «*ты*». Это авторская песня, обращенная не к анонимному зрителю, а к другу» (Бойм, 2002, с. 143). Но как же все-таки *Мы*? Оно остается, например, в песнях В. Высоцкого – он пел от имени альпинистов и подводников, десантников и артиллеристов, но вряд ли его строки воспринимались как относящиеся к какой-то социальной группе: очень многие поодиночке стонали от удущья, многие чувствовали себя волками, на которых «идет охота» (у Высоцкого есть песня о том, как его записи тайком слушает большой партийный чин и ощущает себя персонажем песни: «Это ж все про нас, какие к черту волки» («*Прошла пора...*»), осознавали, что с покоренных вершин предстоит спускаться. «*Мы*» Высоцкого насыщалось личностными смыслами тех, кто его слушал и слышал (не все, конечно, слышали, но создавалось особое братство услышавших), и расширялось вновь до размеров человечества, но не «мчащегося в боях», а думающего, осознающего судьбу – свою, страны,

законы бытия. Так в песню 60-х входил человек *размышляющий*. Этот человек хотел тишины:

А мы стоим, мы курим,
Мы должны услышать три
Минуты тишины
(Ю. Визбор)

Здесь *Я* еще более интимизируется, сужаясь до группы близких по духу людей. Это уже не ликующее *Мы*, объединяющее не чувствующих своей «самости» *Я* и *Ты*. *Я* и *Ты* пока близки друг другу, но они уже предчувствуют разъединение.

Я вспоминаю все сначала
Уже давно убрали трап
На самом краешке причала
Стоишь ты голову задрал.
Вода качается и плещет,
И разделяет нас вода.
Но видно вдруг ясней, чем прежде,
Что мы близки, как никогда
(К. Ваншенкин)

Почему К. Ваншенкин в середине 60-х написал не о встрече, соединении *Я* и *Ты* в *Мы*, – а о разлуке (в этой песне нет ни слова о будущем свидании), разъединении *Я* и *Ты*?

Так на сцену истории в 60-е годы выходит *Я*. Вначале это *Я действующее и ищущее* друзей [«Над лодкой белый парус распушу, пока не знаю, с кем» (Г. Шпаликов. Из кинофильма «Я шагаю по Москве»)], затем, в 70-е годы – *Я, утверждающее свою самоценность*, испытывающее свой звездный час [«Прочь, тревоги, прочь сомненья! Я теперь стою на этой сцене!» (И. Резник. «Маэстро»)] и, наконец, в 90-е – *Я*, которое остается одиноким даже в любви, потому что перестает видеть Другого, будучи сконцентрированным на себе. Приведу строфу незатейливой песенки А. Апиной.

Полюбила парня, да не угадала,
Вовсе не такого я во сне видала
Я его слепила из того, что было,
А потом что было, то и полюбила.
(М. Танич)

Здесь *Я* – активный субъект любви, создающий свой объект – ситуация, которая может быть описана как прецедентная ситуация «Пигмалиона». Однако она имеет ряд значительных отличий от классической эталонной ситуации. Дело не только в том, что феминистские ветры времени отвели роль скульптора женщине. Дело даже не в том, что «Галатея» лепится не из мрамора, а из того, что было (аллюзия: «когда б

вы знали, из какого сора...»). Наступает эпоха эгоцентрического Я – объект так и не становится субъектом: заключительными словами песни остаются местоимения «то» и «что», которые не используются в отношении к человеку. Здесь нет личных местоимений, которые «имеют смысл только тогда, когда вы разговариваете с людьми. Все личные местоимения свидетельствуют о достижении единодушия множества людей, принадлежащих к одному кругу» (Розеншток-Хюсси: 1995, 165).

Приступая к анализу песенного дискурса с точки зрения его диагностических возможностей в области морально-психологического климата общества, мы, как уже было сказано выше, не определили для себя, что есть «душевное здоровье нации», о котором писал Розеншток-Хюсси. Философ видел в пении выражение единодушия и ликования, что свидетельствует, по его мнению, о душевном здоровье нации. Вопрос, который возникает при восприятии этой мысли: до каких пределов должно существовать единодушие и насколько тотальным может быть ликование, чтобы общество квалифицировалось как душевно здоровое? Я думаю, что речь должна идти о некоей пропорции между *Мы* и *Я*, между *Я* и *Ты*, ибо одно *Мы* означает ликвидацию интимной жизни, права говорить о ней. Именно по соотношению *Я* и *Мы*, видимо, в советской идеологии оценивалось произведение искусства – степень гражданственности определялась количеством *Мы*, преобладание *Я* и *Ты* относило поэзию и лирическую песню к разряду салонных или пошлых явлений культуры – таково отношение к поэзии А. Ахматовой («салонная блудница») или к творчеству В. Козина, Петра Лещенко, а в 50-е годы – к популярным в народе песням «Тишина» или «Ландыши». Тем не менее нужно сказать, что творчество Козина, Вертинского, Лещенко было популярно в народе, певшем про «пламенный мотор» вместо сердца, потому что здесь и находили выход интимные потребности *Я*. Можно было хаять «Тихину», в которой не было и намека на гражданские мотивы, но нельзя было ее запрещать. Благодаря соблюдению некоторых пропорций между *Мы* и *Я* в песенном дискурсе, видимо, осуществлялось необходимое равновесие между потребностями души в единении и совместном ликовании и потребностью той же души в лирическом опыте индивидуального переживания. Полное же преобладание *Я*, вытеснение *Мы* свидетельствует о времени отсутствия хорового начала, столь необходимого для русского характера («соборность», «симфонический субъект»)-философские понятия, оформившие это свойство русской души), эпохе индивидуализма, одинокого *Я*. Хорошо ли это? Если исходить из тезисов французских философ-постструктуралистов, осмысляющих практику постиндустриального общества, то «сосредоточенный только на себе, современный человек нарциссичен, может быть, несчастен, но без угрызений совести. Он сетует, чтобы находить в жалобе определенное удовольствие, которого он безусловно жаждет. Если он не

подавлен, то воодушевляется низшими и обесцененными целями... Живущий в раздробленном и стремительном пространстве и времени, он часто страдает, узнавая свое истинное лицо... Это – тело, которое действует часто даже без радости... Современный человек идет к потере собственной души» (Кристева, 1998, с. 257). О теле в русском песенном (и не только в нем) дискурсе будет сказано ниже. Сейчас же сделаем попытку зафиксировать момент, когда *Я* заявляет свое право говорить о себе, а не о *Мы*, и право не только ликовать, что было предписано идеологией официального оптимизма, но и печалиться. Возможно, переход от *Мы* *ликующего, объединяющего и творящего* к *Я* *одинокому* был намечен Б. Окуджавой в его знаменитых строках

Давайте горевать и плакать откровенно,
То вместе, то поврозь, а то попеременно.

Три слова из этих строк – *давайте горевать, поврозь* и *откровенно* – стали метами последующей песенной культуры, ибо носитель предыдущей, видимо, устал радоваться сообща. (На смену коммунальным квартирам пришли отдельные в хрущевских многоэтажках, бывшие, по словам С. Бойм, «лабораторией советского быта»). Вырвавшийся и вырванный из коллективного бытия. человек, получивший отдельную квартиру, получил одновременно и возможность задумываться о себе вне «роевого начала жизни».

Вспомним, что одной из первых песен Окуджавы была «Песенка о голубом шарике», спетая о «Номо Lacimans» – *человеке плачущем*: четыре ее строфы начинались повторяющимися фразами, в которых менялся субъект плача, действие же оставалось неизменным, и жизнь представляла непрерывным «гореванием» о несложившемся: «девочка плачет», «девушка плачет», «женщина плачет», «плакала старушка». В песню эпохи вошел *человек плачущий* (вспомним, что знаменитая песня М. Исаковского и М. Блантера «Враги сожгли родную хату» была запрещена в 1946 году за распространение пессимистических настроений и реабилитирована только в 1956: у героя-победителя не могла катиться по щеке «слеза несбывшихся надежд»).

Мы осталось в песне 90-х, но оно, во-первых, стало соотноситься с гораздо более узкой референтной группой, а во-вторых, что связано с первым обстоятельством, испытало смену мироощущения. Эта перемена становится очевидной, если обратиться к метафоре «крылатости». «Крылья» в русском языковом сознании символизируют подъем духа (*окрыленность*), увеличение возможностей (*как на крыльях*), в то время как потеря крыльев означает, как отмечается в МАСе, «потерю живости, бодрости, энергии» (*опустить крылья, подрезать крылья*). *Мы* 30–40-х годов было «крылатым»: «Нам Сталин дал стальные руки-крылья», «Махну серебряным тебе крылом» – *Мы* 90-х эти крылья потеряло. Так,

один из альбовов группы «Nautilus Pompilius» называется «Крылья» – но речь здесь идет о крыльях, которых уже нет, а вместе с ними нет и человека ликующего.

Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене.
И я вижу свежие шрамы на красивой, как бархат, спине.
Мне хочется плакать от боли или забыться во сне...
Где твои крылья, которые нравились мне?

Герой, произносящий (поющий) эти слова, осознает себя представителем потерявшего что-то важное и потому обреченного *Мы* (в конце прошлого – начале нынешнего века стало принятым говорить о потерянном поколении 90-х: одна из передач на канале «Культура» в феврале 2007 года у А. Архангельского была посвящена вопросу о потерянном/растерянном поколении):

Мы все потеряли что-то на этой безумной войне,
Мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне.

Объем *Мы* здесь неопределен: оно может относиться к двум людям, персонажам сцены, но может быть стоном поколения, которому «подрезали» (или *отрезали?*) «крылья».

Такова смена мироощущения личности, запечатленная в песенном дискурсе 90-х. Человек поющий, сменив ликование на чувство горечи и обреченности, давал знать, что еще сохранившаяся душа болит. Причины этой горечи, очевидно, следует связывать с изменившимися социальными условиями: потерей великих целей, ясных нравственных установок, чувства сопричастности к *Мы*, но вспоминается и Ю. Крестева, чьи слова были приведены выше: *он (современный человек) сетует, чтобы находить в жалобе определенное удовольствие, которого он безусловно жаждет.*

Песня конца века не знает того, что Розеншток-Хюсси полагал необходимым для общественного здоровья – воодушевления, ослабляется хоровое начало: песне трудно подпевать. Но таким ли бесспорным добром является воодушевление общества? Для меня более близкой является точка зрения знаменитого этолога Конрада Лоренца, возводившего воодушевление к унаследованному от животного мира инстинкту защиты, сопряженному с выбросом внутривидовой агрессии. Послушаем Лоренца: «...воодушевление пробуждается с предсказуемостью рефлекса в... ситуациях, требующих вступления в борьбу за какие-то социальные ценности, особенно за такие, которые освящены культурной традицией... Если наше мужественное выступление за то, что нам кажется высочайшей ценностью, протекает по тем же нервным путям, что и социальные защитные реакции наших антропоидных предков, я воспринимаю это как... чрезвычайно серьезный призыв к самопознанию. Человек, у

которого такой реакции нет, – это калека в смысле инстинктов, и я не хотел бы иметь его своим другом; но тот, кого увлекает слепая рефлекторность этой реакции, представляет собой угрозу для человечества: он легкая добыча тех демагогов, которые умеют провоцировать раздражающие ситуации, вызывающие человеческую агрессивность. **Когда при звуках старой песни или какого-нибудь марша по мне пробегает священный трепет, – я обороняюсь от искушения и говорю себе, что обезьяны тоже производят ритмичный шум, готовясь к совместному нападению. Подпевать – значит класть палец дьяволу в пасть»** (выд. нами – Э.Л.) (Лоренц, 1992, с. 29).¹

Если принять точку зрения Лоренца на амбивалентность воодушевления, то можно констатировать, что конец прошлого века был сложным периодом: исчезновение воодушевления можно рассматривать как неоднозначный симптом душевного состояния общества – с одной стороны, мы имеем уменьшение внутривидовой агрессии, ослабленную возможность поддаться манипуляции со стороны демагогов, а с другой – нарушение инстинкта к защите социальных ценностей. Общество находилось в точке бифуркации, в «саду расходящихся тропок». Куда... же плыть?

Видимо, время покажет или уже к этому моменту показало, окончательно ли потеряна способность к воодушевлению (когда общество, по Лоренцу, умирает) или воодушевление, как правило, сопровождающееся определенной агрессией, направленной против покушающихся на декларируемую ценность, способно пробудиться в обществе. Вопрос в том, какая ценность сможет его пробудить (от выбора ценности зависит судьба общества – губительность / спасительность пути).

Дискурс любви и смерти в песне конца века

В высшей степени смена мироощущения, как представляется, отразилась в «песнях о главном» – о любви. Эти песни тем более показательны, что в 90-е годы место на эстрадных площадках заняли прежде всего молодые певцы – с одной стороны, шоу-бизнес открыл им путь «к звездам», не требуя при этом соответствующего образования и следования определенной традиции (в советское время песенную культуру общества представляли в первую очередь те, кто должен был, при наличии музыкального образования, пробиваться к славе сквозь годы и испытания), а с другой – именно они были свободны от стереотипов говорения об этом чувстве, сложившихся в советской культуре. И они создавали новые стереотипы, поддаваясь «духу времени», который, вполне возможно, юные чувствуют острее.

¹ Лоренц К. Агрессия // Вопросы философии. 1992. № 3

Дискурс любви заслуживает особого разговора по разным причинам – вспомним, что Н.Г. Чернышевский увидел в поведении «русского человека на randevу» вполне определенные гражданские качества – нерешительности, неспособности к переменам, боязни ответственности. Отсюда любовное поведение в русской мыслительной традиции стало рассматриваться как своеобразный индикатор возможного гражданского поведения, и отношение мужчины к женщине есть показатель таких его свойств, как чувство ответственности, надежности, способности к действию. Очевидно, дух времени, его феминистская окраска, изменяют традиционные социокультурные роли мужчины и женщины, что не может не отразиться на любовном поведении представителей разных полов и, соответственно, их общественном мироощущении. Исследование «поведения на randevу» таким образом становится социальным исследованием мироощущения того или иного гендера.

Другой причиной, побуждающей увидеть в любовном дискурсе необходимый объект исследования, является его практическая неисследованность с точки зрения его организации – лингвистических структур, отражающих определенное когнитивное состояние (знания, намерения, установки). На это обратил внимание Ролан Барт в книге 1977 года, ставшей практически бестселлером во Франции, – «Фрагменты речи влюбленного»¹. И хотя со времени выхода книги Барта прошло около 30 лет, «язык любви болтливой» так и не удостоился внимания и конкретных исследований ни со стороны лингвистики, ни со стороны социологии (антропологии в целом).

В названной выше книге Барт выделил так называемые фигуры – речевые эпизоды, озвучиваемые влюбленными всех времен и народов. Фигуры – это «обломки дискурса» влюбленного: фигуры вычленяются, когда удастся распознать в протекающем дискурсе что-то, что было прочитано, услышано, испытано. Фигура очерчена (как знак) и памятна как образ (Барт: 1999, с. 82). Анализируя художественные, философские, психоаналитические тексты о любви со времен Платона и до современных психоаналитиков (кстати, не обращаясь к песне), Барт выделил около 80 фигур, которые тематически организуют дискурс влюбленного и покрываются соответствующим полем лексем и целых фраз с типовым значением. По Барту, в глубине фигуры лежит некая синтаксическая «ария», способ конструирования дискурса, который присутствует в нашей памяти – например, если субъект ожидает свидания с любимым объектом, у него в голове бесконечно повторяется ария-фраза «все-таки так нельзя», «все-таки мог бы / могла бы...» (там же, с. 84). На языке когнитивной лингвистики, видимо, можно говорить о том или ином «фрейме» поведения влюбленного, который проявляется в наборе сте-

¹ Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – М., 1999.

реотипных тем и реализующих их реплик. Назовем некоторые из фигур «любвонной» речи, выделенных Бартом: «разлука» (с центральным, по Барту словом *воздыхать*, именующим эмоцию разлуки), «пропасть» (с центральной конструкцией *я пропадаю, гибну*), «самоубийство», «утверждение» и др. Барт не рассматривал специфику распределения фигур любвонной речи на том или ином отрезке бытия культуры и не касался их специфического словесного воплощения. Позволю высказать гипотезу о том, что распределение фигур в любвонном дискурсе зависит как от национально-культурной принадлежности говорящего влюбленного, так и от мироощущения эпохи, в которую переживается любвонное чувство, от когнитивных установок группы, к которой принадлежит «человек поющий», то есть в конечном счете от того, что можно назвать бессознательно впитанной идеологией. Естественно, способ говорения определяется эпохой говорения – влюбленный времен рыцарского поклонения прекрасной Даме говорил иначе, чем человек из подворотни, страстно желающий «Нинку», спавшую «со всей Ордынкой» (Высоцкий). Метод, предлагаемый для анализа отраженного в любвонной песне мироощущения, связан не с описанием стиля говорения о любви, а с выделением преобладающих в определенный период времени фигур любвонной речи – некоторого константного смысла ряда выражений, которыми являются цитаты из песен той или иной эпохи. В свою очередь, на основе песенной метафорики можно выделить концептуальные метафоры, являющиеся глубинной смысловой структурой, обуславливающей ее выражение на поверхностном уровне. Концептуальные метафоры в достаточно сжатой репрезентативной форме позволяют увидеть, как человек концептуализирует мир, в котором живет. Таким образом, мы проводим двойной анализ «песен о главном» – с позиций преобладающих фигур любвонной речи и способов их вербализации (на основе сравнения с песнями предшествующих концу века десятилетий), и с позиций структурирующих мышление *человека поющего* концептуальных метафор. При выделении цитат, связанных с той или иной фигурой любвонной речи, безусловно, можно впасть в некоторый субъективизм: так, фраза, которая является, на взгляд исследователя, выражением фигуры *встреча* (напр., *я поднимаюсь к облакам и найду тебя там*), может быть истолкована и как *самоубийство*, ибо «улет» может толковаться как посмертное странствование души. Но как сказал Барт, «лингвисты при некоторых операциях своего искусства, пользуются столь неопределенной вещью, как чувство языка; именно такой вожатый нужен, чтобы образовать фигуры – чувство любви» (Барт: 1999, с. 82). Положимся при анализе и на чувство языка и всеобщность знаний о любви: «И кто в избытке искушений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений – Самоубийство и Любовь!» (Тютчев).

Предлагаемое исследование строится на материале молодежной российской песни конца прошлого – начала нынешнего века, в дискурсе которой мы пытаемся вычленить обозначенные Р. Бартом фигуры и, соответственно, проанализировать специфику их вербализации и употребляемости на фоне песенного дискурса предшествующих десятилетий.

Осознавая невозможность обозреть необъятный в количественном и очень пестрый в качественном отношении песенный дискурс названного периода, мы ограничились анализом текстов песен наиболее популярных в современной молодежной среде исполнителей (Алсу, Земфира, Андрей Губин) и групп, дискурс песен которых представляется нам радикально новым в силу ряда черт, отсутствующих в песнях прошлых лет («Мумий Тролль», «Адо», «Би-2» и др.). Отметим, что общий дух времени не может не сказаться и на песнях исполнителей, которые, в силу сохраняющейся связи их текстов и мелодики с песней предшествующих лет, не могут быть окрещены «радикалами». Поэтому мы обращались и к текстам песен «из другого поколения», если по «арсеналу формул» они могли быть соотнесены с текстами «радикалов».

Мы приступаем к анализу песенного дискурса с фигуры, которая у Роллана Барта в книге представлена (по алфавиту) последней. Она называется **Я люблю тебя**.

Вот что пишет о ней Барт: «Фигура относится не к объяснению в любви, не к признанию, но к повторяющемуся изречению любовного возгласа. После первого признания слова «я люблю тебя» ничего больше не значат (там же, с. 405). <...> **Я люблю тебя** <...> это действие. Я произношу, чтобы ты ответил (там же, с. 416). <...> Тот, кто не говорит **я люблю тебя** (между губ которого **я люблю** не хочет проходить), обречен испускать множественные, неопределенные, недоверчивые, скупые знаки любви; он должен позволить себя интерпретировать.

Думается, что разницу между прафразой фигуры **Я люблю тебя** в песне прошедших лет и нынешней песне можно определить как разницу между употреблением формы 1 лица глагола **люблю** и формы повелительного наклонения **люби**. Песенный дискурс прошлых лет включал эту «формулу любви» как регулярно воспроизводимый элемент лирического текста: «Пусть все знают, что я люблю!» / «Рассказать мне надо, не скрывая, не тая, что я люблю тебя» / «И расскажу тебе, если сумею я, как люблю тебя – тысячу раз». В проанализированной нами молодежной песне названного периода мы не встретили ни одной (!) такой формулы. «Человек поющий» 60–70-х прямо обозначал свои чувства, избегая метафор и эвфемизмов, желая, очевидно, быть однозначно понятым. «Человек поющий» конца тысячелетия, живя в эпоху герменевтики, прибегает к метафорам и перифразам, желая быть интерпретированным: «Помоги, помоги, я солдат твоей любви» / «Поймаю ветер, с ним полечу,

чтоб надеть на тебя любовь-парчу» / «Кто знает, – может это любовь?»). Глагол *любить* используется в современной песне в том случае, когда состояние приписывается адресату, и грамматические формы его использования – индикатив 2-ого лица и повелительное наклонение: «Но только я, как прежде буду верить <...> Что ты все так же любишь меня» / «Если ты еще любишь меня» / «Люби меня, люби жарким огнем <...>, Люби меня, не улетай».

Что следует из указанных различий? Послушаем философа, рассуждающего о латинском глаголе **amo** (люблю): «Тот, кто говорит о себе в первом лице, подвергается риску, <...> опасности вмешательства со стороны <...> Человек в здравом уме не станет говорить о своих собственных поступках без настоящей необходимости (Розеншток-Хюсси: 1994, с. 109). Для того чтобы произнести **amo** (люблю), нужны очень веские причины, побуждающие человека отказаться от необходимости все время сберечь свой мир от вмешательства извне. <...> Человеку из всех предложений труднее всего произнести **amo**, потому что это касается «конечного направления выбора пути, своего предназначения» (там же). Добавим от себя: **я люблю тебя** – не просто фраза, описывающая состояние субъекта, – это своего рода слово-действие, перформативное высказывание, произнося которое субъект берет на себя определенные обязательства в отношении будущей модели поведения (в советское время эта фраза была предвосхищением предложения руки и сердца). Почему же «человек поющий» середины века так легко употребляет **amo** – *я люблю тебя*? Рискнем предположить, что тот «человек поющий» или не ощущал угрозы со стороны мира и не боялся быть осмеянным и отвергнутым («Я люблю тебя так, что не сможешь никак ты меня никогда, никогда разлюбить»), или лирическая песня – только симуляция любовной речи, а не подлинная любовная речь. Думается, что верны оба предположения: в пользу первого говорит декларируемое идеологией того общественного периода единство с миром («Все люди – братья»), в пользу второго – ряд особенностей употребления этой формулы в тексте: в большинстве случаев лирический герой не признается в любви, а сообщает о ней всему свету («Пусть все знают...») или обещает возлюбленной рассказать ей в будущем о своей любви (см. примеры выше). Последняя ситуация была бы абсолютно парадоксальной, если бы адресат находился в одном хронотопе с субъектом, однако она представляется вполне достоверной, если субъект обращается к воображаемому адресату, отсутствующему в момент исполнения песни. (В этом отличие лирической песни XX в. от серенады, исполняемой непосредственно под окном любимой). Возникает некая дематериализация объекта любви – он присутствует как адресат, но отсутствует как референт. Эта дематериализация коррелирует с «бестелесностью» любви в песне прошлых лет, где само слово «тело» было табуированным.

Иным образом обстоит дело в современной молодежной песне. Здесь «человек поющий» не использует **amo** – *я люблю*, видимо, оберегая свой мир от «зависти, ревности, гнева» внешнего мира, но, будучи метафоричным, он тем не менее прямо обозначает свою конечную цель – быть любимым. По Барту, тот, кто говорит *я люблю*, ждет, что ему ответят той же формулой. Современный «человек поющий» обращается к адресату с императивом *люби меня* – он ждет не слов, а действий, являющихся проявлением любви. Он иронически относится к словам: «Не говори мне о любви... Так мало времени осталось до утра» / «Если ты меня любишь, крошка, давай поиграем в слова». В этом его отходе от фетишизма слов, логоцентризма состоит принципиальное отличие от «человека поющего» 60–70-х, поклоняющегося «формуле любви» и выражающего это поклонение в своего рода любовном метадискурсе: «Какие старые слова... А как кружится голова <...> Они летят издалека, Сердца пронзая и века».

«Люби меня» – говорит современный «человек поющий», испытывающий потребность в любви. **Ama** (люби) – вот, по мнению Розенштока-Хюсси, главная, первая форма в парадигме изменения глагола *любить*, потому что именно императиву принадлежит особая роль в созидании будущего, которое невозможно, если один человек не услышит побуждения со стороны другого. Посредством императива мы хотим докричаться до другого. Думается, что для современной молодежной песни «синтаксической арией», прафразой является именно этот крик – побудительное предложение «люби меня», выражающее потребность в любви, и его, если можно так сказать, эротические перифразы: «Спи со мной!» – поет молоденькая представительница «прекрасного пола». «Пей меня, пей мою кровь» / «Делай со мной, что хочешь, ломай мои пальцы, целуй мою кожу...». В последних примерах явно мелькнула тень маркиза де Сада или Мазоха, потому что садизм как первоначальный сексуальный инстинкт, по Фрейдю, обращенный на себя, есть мазохизм. Симптомы проявления этих инстинктов рассыпаны по современной песне: «Ты пила меня жадно, но плоть устала» / «Убей..., но обещай, больно не будет»... Возможно, прав Виктор Ерофеев, сказавший, что «культура должна пройти через Сада, подбирая подходящие слова для раскрытия эротической стихии» (Ерофеев: 1999, с. 34).¹ Не вынося оценок происшедшим песенным изменениям, отметим лишь, что песня начала века придала любви телесный характер: в нее вошли табуированные ранее слова *тело, постель, кровать*: «И тело нежное твое под легким платьем» / «Ты уложишь меня на пустую кровать» / «Щербатая луна и мы не в одной постели». Современный *человек поющий* сбрасывает сегодня покров моральных табу, которые он считает ханжескими, и

¹ Ерофеев В. Мужчины. – М.: Издательский Дом «Подкова», 1999.

обнажает, если говорить по Фрейду, два первичных сексуальных инстинкта – Эроса и Танатоса.

Прежде чем мы перейдем к обсуждению следующей фигуры, отметим, что в современной песне складывается своеобразный дикурс *нелюбви*: «Нелюбимая», «Нелюбовь» – названия достаточно популярных песен. «Я не люблю тебя!» / «И поймешь сама, что ты мне не нужна И я тебе не нужен» / «Может быть, ты больше не хочешь меня, я для рифмы тебя хочу». / И наконец – возглас Земфиры «Ненавижу», шестикратно повторенное в качестве рефрена песни слово, сочетающееся с фразами: «Обесвечу глаза, обезличу тебя – ааа!». Думается, что сам дискурс «нелюбви», т.е. текстовое выражение отсутствия чувства, бывшего в течение веков источником вдохновения, стимулом к порождению текста, является достаточно разнородным с точки зрения причин его появления: здесь и рефлексия *человека поющего* над причинами ухода чувства, и желание в песне «ответить тем же» и тем самым выплеснуть болевую эмоцию, и извечная амбивалентность любви-ненависти, находящая психоаналитическое объяснение в терминах взаимосвязи первичных инстинктов любви и смерти («Там, где первоначальный садизм не подвергается ограничению или слиянию, устанавливается знакомая в любовной жизни амбивалентность: любовь-ненависть» (Фрейд: 1991, с. 183)¹. В целом же думается, что и в отсутствии **Я люблю**, и в эротизации дискурса любви, и в появлении формулы **Я не люблю** можно усмотреть в современной молодежной песне проявление фигуры, навеянной духом времени и названной Бартом «непристойное». Суть ее, по Барту, в том, что благодаря нынешней инверсии ценностей <...> в любовной сентиментальности и заключается непристойность любви. «Все анахроничное непристойно <...> Любовное чувство вышло из моды. <...> (Исторический переворот: неприлично не сексуальное, а сентиментальное...) Все поймут, что у X... «огромные проблемы» в сфере сексуальности; но никого не интересуют, возможно, существующие у Y проблемы в сфере сентиментальности. Любовь как раз тем и непристойна, что подменяет сексуальность сентиментальностью» (Барт: 999, с. 213-218). Это написано французом, пережившим антибуржуазную бурю мая 1968-го года, создавшую угрозу моральным ценностям отцов. Молодежная российская песня спустя четверть века также отказывается от языка отцов и, не желая употреблять опасную форму первого лица глагола «люблю», она использует формулу **я тебя не люблю**: мир не может помешать **не любить**, нелюбящая личность пребывает в безопасности, но вместе с тем и в одиночестве, поскольку связь времен – распалась. Одиночество *человека поющего*, повествующего о любви-нелюбви, проявляется как

¹ Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения // Фрейд З. «Я» и «Оно». Кн. 1. – Тбилиси, 1991.

на смысловом, так и на синтаксическом уровне текста – по своей грамматической неоформленности приближающегося к явлениям внутренней речи.

Мне так мечталось, чтоб люди хотели иначе.
М-м, незадача, попала сам под раздачу.
Там первый снег, даже он ни к чему.
Ты молчишь, а послушай,
Боже ж, я – циник, а ты говоришь про какую-то душу,
Пожалей мои уши.

(Земфира)

Существующая в приведенном фрагменте текста синтаксическая неполнота предложений (1 строка), отсутствие формальных средств связи между ними (между 2-ой и 3-ей, 3-ей и 4-ой строками), смещение субъектов говорения/слушания в 4-ой, 5-ой строке создают впечатление любовного бреда, кода мысль мечется от одного объекта пространства к другому, некоего монолога в «измененном состоянии сознания». Это действительно речь **про себя** не в том смысле, что она не произносится вслух, а в том, что ее объектом является *Я* говорящего и она понятна только ему самому. Эти признаки – *Я-направленность*, *аграмматичность* – если опираться на идеи Мухелишвили, Сергеева и Шрейдера, являются специфическими характеристиками внутренней речи, форму которой в определенные общественные периоды приобретают некоторые публичные тексты; «Трансформации общества, сопровождающиеся атомизацией и экзистенциальной заброшенностью, вызывают к жизни альтернативную систему коммуникации – депрагматизированный дискурс, являющийся, по существу, экстериоризацией внутренней речи» (Мухелишвили, Сергеев, Шредер:1997, 47)¹. Именно в силу близости песенного текста к явлениям внутренней речи можно сказать, что песня анализируемого периода является не столько симуляцией, имитацией любовной речи, как это было с песней прошлых лет, развертывающейся как традиционный нарратив, сколько самой любовной речью, или во всяком случае речевым явлением, очень близким к ней по дискурсивным характеристикам.

Различие в «языке любви» у отцов и детей станет еще более очевидным, когда мы обратимся к двум последним фигурам, анализируемым в предложенном исследовании. Первая называется у Барта «Утверждением» и суть ее заключается в утверждении любви как ценности: «Вопреки всем трудностям моей истории, вопреки сомнениям, разочарованиям, вопреки побуждениям со всем покончить, я не перестаю утверждать любовь как ценность» (Барт: 1999, с. 395). *Человек поющий* предшест-

¹ Мухелишвили Н.Л., Сергеев В.М., Шрейдер Ю.А. Дискурс отчаяния и надежды: внутренняя речь и депрагматизация коммуникации // Вопросы философии. 1997. № 10.

вующих десятилетий осознавал трудности любви, но они казались ему несопоставимыми с доставляемыми ею радостями: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?» **Не любить – значит не жить** – вот формула, являющаяся прафразой этой фигуры [«Ведь не любить – это значит не жить» (С. Михалков)] / Ценность любви представляется высшей жизненной ценностью, равной ценности самой жизни. На основе многочисленных дискурсивных характеристик любви можно предложить несколько базовых метафор, на основе которых развертывался любовный дискурс и формировалась любовная метафорика: **Любовь – жизненно необходимый элемент** (кислород, свет): «Я дышу, а значит, я люблю, я люблю, а значит, я живу»; **Любовь – всепобеждающая сила**: «Но любовь сильнее, чем расстояния». Для любовного дискурса тех лет характерна явная тяга к гиперболе при выражении возможностей любящего: «Но любовь и стоит на том, чтоб тропинкой, пусть и завьюженной, до Сатурна дойти пешком и кольцо принести для суженой». Соответственно, и объект любви приобретал для любящего высшую жизненную ценность, без которой жизнь невозможна:

Все, что в жизни есть у меня,
Все, в чем радость каждого дня,
Все, что я зову своей судьбой,
Связано, связано только с тобой.

Прафразу, «синтаксическую арию» тех лет, формирующую «дискурс любимого», можно представить формулой: **Ты – высшая ценность** (ценностное понятие может всякий раз получать свое наполнение в зависимости от иерархии ценностей говорящего): «Ты – мое дыхание» / «Ты – моя мелодия, Я – твой преданный Орфей». Интересно, что тексты, разворачивающиеся на основе метафоры **любовь – жизненно необходимый элемент**, исполнялись и женщинами, и мужчинами. Метафора **любовь – всепобеждающая сила** и следствие из нее **влюбленный может все** ложились преимущественно в основу мужских текстов. Создается впечатление, что советская песня стремилась наверстать традиции трубадуров и тем самым возместить русской женщине отсутствие рыцарского культа поклонения в песенной традиции.

Молодежная песня конца прошлого-начала нынешнего века обсуждаемой фигуры «утверждение» не знает. Анализируемые тексты вообще ставят вопрос о характере ценности любовного чувства. Обнаруженные метафоры «смертоносный снаряд любви утончен, как игла», «топит джонки любовный снаряд», «боевые искусства любви», «точит косу старуха-любовь» позволяют говорить о базовой метафоре **любовь – источник смерти** как концептуализирующей область любовного переживания. Ролан Барт, анализируя любовную речь, выделял такие фигуры, как «Самоубийство» и «Пропáсть», связанные со смертью. «Из-за ма-

лейшей обиды, – пишет Барт, – я хочу покончить с собой, любовному самоубийству, когда о нем помышляют, нет дела до мотива» (Барт: 1999, с. 330). Субъект любви хочет пропасть не только от уязвленного самолюбия, но и от желания обрести вечное слияние, замкнутую смерть общей могилы. Приведенные выше метафоры связаны не столько с идеей самоубийства, выступающего еще в поэзии Тютчева близнецом любви («Близнецъ»), сколько с иным осмыслением любовного опыта, определенные стороны которого затушевывались метафорами **любовь – всепобеждающая сила** и **любовь – необходимый жизненный элемент**, лежащими в основе песенного дискурса прошлых лет. Трагическая сторона любви («но многих, захлебнувшихся любовью, не дозвешься, сколько ни зови» (Высоцкий), боль, причиняемая этим чувством, оказываются в фокусе внимания современного *человека поющего* и осмысляются через метафору смерти даже в творчестве исполнительниц, явно далеких от радикальных новшеств современной песни: «Я на трон любви ледяной взошла и замерзла там» (Пугачева) / «Лилии, маки, неживой букет, как твоя любовь – неживой букет» (Буланова). Даже если речь не идет о любви, переосмысляемой в терминах смерти, общая тональность песенного разговора об этом чувстве окрашена в этот период в тона печали: «Скоро любовь, скоро печаль» – поет группа «Отпетые мошенники», и это мироощущение в области любовного переживания принципиально отличает песню конца прошлого – начала нынешнего века от песни прошлых лет, воспевавшей любовь как «сказку наяву». Перед нами, скорее, очень грустная, или даже страшная сказка, и фигура «Пропасть» является преобладающей в речи нового *человека поющего*. Трудно сформулировать ее прафразу в силу изощренной метафорики, к которой прибегает *человек поющий*, говоря о любви-смерти. Безусловно то, что эта фигура наполняется иным, нежели у Барта, содержанием, – герой рефлексировал над любовным чувством и в его сознании высвечивается мысль о том, что в любви «умирает душа, заключенная в плоть» (Лолита). Метафорическое высказывание «точит косу старуха-любовь» из текстов группы «Адо» вообще побуждает уравнивать любовь со смертью и приписать негативную ценность этому чувству. Правда, эта метафора высвечивает и неожиданные стороны осмысления любви: любовь, персонифицирующаяся в образе старухи, вызывает представление о древности этого чувства, а выражение «точит косу», возникшее на базе эвфемизма «старуха с косой», наводит на мысль о неумолимости, с какой любовь подбирается к своим жертвам, превращая их во влюбленных.

Анализируемая молодежная песня обладает еще одной интересной текстовой характеристикой, в которой можно усмотреть вторжение в дискурс любви дискурса смерти. Приведем примеры из песен разных исполнителей: «Но ты же таешь: Снег. Снег. Таешь. Снег» / «Мы гуляли

там по облакам, Притворились лондонским дождем, Моросили вместе на асфальт» / (Земфира); «Улечу, стану белою пылью небесною» (Ох-хо-хо); «<...> Как звезда, веду тебя И тогда мне кажется, что плывут облака подо мной» (Алсу). Последняя фраза представляется нам в высшей степени показательной, так как в ней явлен механизм кажущегося превращения. Здесь превращение *Я* в явление из мира неживой природы столь сильно, что *Я* одушевленное начинает проявлять себя так, как проявляет себя соответствующий неодушевленный предмет. Можно в данном случае говорить об эмпатии, если понимать эмпатию в телесном смысле, когда «Эго осознает себя в теле Другого» (Суровцев: 1998, с. 13)¹. Но этим Другим является неживой предмет (!): лирическая героиня Алсу, представляя себя звездой, соответственно моделирует пространство, видя облака под собой, а Земфира обращается к снегу как обычному адресату: использует личное местоимение (*ты*). Личные местоимения, по Розенштоку-Хюсси, «имеют смысл только тогда, когда вы разговариваете с людьми. Все личные местоимения свидетельствуют о достижении единодушия множества людей, принадлежащих одному кругу» (Розеншток-Хюсси: 1994, с. 97).

Таким образом, в сознании человека поющего происходит нейтрализация оппозиции *природа – человек* или, что видимо то же самое, *одушевленный – неодушевленный мир*. Нам представляется, что подобного, неаллегорического наделения *Я* чертами мира неодушевленной природы песня прошлых лет не знала. Вербализацию способности *Я* к превращению в неживое мы склонны также рассматривать как осуществление дискурса смерти – *Я* уходит в *инобытие*.

Можно ли, подводя итог проведенного анализа и учитывая то место, которое дискурс смерти занимает в песне «новой волны», говорить о том, что инстинкт жизни, любви – Эрос – вытесняется, поглощается инстинктом смерти – Танатосом? Если вспомнить рефрен знаменитой песни Земфиры «СПИД»

А у тебя СПИД, и значит, мы умрем.
У тебя СПИД, и значит, мы умрем.
Но у тебя СПИД, и значит, мы умрем.
У тебя, и значит мы...

то, думается, вывод о поглощении инстинкта жизни инстинктом смерти кажется вполне логичным. Мир в этот период осознается таковым, что в нем и жизнь представляется «смертельной болезнью, передающейся половым путем». И все-таки: «Жизнь вкусна, и я к ней так привязан» – поет самая «черная» группа «Мумий Тролль». А заключительная строфа песни «СПИД» звучит несколько иначе, чем приведенная выше строфа –

¹ Суровцев В. Интенциональность и практическое действие // Интенциональность и текстуальность. – Томск, 1998.

и в этом маленьком различии, на наш взгляд, скрыты бездны новых смыслов:

У тебя СПИД, и мы далеко.
Но у тебя СПИД, и мы далеко.
Но у тебя СПИД, и мы далеко.
Но у тебя, и значит мы..

Смерть оказывается не концом, не разлукой без встречи, а путешествием, в котором *Я* и *Ты* сливаются в единое *Мы*. Эта область человеческих представлений может быть концептуализирована метафорой **Смерть – это путешествие, Смерть – это встреча**. Концепт «смерть» обретает в дискурсе анализируемой песни иное содержание: средство соединения влюбленных, локусом встречи которых в песне становится небо, заоблачный мир. Столь разные певцы, из которых далеко не все относятся к «новой волне», поют об этом. Ср. у А. Макаревича – представителя рок-культуры 70-80 г.: «Я поднимусь к облакам и найду тебя там. На крыльях любви» (Макаревич) / «Только там, где звездная сеть, мы воскреснем вдвоем» (Буланова) / «В светлом райском саду цветок, буду я как ребенок мечтать... Закрой глаза и пойдем со мной, не бойся сделать шаг» (Алсу) / «Звони чаще с неба про погоду» (Земфира). Поэтому при всей деромантизации отношений и обнаружения первичных инстинктов песня «нового времени» открывает вертикаль движения любовного чувства – в трансцендентный мир. (Одна из достаточно эпатажных песен, начинающаяся со слов «Я пришла к тебе с цветком в руке, С шляпой на голове и с носком на ноге» (т.е. с описания банальных и обычных деталей), называется так: «Земно-неземная»). Боязнь смерти связывается прежде всего с возможностью оказаться не в одном локусе: «Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже; Ты, конечно, сразу в рай, А я не думаю, что тоже» (Земфира).

В связи с изменением содержания концепта «смерть» иное содержание, как представляется, обретает когнитивная структура «облака», которую, в силу частоты употребления в текстах русской культуры, можно считать культурным концептом (Лассан: 2007)¹. Когнитивная структура «облака», содержащая в себе в качестве ассоциативного слоя представление о вольном, не стесненном движении, теряет эту составляющую и в современной песне становится границей миров или местом существования одного из субъектов любви: «Из облаков небесных <...> посмотришь ты влюбленно» / «Вниз с балкона смотрю, но вижу там облака» / «Я поднимусь к облакам и найду тебя там» / «Я и так пойму, что скажет мне небо на языке облаков».

¹ См. Лассан Э. Облака и обрывы русской культуры (о локусах культуры как реализации пространственных координат сознания) // *Respectus Philologicus*. 2007. № 11(16). С. 29-41.

В связи с тем, что в картине мира современного человека *поющего* местом обитания влюбленных являются облака, регулярным элементом песенного текста становится вербализация темы полета, вернее «улета»: «Лиза, не исчезай, не улетай» / «Люби меня, не улетай, не исчезай, я умоляю» / «Она любила летать по ночам» / «Можно слететь, улететь, налетаться». Полет, «улет» – вот способ, которым любящие соединяются или разлучаются, уходя в небо. Выше мы говорили о том, что современная молодежная песня является более естественной формой любовной речи, чем песня прошлых лет, эту речь имитировавшая. Нужно сказать, что она теснее связана с опытом жизни и смерти в том смысле, что иногда самым печальным образом становится зеркальным отражением бытия – так ушел в небо, улетел, выбросившись из окна, один из самых талантливых молодых певцов, «маленькая легенда поколения» – Игорь Сорин. («Я разбежусь – и с окна, я верю – не будет больно, я знаю, как это делать») (Земфира).

Подведем итоги. Дискурс любви в песне конца прошлого-начала нынешнего века имеет ряд ярких особенностей, отличающих его от песенного дискурса прошлых лет:

1) молодежная песня вводит в фокус внимания, по сравнению с предыдущим этапом, иные стороны любовного переживания, концептуализируя сферу любви через метафоры боли и смерти.

2) она упраздняет прафразу **я тебя люблю** в одноименной фигуре, заменяя ее прафразой, имеющей форму побудительного наклонения «люби меня» и его эротизированными перифразами. Она использует прафразу «я не люблю тебя», становящуюся основой развертывания соответствующего дискурса «нелюбви». Фигура «непристойное», утверждающаяся в молодежной песне, лишает ее былой сентиментальности и создает сексуализированный дискурс.

3) этот дискурс может получить психоаналитическое толкование в терминах проявления двух изначальных инстинктов человека – жизни и смерти, Эроса и Танатоса. Она (песня) отбрасывает принятые в культуре табу и не скрывает первичных инстинктов, в том числе и садомазохизма, создавая соответствующий дискурс для выражения этих инстинктов.

4) она придает новое содержание концепту «смерть», концептуализируя эту сферу через метафоры путешествия и встречи. Соответственно, высокую частоту употребляемости получают изменившие свое содержание концепты «облака» и «полет (улет)». Доминирующей фигурой, пришедшей на смену фигуре прошлых лет – «утверждению» (ценности любви) – становится фигура «пропáсть».

5) несмотря на отказ от сентиментальности, эротизацию дискурса, современная песня именно в истолковании концепта «смерть» сближается с религиозным сознанием. Думается, что найденное в ней определение любви – «это просто душа, заключенная в плоть» – очень точно

выражает двоякую сущность любви и как природного инстинкта и как идеальной сущности, лежащей в основе всей культуры.

Происшедшие изменения в песенном дискурсе в известной степени определяются изменившимися общественными условиями – идеология предшествующих лет, придающая ценностные смыслы бытию личности как члену некоего социума, ушла в прошлое, оставив человека наедине с миром, в котором он, брошенный государством, не чувствующий причастности к некоему общему и потому бессмертному существованию, переносит свое одиночество и на любовное чувство, ощущая разность между собой и Другим. Мы уже приводили выше слова Ю. Кристевой о современном человеке, который, будучи сосредоточенным только на себе, чувствует себя несчастным. Именно таким представлен молодой человек «на randevу» в лирической песне конца одного века и начала другого. Но он хочет преодолеть одиночество, и при всех кажущихся кардинальными изменениях, происшедших в песенном любовном дискурсе, лейтмотивом его страстно звучит вечный призыв влюбленных, выраженный самой естественной, изначально данной человеку глагольной формой императива:

Люби меня, люби!

Люби меня, люби!

Люби меня, люби!

Назовем этот призыв фигурой «мольбы» (или «молитвы»?). Остается ждать, ощутит ли человек поющий вновь радость чувства, обретет ли любовь и объект любви свой прежний статус высшей жизненной ценности.

Лирическая песня как предписывающий дискурс

Время – кожа, а не платье.

Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,

С нас – его черты и складки,

Приглядевшись, можно взять.

(А. Кушнер)

Песенный дискурс, как представляется, не принято рассматривать с точки зрения выполняемых им коммуникативных функций. Если приложить к песенному тексту функциональную классификацию сообщений Р. Якобсона, то станет очевидным разнообразие и неоднородность функций песенного текста, из которых одни – эмотивная, контактоустанавливающая, побудительная – претендуют на роль основных, а референтивная и эстетическая – на роль вспомогательных.

Обратимся к общей характеристике коммуникативных функций лирической песни. Как уже говорилось выше, песня становится выражени-

ем эмоций, т.е. осуществляет эмотивную функцию, прежде всего благодаря тому, что она является одновременно произведением и словесного, и музыкального искусства – последнее, как известно, ориентировано только на эмоционально-бессознательные структуры психики. Песенный текст – не столько выплеск эмоций, сколько з н а к того, что человек исполнен эмоций или, точнее, «стремится произвести впечатление эмоций подлинных или притворных» [Эко: 1990, с. 198]. Последнее относится к ситуации публичного исполнения песни – непосредственно воспринимающий (аудитория концертного зала или возлюбленная – адресат серенады) призван проникнуться демонстрируемой эмоцией, сопережить ее, со-чувствовать с субъектом или якобы субъектом эмоции. Эмотивная функция – не единственная в подобных текстах: она теснейшим образом переплетается с контактоустанавливающей, побудительной и референтивной функциями. Действительно, чтобы выразить эмоцию, надо обозначить ситуацию, которая эту эмоцию стимулирует. В песне обычно создается некоторый «возможный мир», к которому осуществляет референцию песенный текст. Этот «возможный мир» может быть картинкой подлинного бытия создателя песни, его мироощущения, но по мере того, как песня отделяется от автора и исходит из уст все новых и новых исполнителей, мир, запечатленный в песенном тексте, становится все более условным, разыгрываемым по правилам песенного спектакля.

Включаясь в социумную реальность, в мир межличностных связей, песня, обладая эмотивной и референтивной функцией, способна воздействовать на слушателя, таким образом, что стимулируя в нем адекватную эмоцию, она создает общую платформу единочувствия, а, вживая слушателя в некий возможный мир песни, побуждает его к определенной модели поведения, формируемой сценарием песенного спектакля. В первом случае реализуется контактоустанавливающая функция песни – история предоставила ей шанс в полной мере осуществиться, например, в период «песенных революций» в Прибалтике. В сущности, вполне справедливым является утверждение: «Скажи мне, что ты поешь, и я скажу, кто твой друг» (или каковы твои ценности). Во втором случае осуществляется побудительная функция песенного дискурса. Как отмечает Умберто Эко, еще со времен пифагорейской традиции, каждый музыкальный лад связывался с определенным этосом, т.е. со стимуляцией определенного типа поведения, в силу чего некоторые произведения в сознании тесно связываются с определенными идеологиями: примером может служить «Марсельеза» или «Интернационал» [Эко: 1990, с. 398]. Но массовая песня является именно *побудительным дискурсом*, т.е. текстом, осуществляющим побуждение к определенному поведению, а не побудительным музыкальным жанром. Почему песне можно приписать эту функцию? Стоит вспомнить обилие предложений с побудительной модальностью в песнях разных лет, как нацеленность пес-

ни на побуждение становится очевидной: «Смело, товарищи, в ногу!» / «Вставай, проклятем заклейменный!» / «Вставай, страна огромная!» / «Не надо печалиться <...>, надейся и жди» / «Не обижайте любимых упреками» и т.д. Приведенные строки в разной мере исполняют эту функцию, совмещаемую с другими; так, побуждение к совместному действию означает и функцию установления контакта внутри членов определенного социума, там же, где отсутствует побуждение к собственному действию, возникает совет, назидание, т.е. стимулируется некая обобщенная модель поведения. Характер побуждения определяется стоящей за песенным текстом идеологией – как уже отмечалось выше, здесь под идеологией понимаются не только сознательно провозглашаемые философские, политические или эстетические установки, но и бессознательно присущая индивиду вся совокупность интеллектуальных навыков (сложившихся стереотипов суждения о различных вещах) и психологических ожиданий.

Исходная установка анализа песни как идеологического явления состоит в том, что песня как вид идеологического дискурса, наделяется функцией внедрения определенных моделей поведения в общества, сознательно исповедующих определенную идеологию как совокупность норм, ориентирующих общества относительно того, «что такое хорошо, что такое плохо». В обществах деидеологизированных песня, скорее, выражает бессознательную идеологию, или психологию, определенной социальной группы и способна декларировать определенные модели поведения, которые могут стать авторитетными, если песня становится «хитом».

Проследим модели декларируемого речевого поведения в любовных песнях ушедшего века, причем попытаемся сделать это, учитывая различия мужских и женских «арий» и показывая, как влияние определенной идеологии сказывается на гендерных моделях поведения.

Советская песня 50–70-х гг. очень часто представляла собой повествование о некотором вымышленном событии, будь то история встречи, любви, разлуки: «Я встретил девушку» / «Я с тоской ловил взор твой ясный» / «Я уехала в дальние степи» и др. Повествование связывалось с динамической сменой ситуаций, которые песенный герой переживал определенным образом и, соответственно, определенным образом о них рассказывал. Думается, что песня как наиболее доступный и простой для восприятия жанр оказывала моделирующее воздействие на поведение тех, кто слушал и пел вместе: так, песня о парне, который «с милой девушкой на лавочке прощается», формировала модель целомудренного завершения любовного свидания, а песня, где героиня пела: «Я люблю высоко, широко, неоглядно / Пусть тебе это все совершенно не надо», проповедовала стоическое поведение женщины в ситуации безответной любви. Разумеется, для выполнения этой цели должны были существо-

вать целые «сериалы» песен, которые, с одной стороны, отражали дух сознательной и бессознательной идеологии, а с другой стороны, сами формировали ее. Можно говорить об определенных стереотипах, задающих модель песенного речевого поведения, как-то: модель говорения о счастливой / несчастливой любви, модель говорения об объекте любви, модель говорения о самом себе как субъекте любви и т.д. Так, модель говорения о не взаимной любви, озвучиваемая женщиной, предполагала отсутствие жалобы и гордое принятие ситуации: «Я плакать – не плачу, он мне не велит, А горе – не море, пройдет, отболит» / «Ну что же здесь поделаешь, другую встретил ты» / «Все равно счастливой стану, даже если без тебя». Говорение о несчастливой любви со стороны мужчины практически не предполагалось: даже отвергаемый, он уповал на то, что его настойчивость не останется невознагражденной: «Вновь с надеждой взгляд твой ловлю, Ты должна понять без сомнения, Что тебя, как никто, я люблю» / «Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет, Только, только нет мне ни слова в ответ, Значит, значит надо иметь ей в виду, Сам я за ответом приду».

Отсутствие уныния, проявление настойчивости – вот модель поведения, предписываемая «мужчинам любящим» песней 50–70-х годов. Вы скажу предположение, что подобный стереотип говорения о не взаимной любви, именно не взаимной, а не несчастной, ибо именно из тех лет пришла фраза, которую можно считать смысловым инвариантом многих текстов – «не бывает любви несчастливой», – был обусловлен характером идеологии, проповедующей безграничные возможности человека – от способности «сказку сделать былью» до способности силой своего чувства вызвать ответную любовь. Мужская инвариантная «ария» этих лет может быть представлена формулой «ты полюбишь меня», женскую же «арию» не взаимной любви, как представляется, можно выразить формулой, коррелирующей с «русской идеей» притяжения судьбы: «Ну что же тут поделаешь...».

Ситуация в молодежной песне конца века выглядит принципиально иной. Мы уже говорили выше о том, что установкой молодежной любовной песни этого периода является утверждение *Не бывает любви счастливой*, и любовь осмысливается в «радикальной» песне конца века в терминах боли и смерти. «Смертоносный снаряд любви» / «Точит косу старуха-любовь» – эти метафоры заставляют задуматься о характере ценности, приписываемой любовному чувству. Метафора боли была присуща русской поэзии: вспомним «я любовь узнаю по боли всего тела вдоль» (Цветаева) или «легкий лепет, едва отдающий смолой, проколовший меня смертоносной иглой» (Заболоцкий). Но мир отчаяния и любовной боли, ведущей к смерти, какой открылся в песенных текстах конца века, в ряде случаев по своей изощренной метафорике, приближающихся к поэтическому дискурсу («снаряд любви утончен, как игла,

изящной линией делит небо, ароматом жимолости прощен»), кажется, песня раньше не знала.

Как ведет себя человек любящий и нелюбимый в этой песне? Мужская «ария»:

Ты разбиваешь мое сердце,
Мы никогда не будем вместе.
К чему стихи
Я погибаю
Таков сюжет моих страданий.
(Лева-Рубинштейн)

Женская «ария» представлена в тексте Земфиры:

Щербатая луна, и мы не в одной
постели
Я разбегусь и с окна,
Я верю, не будет больно,
Я помню, как это делается.

Отметим, что если советская песня знала гендерные различия в способах говорения о невзаимной любви, то песня конца века гендерные различия устраняет: и мужчина и женщина в этой ситуации размышляют о смерти.

Как уже говорилось, Р. Барт, анализируя «речь влюбленного», выделяет в ней так называемые фигуры «Самоубийство» и «Пропáсть», – влюбленный всех времен периодически испытывает желание п р о п á т ь, возникающее как от уязвленного самолюбия, так и от желания умереть вместе, обрести замкнутую смерть общей могилы. Советская песня фигуры «Пропáсть», связанной со смертью от любви, не знала, – этого не допускала идеология, разрешающая лишь одну причину смерти – за Родину. «Человек поющий» на рубеже тысячелетий не думает о сопротивлении любовной боли, он думает о смерти. Причем, если бартовский влюбленный утверждает несомненную ценность любви, не зависящую от причиняемых любовью страданий, и изредка думает о смерти, не останавливаясь на способах умирания, герой русской песни продумывает способы смерти и рисует ее картины. Приведем одну из строф песни, принадлежащей группе «Мумий Тролль» (в песне говорится о девушке, испытавшей предательство в любви):

Ушла, раздевшись, насовсем
Сыграла шутку злую ли
Не возвратилась никогда
И, может, умерла
Глаза закрыла, крикнула,
В растрепанные волосы
Кинжал воткнув расплавленный.

На основе приведенных фрагментов песен, очевидно, можно говорить о том, что молодежная песня конца века открыла дверь дискурсу смерти. Какая идеология стоит за приведенными словесными кодами? Разумеется, можно объяснять это явление общим апокалиптическим духом конца тысячелетия – я уже не раз предлагала гипотезу о том, что в период отсутствия какой-либо сознательно проповедуемой идеологии и деконструкции прежних ценностных оппозиций человек оказывается во власти присущих ему инстинктов. Изначально свойственные человеку инстинкты – Эрос и Танатос – определяют и видение мира, и говорение о нем. И дух Танатоса оказался в том, что здесь называется радикальной песней, преобладающим. Сама оппозиция *жизнь – смерть* подвергается деконструкции: «Ах, если бы я выжил, то, значит, точно бы умер» («Мумий Тролля»). Думается, что в господстве первичных инстинктов и проявляется дух времени в «радикальной» молодежной песне – легализация этих инстинктов есть идеология современной песни.

Рассмотрим сценарии говорения о других слагаемых любовной ситуации – например, об объекте любовного влечения. В песне советской эпохи объект любви наделялся исключительно положительными качествами, как внешними, так и внутренними, причем эта синтаксическая ария озвучивалась исключительно мужчинами: «До чего ж ты хороша, сероглазая, как нежна твоя душа, понял сразу я» / «Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая» / «Он назвал меня своей хорошею и сказал, что я – красивой всех». Представляется, что здесь имела место определенная эволюция описания возлюбленной – от обязательного вначале указания на ее душевные качества, соединенные с внешней привлекательностью, в более ранних по времени песнях, что соответствовало доктрине *любви – дружбы*, до восхищения чисто внешними качествами возлюбленной, что в большей мере соответствовало традиции воспевания женщины в куртуазной культуре. Ср. два фрагмента из песен разных периодов:

Я люблю твой ясный взгляд,
Простую речь,
Я люблю большую дружбу наших встреч <...>
(А. Коваленков – 40-е годы)

И сама не знаешь ты,
Что красотой затмишь любую королеву красоты!
(М. Магомаев – 60-е годы)

Женщине в советской эстрадной песне предписывалось другое речевое поведение: она не говорила о внешних достоинствах избранника, но утверждала его «единственность», озвучиваемую арией: «ты, только ты». Вообще инвариантной мужской и женской арией можно считать фразу «Ты одна / один в моей судьбе». Поиски этого одного / одной могли зани-

мать длительное время («Три года ты мне снилась»), и «человек поющий» склонен был задаваться вопросом: «Ты не тот или тот?» / «Ну как узнаешь, когда встречаешь?». Думается, что ориентация на «ту одну на земле половину твою» могла быть связана с духом идеологии, проповедовавшей единственно возможную истину и единственно правильный путь к ней.

Несомненная ценность объекта любви в песне тех лет определяла и идею подвижничества во имя избранницы – эта идея озвучивалась только мужчинами:

Для тебя, для тебя, для тебя
Самым лучшим мне хочется быть.
Все земные пути я готов обойти,
Все моря я готов переплыть.

(В. Шаферан)

Женщина тех лет, воспринимающая мир сквозь призму советского песенного дискурса, могла ожидать от мужчины исполнения всех своих желаний: «Для меня ничего невозможного нет», – заявлял песенный герой. Советская песня словно пыталась реабилитировать «русского человека на randevу», которому не польстила русская классическая литература – мужчина-защитник отечества предстал одновременно и рыцарем, способным на подвиги во имя любви.

Нельзя не отметить, что любовь к женщине, как и любовь к родине, интерпретировалась в одних терминах – самоотдачи, готовности к подвигу. Любовь к женщине, понимаемая как творческая, созидательная сила («Посажу я на земле сады весенние, зацветут они по всей стране, а когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне»), вполне коррелировала с идеологией, требующей от человека активного участия в том, что называлось строительством социализма. отождествление этих типов отношений порождало текст «как невесту, Родину мы любим, бережем, как ласковую мать», позволяющий говорить в терминах психоанализа о замещении в бессознательных структурах психики этих двух образов – женщины и родины.

Вместе с тем до определенного момента возлюбленная/ый не представлял смыслом и целью всего бытия – им могло быть только благо отечества («Была бы страна родная, и нету других забот»). Однако по мере ослабления идеологических ценностей центром бытия в песне становится любимая/ый: «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой» !пел в семидесятые годы прошлого века ансамбль «Самоцветы». В 90-е годы эта мысль прозвучит в песне группы «Любэ», продолжающей романтические традиции советской песни: современный солдат, сражающийся, видимо, в горах Кавказа, осознает в качестве главной ценности своей жизни именно любимую женщину: «Главное, что есть ты у меня».

Превращение ряда идеологических постулатов в лишившиеся значения лозунги («Партия и народ едины») соотносилось, как представляется, со смысловым опустошением и любовного дискурса. Так, влюбленный 30–40-х осуществлял для «прекрасной дамы» созидательные действия, являющиеся одновременно вкладом в общее дело, и, хотя имела место некоторая гиперболизация его возможностей («Посажу я на земле сады весенние»), в целом деятельность влюбленного субъекта (*пройти через горы, подняться на крыльях в вышину*) оказывалась в пределах возможного для сообщества людей в целом. По мере того как ведущее место на эстраде занимали вокально-инструментальные ансамбли, говорящие о любви «хором» (такое говорение снимает ответственность с субъекта речи), гиперболизация возможностей любящего оборачивалась пустой декларативностью: «Ведь любовь и стоит на том, чтоб тропинкой, пусть и завьюженной, до Сатурна дойти пешком и кольцо принести для суженой».

Способ описания предмета любви в песне конца века принципиально изменился (возможно, в силу отторжения от патетических формул прежних лет.) Объект любви, который на предыдущем песенном этапе наделялся исключительно положительными качествами, в песне конца века значительно «понижается в статусе», становясь предметом иронического отношения. Показательными в этом смысле являются знаменитые строчки из песни дуэта «Кабаре-академия», которым с удовольствием подпевали зрители: «Отказала мне два раза, не хочу, сказала ты / Вот такая вот зараза девушка моей мечты». Аксиологическая несовместимость субъекта и предиката создает комический эффект, который в сочетании с цитатным выражением из предыдущих, романтических дискурсов («девушка моей мечты») являет образец постмодернистской иронии. Для женской арии этих лет характерно также понижение объекта любви, причем возможно использование тех же риторических средств, что и в мужской арии: «Где тебя носит, солнце мое» (совмещение различных стилистических пластов и цитация любовных дискурсов прошлых лет: «солнце мое»).

Если в песне прошлых лет *человек поющий* конституировал себя прежде всего через отношение к объекту влечения, через подвижничество во имя него, то в анализируемой молодежной песне *человек поющий* часто занимается самопредставлением: самохарактеристикой, описанием деталей собственного быта (небытия!). Причем мужские и женские партии здесь разнятся: мужская «ария» строится на бытописании, женская преимущественно на самохарактеристике. Вот голоса мужчин: «После вкусной еды закурю сигарету» (Сюткин) / «Мне нравится есть очень вкусные вещи и обильно их запивать» (А-студио). Женские арии: «Я – королева золотого песка» (Анастасия) / «Я девочка-скандал, девочка-воздух <...> Я девочка-с ума, девочка-вольно» (Земфира). Вглядывание в себя, нар-

цистическое начало в современной песне вполне коррелирует с идеей прорыва первичных инстинктов в текст и их легитимной вербализации («...Психоанализ пришел к заключению, что “Я” является истинным и первоначальным резервуаром либидо» [Фромм: 1990, с. 181]).

При подобном отношении *человека поющего* к себе и к объекту влечения, сведенному с пьедестала любовного поклонения, рассказ о «подвигах» во имя возлюбленной почти полностью исчезает из песни конца века. Мужская ария практически не озвучивает мотива подвижничества; разве только молодые певцы, продолжающие предшествующую лирическую традицию, готовы на то, чтобы следовать за своей любимой: «За тобой пойду, за тобой пойду <...>, милая моя, милая» // Сквозь тревоги и ожидания // Через годы и расстояния // За тобой пойду» (Губин). Отметим гендерную смену поведения: следовать за любимым составляло в прошлом модель поведения женщины. С другой стороны, собственно мотива осуществления невозможного, как то было в песнях прошлых лет, в приведенных строках нет – следование за объектом любви есть не столько подвиг, сколько знак верности. Мотив осуществления действий, связанных с риском, выходящих за пределы «нормальных», присутствует в некоторых женских ариях: «Я украду тебя у всех» – пела очень женственная Алена Апина, «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» – вопрошает Земфира, готовая даже «взорвать звезды» ради того, чтобы объект любовного чувства не умирал. (И вновь «дискурс смерти» в песне о любви.)

Подводя итог сказанному, остановимся на следующем: песня прошлых десятилетий была выражением «утешительной риторики» [Эко: 1990, с. 103] – хранилищем устоявшихся формул, стремящихся укрепить адресата в определенных культурных моделях поведения, к которым он был готов в силу проповедуемых идеологией принципов. Песня проповедовала четкое разделение гендерных ролей: формулы «я тобой перестрадаю, ненаглядный мой», «ну что же тут поделаешь? Другую встретил ты», «ты один в моей судьбе», «я тебя подожду», выражали женскую модель пассивного стоицизма и верности; мужская модель задавалась формулами «ты полюбишь меня», «для меня ничего невозможного нет», «ты лучше всех», «я обязательно вернусь», «ты только жди», выражающими активность, оптимизм и созидательный труд во имя любви. И женские, и мужские формулы акцентировали единственность избранника и невозможность повторения любовного чувства. Содержание этих формул коррелировало с духом идеологии оптимизма, веры в будущее и единственно возможной страны проживания – *Родины*, требующей подвигов во имя нее.

Согласно Умберто Эко, утешительная риторика как совокупность апробированных в обществе приемов, симулирует информативность, потрафляя надеждам адресата «и убеждая его согласиться с тем, с чем

он уже и так... согласен» [Эко: 1990, с. 103]. Этой риторике противостоит «обогащительная риторика», оспаривающая устоявшиеся предпосылки, исходящая из других постулатов [там же]. Да, песенные формулы 50–70-х гг. были «утешительной риторикой», не открывающей новых истин, и поэтому песенный текст тех лет может быть отнесен к искусству китча. Эти песни давали то, что, по словам Эриха Фромма, можно считать «заместительным любовным удовлетворением, переживаемым потребителями кинокартин и романов с любовными историями, песен о любви» [Фромм: 1990, с. 59]. Но они – эти формулы – были утешительными еще и потому, что соответствовали потребностям человеческой души в верности и надежде. И существующие в них гендерные различия позволяли обществу, только теоретически знавшему разделение на сильный и слабый пол, ощутить прелесть женской кротости и силу мужского начала. Они возвращали каждому свое, и возможно, в этом причина их долгой жизни.

Песня конца века, формулы которой можно соотнести с обогащительной риторикой, не является побудительным дискурсом: нет предписаний в области моделей поведения (хотя в области говорения о любви они, видимо, есть) – они ушли с общественной идеологией, а новые еще не установились в связи с неформальностью новой морали. Эта песня не дарит надежду. Но может быть, отсутствие надежды не является симптомом общественного нездоровья, если вспомнить, что в ящике Пандоры надежда была заточена вместе с другими бедами? В песне пограничья тысячелетий чаще, чем раньше, говорит тело (впрочем, в песне прошлых лет тело молчало вообще). Но не реже, чем раньше, а может быть, и чаще в ней повторяется слово «душа». «Я дарю тебе звезду, а ты подари свою душу» – поет «чернушная» Земфира. (Как тут не вспомнить Тютчева: «Душа хотела б быть звездой».) Думается, что к этой песне применимы слова, сказанные о поэзии того же периода: «Даже в самых фальшивых и слабых <ее> нотах звучит одна тема – пусть многократно сниженная и опошленная, но все же грандиозная – прохождение души через горнило плоти <...>» [Вольская: 2000, с. 177].

Новый век начался с новых песен, точнее, новых песен со старой «утешительной риторикой». «Караванами, пароходами я к тебе прорвусь... Это будет не трудно. Это по любви» – поет лидер одной из самых «мрачных» групп конца прошлого века («Мумий Тролль»). А из хит-парадов не исчезала Верка Сердючка со знаменитой фразой «Хорошо. Все будет хорошо! Я это знаю!» Означает ли возвращение «утешительной риторики» и одновременное возвращение связанной с ней идеологии? И возможно ли это в культурной ситуации карнавала, где неясно, кто обещает нам прекрасное завтра – мнимая Верка Сердючка или переодетый Андрей Данилко? Правда, нельзя не отметить, что текст Сердючки / Данилки совпадал с установкой партии «Единая Россия»,

известной в начале века как партия власти: «Мы – партия конструктивного оптимизма...» (из обращения «Единой России» к гражданам России. 26.12.2003).

Литература

- Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – М., 1999
- Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. – М.: Новое литературное обозрение, 2002.
- Волошинов В. Философия и социология гуманитарного знания. – СПб., 1995.
- Вольская Т. Поэзия от Фомы // «Знамя». 2000. № 4.
- Кристева Ю. Душа и образ // Интенциональность и текстуальность. – Томск: Водолей, 1998.
- Ерофеев В. Мужчины. – М.: Издательский Дом «Подкова», 1999.
- Лассан Э. Облака и обрывы русской культуры (о локусах культуры как реализации пространственных координат сознания) // *Respectus Philologicus*. 2007. № 11 (16).
- Лоренц К. Агрессия // Вопросы философии. 1992. № 3.
- Marcuse H. L'uomo a una dimensione. – Torino, 1967.
- Мухелишвили Н.Л., Сергеев В.М., Шрейдер Ю.А. Дискурс отчаяния и надежды: внутренняя речь и депрагматизация коммуникации // Вопросы философии. 1997. № 10.
- Розеншток-Хюсси. Речь и действительность. – М.: Лабиринт, 1995.
- Суровцев В. Интенциональность и практическое действие // Интенциональность и текстуальность. – Томск, 1998.
- Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения // Фрейд З. «Я» и «Оно». Кн. 1. – Тбилиси, 1991.
- Фромм Э. Искусство любви. – Минск, 1990.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию – т.оо.т.к. «Петрополис», 1990.

Глава 7. КАУЗАЛЬНАЯ СИЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ

Когда говорят о том, что метафоры обладают каузальной силой в отношении политических событий, то у политологов это часто вызывает возражения, которые редко носят конкретный характер. Вместо обоснованных аргументов наши оппоненты отвечают удивлением и даже возмущением. Истину можно прояснить, показав, каким именно образом проявляется каузальная сила метафоры в отношении политических событий. Ниже предлагается такое обоснование, которое начинается с краткого определения каузальности и рассмотрения возможности метафоры соответствовать этому определению. Далее рассматриваются связи между изменением метафор и политическими переменами, а затем проводится анализ того, каким образом метафоры и другие лингвистические явления могут обладать каузальной силой в политике. Безусловно, так как метафора является только одним из множества средств влияния дискурса на политику, каузальная переменная является, скорее, дискурсом в общем, нежели метафорой в частности, но так как дискурс всегда использует прием метафоры наряду с другими лингвистическими средствами, метафоры также обладают свойством каузальности.

Каузальность и метафоры. В своем учебнике по методологии, уже ставшем общепризнанным авторитетом, выдающиеся политологи Гэри Кинг, Роберт О. Кеохан и Сидни Верба приводят следующее определение каузальности: «Эффект каузальности – это различие между систематическим компонентом, при котором экспланаторная переменная приобретает одно значение, и соответствующим систематическим компонентом, при котором экспланаторная переменная приобретает иное значение (при снятии акцента с первого из них).

Выражаясь проще, это определение сводится к утверждению того, что какое-то X служит причиной Y при выполнении трех условий. Во-первых, X и Y должны быть переменными, то есть должны обладать способностью принимать более чем одно значение и поддаваться наблюдению. Г. Кинг, Р. Кеохан и С. Верба утверждают, что в естественных науках переменные состоят из двух компонентов – систематического и произвольного, при этом последний компонент изменяет скорее оценку каузального эффекта, чем его определение. Во-вторых, при изменении в X должно появиться и изменение в значении Y . В-третьих, X должен быть «экспланаторным». Изменение в X должно тем или иным образом «объяснять» Y . Это третье условие, конечно, весьма неясно: что означает «объяснять»? Несмотря на неясность, в экспланаторности выделяются два элемента: один из них довольно легко поддается определению, другой – нет. Легко определяемым элементом является предшествование: именно экспланаторная переменная меняет свое зна-

чение в первую очередь. Другим элементом является то основание, по которому изменение в экспланаторной переменной должно привести к изменению в другой переменной. Именно эта необходимость в основании и приводит к неясности условия, так как основание, по которому одна причина приводит к одному следствию, может, конечно, быть отличным от основания, по которому другая причина приводит к другому следствию. Будучи специфичным для каждого отдельного сочетания причины и следствия, значение «экспланаторности» не может быть определено вне контекста.

Если придерживаться определения Г. Кинга, Р. Кеохана и С. Вербы, метафоры могут выполнять функцию каузальности. Метафоры явно соответствуют первому условию. Они меняются, и особой изменчивостью обладает частотность употребления той или иной метафоры. Изменение показывает систематический компонент. В своей работе по метафоре, уже ставшей классической, Дж. Лакофф и М. Джонсон показывают, что метафора состоит не просто из отдельных примеров оригинального образного языка, а из повторяющихся и распространенных языковых моделей, которые людям, вовлеченным в коммуникацию, могут даже показаться буквальными. Семантика каждого естественного языка состоит из большего и разнообразного набора метафорических моделей, где наиболее известным примером является метафора «СПОР – это ВОЙНА». Так, англичане в споре *атакуют позиции* друг друга и *защищаются* от *вооруженных нападений* и *вылазок* своих противников в споре. Выбор коммуникантами метафор из этого набора определяет смысл, которым они обмениваются.

Что касается политики, способность метафоры удовлетворять второму условию является вопросом эмпирическим. Если есть возможность показать, что изменение в выборе коммуникантами метафор (особенно изменение в частотности их употребления) меняется в соответствии с политическими переменами, то можно сказать, что метафора удовлетворяет второму условию каузальности. Третье условие является частично эмпирическим и частично теоретическим. Открытие эмпирической связи между изменением в метафорах и политическими переменами оставляет открытым вопрос о том, что же из них каузально, но обнаружение того, что метафорическое изменение предшествует политическим переменам, закрывает этот вопрос. Сама проблема носит теоретический характер: как метафоры могут изменять политику? И в особенности, почему нужно считать, что изменение в метафорах и политические переменны не являются следствием какой-либо другой, «более глубокой», «основополагающей» причины, такой, как экономический прогресс, социальное разделение или трансформация установок?

Метафоры и политические переменны: исследование процесса демократизации на конкретном примере. Изучение того, как метафо-

ры могут изменять политику, было бы нелишним продолжить на конкретном примере. Безусловно, на единичном примере невозможно продемонстрировать каузальную силу метафор. Но рассмотрение любого единичного примера запускает процесс их накопления, который со временем может сложиться в эмпирический тест на каузальность. Представленный здесь пример относится к трансформации советского авторитаризма в современную российскую политическую систему, основанную на выборности. Анализ начинается с рассмотрения связи между политическими переменами и изменением метафор, в условиях предшествования последнего. Далее предполагается выделить основания, по которым метафорическое изменение должно приводить к политическим переменам.

Между 1985 и 1991 годами произошло крушение советского авторитаризма, и в самой большой из советских республик политическая система начала базироваться на выборности власти. Хотя полемика по поводу того, можно ли в свете произошедших изменений считать Россию демократическим государством, оставалась открытой, способ выбора российских руководителей коренным образом изменился. В советский период Россией управляла группа из десяти-пятнадцати человек, которая составляла Политбюро Центрального Комитета Компартии. Уполномоченные решать на свое усмотрение любые вопросы, члены Политбюро выбирались Центральным Комитетом, число членов которого могло достигать трехсот человек. Тем не менее, даже в этих выборах Политбюро баллотировалось единым списком, предложенным самими членами. Также само Политбюро заранее решало, кого избрать в Центральный Комитет. В отличие от такой системы, с 1990 года Россией управляла законодательная власть, выбираемая в результате многопартийных выборов, в которых право голоса имел каждый взрослый человек. С 1991 года законодательная власть делит свои полномочия с избираемым президентом. Но если выборы законодательной власти в 1990 году прошли в обстоятельствах, которые склонили их результаты в пользу кандидатов от коммунистической партии, конституционный кризис 1993 года привел к принятию новой Конституции. Несмотря на то, что новая Конституция, возможно, чрезмерно урезала права законодательной власти в пользу исполнительной и поэтому, возможно, склонила результаты президентских выборов в пользу кандидата на переизбрание, сама законодательная власть выбирается на основании правил, которые не дают ни одной партии никаких несправедливых преимуществ. Партии, находящиеся в оппозиции к действующему президенту, часто выигрывали выборы.

Таблица 1 показывает связь между этими переменами в российской политике и частотностью употребления определенных метафор в публичных обращениях руководителей СССР. Таблица показывает частот-

ность (на тысячу слов текста) употребления двух видов метафор – выражающих относительный размер и выражающих личное превосходство или субординацию. Метафоры размера выражены пятью основными прилагательными: *большой, крупный, широкий, высокий и великий*. Если включаются еще более трудные для понимания прилагательные *титанический* или *гигантский*, то общая частотность употребления соответствующих имен в авторитарный период по сравнению с перестроечным и современным периодами немного увеличивается. Метафоры личного превосходства или субординации включают в себя следующие:

- метафора, сравнивающая авторитарное правление с воспитанием;
- метафора, сравнивающая политическое руководство с людьми выдающихся интеллектуальных возможностей или с людьми, выполняющими интеллектуальную работу»;
- метафора, сравнивающая политическую деятельность с заданием, данным авторитетным лицом, с задачей, которую предлагает учитель;
- метафора, сравнивающая политическую систему с военизированной структурой.

В эту группу не входит *перестройка*, которая означает трансформацию или реорганизацию, но не подразумевает субординацию. Для русского человека «строительство» означает приведение в порядок.

Цифры, показывающие частотность метафор авторитарного, перестроечного и современного периодов, представлены по трем блокам, каждый из которых состоит из 50-ти политических текстов. Блок пятидесяти текстов авторитарного периода представляет собой высказывания членов правящего Политбюро. Они состоят из печатных версий сорока девяти речей и одного «интервью», относящихся к периоду между 1966 годом и февралем 1985 года. Блок текстов перестроечного периода также представляет собой высказывания членов Политбюро. Они также состоят из речей или интервью (появившихся в устном виде, а затем отредактированных и напечатанных в газетах), датированных 1989 годом, когда результатом реформ Михаила Горбачева стало образование законодательного органа, частично избираемого в результате многопартийных выборов. Блок 50-ти текстов современного периода состоит из высказываний известных политиков. Они состоят из речей, печатных версий устных интервью с журналистами, газетных или журнальных статей конкурентов в борьбе за политическую власть. Политики представлены по всему политическому спектру, включая нескольких политических экстремистов и центристов. Эти тексты появились в период между октябрём 1991 года, когда российский президент Борис Ельцин уже находился у власти после провала августовского путча, и декабрём 1993, когда российская законодательная власть впервые была избрана согласно новой Конституции.

В таблице также представлены два показателя, обозначенные как «Язык 1977» и «Язык 1993». Эти цифры показывают частотность одних и тех же лексем в двух больших примерах (каждый объемом около миллиона слов) из широкого диапазона разнообразных российских текстов. Советская исследовательская группа опубликовала первую цифру в 1977 году, в то время как Шведская исследовательская группа опубликовала вторую цифру в 1993 году. Эти две цифры интерпретируются как частотность данных лексем в русском языке. Так как частотные словари не проводят различий между метафорическим и буквальным употреблением рассматриваемых лексем, цифры завышают частотность, с которой метафоры употребляются в обычной речи. В политических текстах, наоборот, буквальное употребление почти не встречается, за исключением упоминаний строительства, которые в расчет не принимались. Более того, показатель 1977 года, полученный в результате анализа текстов периода советской цензуры, содержит большую часть политизированных текстов, которые склоняют его к авторитарной норме. Хотя показатель 1993 года включает литературные тексты, датированные 1960 годом, он не включает публицистические тексты до 1985 года. Таким образом, корпус текстов, в цифровом виде представляющий язык 1993 года, исключает политические тексты периода до прихода к власти М. Горбачева.

Таблица 1. Метафоры размера, личного превосходства (субординации) в русском языке авторитарного, перестроечного и современного периодов.

Употребление на тысячу слов, разделение по типу политики и показателю языкового употребления.

Тип политики	Метафоры размера	Метафоры личного превосходства (субординации)
Авторитарный	11.5	6.8
Перестроечный	6.0	3.1
Современный	3.8	1.6
Язык 1977	5.3	1.6
Язык 1993	3.8	1.6

Как показывает таблица 1, по мере того, как политика начинала приобретать выборный характер, политическая элита использовала намного меньше метафор размера и личного превосходства (субординации). Если метафоры размера придавали авторитарному дискурсу то качество,

которое один советский лингвист определил как «монументальность речевых форм и резонанса», в перестроечный период эта монументальность уменьшилась, а в современный период исчезла. Хотя темп снижения частотности использования зависит от особенностей конкретной метафоры, все эти метафоры наименее частотны в текстах современного периода. В действительности единственной метафорой субординации, сохранившейся в этом периоде, является *задача*, в то время как редкие примеры других метафор становятся либо негативными комментариями к авторитарному прошлому, либо превращаются в метафоры другой, неполитической сферы. Частотность употребления самой метафоры *задача* уменьшается, и, в отличие от метафор военной субординации, воспитания или интеллектуального превосходства, полностью вписывается в современную политику. Даже при современном государственном строе сами политики представляют себя в качестве авторитетных лиц, могущих управлять социальными процессами. Английский эквивалент этого слова, «проблема», употребляется как в педагогическом, так и в политическом дискурсе (напр., «политическая проблема», «социальная проблема»); так же и *задача* употребляется в русском языке как в сфере образования, так и политики. Удивительно, что для обоих типов метафор показатель частотности употребления в современном периоде идентичен одному или обоим показателям частотности в языковом употреблении. Но не следует придавать этому необычному совпадению слишком большое значение, т.к. употребления в буквальном значении, включенные в два языковых показателя, означают то, что метафорические употребления должны быть несколько менее частотными, чем в текстах современного периода. Тем не менее, можно с определенной долей уверенности заключить, что снижающаяся частотность употребления в трех видах политических текстов стремится к средней частотности употребления в языке.

Рассмотрение конкретных контекстов показывает, что эти метафоры могут не нести никакой дополнительной семантической нагрузки. Характерным примером из авторитарного дискурса является предложение (1), произнесенное Михаилом Суловым (членом Политбюро, ответственным за пропаганду), в своей речи в 1979 году.

(1) Передовики показывают высокие образцы отношения к своим обязанностям перед обществом.

Так как русское слово *образец* (и его английский перевод) несут в себе похожие коннотации идеального качества, которому должны подражать другие, прилагательное «высокий» является избыточным. Это предложение имеет одинаковое семантическое значение вне зависимости от употребления метафоры «высокий». Хотя метафора почти не изменяет смысл, она, тем не менее, выполняет прагматическую функцию.

Прагматику интересует цель, которую говорящий надеется достичь путем коммуникации. При анализе высказывания надо учитывать не только его содержание, но и его (предполагаемое) воздействие на адресата. Во всех культурах люди понимают высоту как метрическую шкалу, располагая нормальное, обычное или повседневное посередине этой шкалы. Таким образом, упоминание о чем-либо «высоком», как в предложении (1), выводит то, что называется «высоким», за пределы нормального или обычного.

Таким образом, метафора, использованная М. Суловым, сообщила его слушателям, что добросовестный труд, к которому призывала коммунистическая партия, должен превышать его обычный уровень, и данная метафора поставила цели Компартии выше целей людей. Описание руководителей как субъектов воспитания и противопоставление их остальным «трудящимся» должно было способствовать достижению прагматической цели – поднять коммунистическое руководство над всеми остальными людьми. Метафоры, характеризующие всех остальных как получателей задания Партии, или как стоящих в военном строю Партии, сообщают всем остальным, что они подчиняются коммунистам. Как отмечает Талми: «В парных антонимичных прилагательных, обозначающих в основном размер, протяженность, высоту, структуру, громкость, яркость, скорость, вес и пр., прилагательное с положительным смыслом передает как значение обладания качеством (т.е. положительный экстремум), так и родовое значение самого качества (т.е. немаркированный член). Это происходит по той причине, что положительный экстремум обладает большей *перцептивной выделенностью*».

Усиливая свою перцептивную выделенность, метафоры коммунистических ораторов делали их более важными и представляли в позитивном свете по отношению к населению. Эти метафоры также приписывали им самим качества, которые, как подразумевалось, отсутствовали у населения. Именно из-за этих прагматических сообщений девять метафор в таблице 1 включили в себя почти 2 % всех слов, употребляющихся в речах авторитарного периода.

В перестроечный 1989 год частотность утверждения превосходства целей и руководителей Компартии, а также социальной субординации снизилась даже в дискурсе самих лидеров Компартии, Политбюро, хотя в учреждениях или политических способах, которыми они выбирались, ничего не изменилось. Несмотря на то, что было введен новый политический институт, названный Съездом Народных Депутатов, часть которых была выбрана в ходе довольно честных выборов, проигранных несколькими известными коммунистическими руководителями. Сами члены Политбюро в этих выборах не участвовали, за исключением некоторых, тщательно отобранных Центральным Комитетом. В это время частотность метафор размера и превосходства (субординации) снизилась, одно-

временно в речах и интервью членов Политбюро начала расти частотность нового вида метафор, что показано в таблице 2. Этот новый вид метафор имел корни, заимствованные из латинского языка, хотя большинство этих слов имеет точные семантические эквиваленты в славянской этимологии. В коммунистическом дискурсе эти латинские слова использовались только в контексте международной дипломатии. Как показывает частотность употребления 1977 года, раньше они были крайне редки в России, а некоторые в корпусе текстов 1977 года совсем не употреблялись. Включая латинские метафоры в дискуссии по вопросам внутренней политики, особенно слово *диалог*, коммунистические руководители неявно сравнивали отношения между Партией и обществом с переговорами между равными независимыми структурами. При анализе корпуса текстов, взятых из прессы горбачевского периода, язык 1993 года обнаружил даже большую частотность этих метафор – явный признак общепризнанного факта, что диалог с обществом был более популярен среди журналистов и интеллигенции, чем среди членов Политбюро.

Неохотный призыв к переговорам вызвал у лидеров Компартии необходимость в собеседнике. В результате, метафора «общество» стала более частотна в 1989 году, и, как показывает предложение (2), само общество приобрело новые дискурсивные качества. В предложении (2), взятом из речи М. Горбачева, «общество» приобрело способность к свободным действиям, что в авторитарном дискурсе абсолютно отрицалось. Наделение общества такой способностью дало Компартии возможность найти партнера для переговоров, к которым сейчас призывал дискурс ее лидеров. В период после 1991 года употребление слова «общество» вернулось к языковой норме.

Таблица 2. Метафоры общности и переговоров

Употребление на тысячу слов, разделение по типу политики и показателю языкового употребления.

Политика	Переговоры	Общество
Авторитарная	0.3	1.2
Перестроечная	2.2	3.7
Современная	1.9	1.2
Язык 1977	(0.04)	0.8
Язык 1993	3.7	0.8

(2) Партия только укрепит свои позиции, если она будет взаимодействовать ... со всем обществом...

Хотя дискурс Политбюро 1989 года по сравнению с авторитарным периодом заметно изменился, институты, при помощи которых избирались его члены, остались на тот момент совершенно неизменными. Политбюро все еще оставалось руководящей исполнительной властью СССР, хотя в течение 1989 года его силы неуклонно ослабевали по мере того, как российское общество и общественность других советских республик отвечали на призывы Политбюро к политической активности. Когда Политбюро исчезло, новые политические силы в нарождающейся российской демократии оставили метафору переговоров между государственной властью и обществом. Случаи упоминания общества и переговоров стали реже, и в предложении (3), взятом из речи российского президента Б. Ельцина, подчинение государственной власти обществу теперь определялось другой метафорой.

(3) Нужно, чтобы с помощью Конституции общество поставило государство себе на службу...

Среди метафор, связанных с международными переговорами, увеличилось только количество упоминаний слов «стабилизация» и «стабильность» в корпусе текстов современного периода. Кроме того, они начали относиться больше к обществу и экономике, чем к политике.

В современном дискурсе употребления слова «диалог» также приобретают новые виды контекстов. Вместо вертикального диалога между Партией и обществом, как в дискурсе перестроечного периода, среди множества различных борцов за политическую власть возникает горизонтальный диалог, как, например, в предложении (4), взятом из интервью с лидером одной из политических партий:

(4) Конституционное совещание показало возможность диалога всех политических сил России.

Для того чтобы перейти от вертикальных отношений превосходства и субординации к горизонтальным отношениям переговоров, современные политики также используют метафору принадлежности к той или иной стороне, характерной для политического дискурса при устоявшемся демократическом строе, как показано в таблице 3.

Метафоры *сторонник* и *противник* имеют буквальные значения «тот, кто за» и «тот, кто против» соответственно. Хотя эти метафоры употребляются в коммунистическом авторитарном дискурсе, они используются только в отношении международной политики. СССР является неизменным *сторонником*, в то время как *противники* – это неизменно иностранцы или люди внутри коммунистического мира, ведущие подрывную деятельность вместе с иностранцами. В современном дис-

курсе эти термины начинают обозначать политические группировки. Они также связаны с появлением политического *спектра*, состоящего из партий или объектов выбора с цветовой маркировкой, такой как «красные», «коричневые» и «белые». И хотя «красный» конечно, появляется в авторитарном дискурсе, довольно удивительно, что даже Компартия СССР, в противоположность своим историческим предшественникам, не обозначается как «красная». «Стороны», конечно, также являются метафорами для объектов выбора, причем как в русском, так и в английском языках для описания выбора есть идиома «с одной стороны ... с другой стороны». Обозначая политику как акт принятия какой-либо стороны, новые метафоры для русских подразумевали наличие объектов выбора в политике.

И снова современная частотность более близка к обоим показателям языковой частотности, хотя их схожесть необходимо рассматривать с осторожностью, так как подавляющее большинство языкового употребления составляют цветковые термины, используемые больше буквально, чем метафорически. Кроме того, частотность метафорических употреблений в современном политическом дискурсе, возможно, немного превышает соответствующую частотность в языковом дискурсе.

Таблица 3. Метафоры сторон.

Употребление на тысячу слов, разделение по типу политики

Политика	Стороны
Авторитарная	0.2
Перестроечная	0.2
Современная	1.2
Язык 1977	2.1
Язык 1993	1.7

В итоге, когда советский авторитаризм уступил место Российской демократии, метафоры, описывающие политические отношения, изменились. Количество метафор, располагающих коммунистическое руководство над обществом, уменьшилось, сменившись сначала метафорами, сравнивающими отношения между руководителями и обществом с диалогом между равными субъектами. Они были, в свою очередь, вытеснены метафорами подчинения государственной власти обществу и метафорами, сравнивающими политику с выбором между противоборствующими сторонами. Политический дискурс, который в авторитар-

ный период значительно отличался от русского языка, стал более близким к нему в перестроечный период, а в современный период стал от него количественно неотличимым. Важным вопросом для обсуждения является предшествование изменений в российском дискурсе соответствующим переменам в политических институтах.

Политические метафоры и демократизация: следствия какой-то более «глубинной» причины? Хотя связь между изменением в метафорах и процессом демократизации при предшествовании первого была показана только на примере России, было бы совершенно неудивительно обнаружить похожие модели, включающие некоторые иные отдельные метафоры, и в других примерах. Одна из метафор сторон – различие между «правыми» и «левыми» – встречается повсеместно в демократическом дискурсе, также как и метафора диалога или переговоров между этими сторонами. Напротив, метафора «монументальности», характерная для советского авторитарного дискурса, встречается повсеместно в дискурсе монархического строя и диктатуры, так же как и метафоры воспитания, отеческой опеки монарха или диктатора. Во многих случаях еще предстоит провести эмпирическое исследование, особенно по документированию того факта, что метафорическое изменение предшествует переменам в политических институтах, но есть все причины предполагать, что российская модель окажется типичной.

Остается вопросом, почему нечто, кажущееся таким слабым и недолговечным, как метафора, должно обладать способностью трансформировать нечто такое долговечное и сильное, как фундаментальные политические институты, а в особенности, не может ли изменение в метафоре быть следствием какой-либо более «глубинной», более «основательной» причины. Дело в том, что политологам не удалось, несмотря на многочисленные попытки в течение многих лет, разработать ни одной вразумительной теории демократии. После внимательного и тщательного изучения результатов двадцатилетних исследований процесса демократизации компаративист Barbara Geddes пришла к следующему заключению: «Кажется, что должно существовать сжатое и неоспоримое объяснение процесса демократизации, однако предложенные на данный момент объяснения являются сложными и сбивающими с толку, они даются без учета основных методологических тонкостей, чаще они более полезны в качестве описания, нежели объяснения и необычайно противоречат друг другу».

Затем исследователь замечает, что «после 20-ти лет наблюдений и анализа в период третьей волны научного интереса к демократизации, мы можем быть вполне уверены в существовании положительной связи между [экономическим] развитием и демократией, хотя мы и не знаем причины этого». Но даже эта связь оказывается довольно слабой. Все наиболее развитые страны кроме одной являются демократиями (ис-

ключение составляет Сингапур), все наименее развитые страны кроме нескольких – не демократии (исключение составляют Монголия и Бенин). Но на промежуточных уровнях, как, напр., на уровне России, различия в экономическом развитии не кажутся столь важными.

Фактически, даже вполне квалифицированное и продуманное утверждение Барбары Геддс преувеличивает связь между экономическим развитием и демократией. Хотя синхронический анализ обнаруживает тот факт, что наиболее развитые государства являются демократиями, диахронический анализ показывает, что в этих государствах процесс демократизации начался тогда, когда их экономическое развитие достигло только промежуточного уровня, на котором экономическое развитие и демократия независимы. В большинстве государств, являющихся на данный момент демократиями, процесс демократизации начался в XIX веке, когда экономическое развитие начиналось, но не зашло слишком далеко. В нескольких современных демократиях, таких как проигравших во Второй мировой войне Японии, Германии и Италии, которые стали демократиями в период оккупации союзниками после 1945 года, процесс демократизации начался, когда доля ВВП на душу населения была очень мала. А если показателем является достижение демократии, которое можно определить как получение всем взрослым населением права голоса, США является примером государства с очень высоким уровнем экономического развития, которое не считалось полностью демократическим до 1965 года. Само собой разумеется, что высокоразвитая довоенная Германия совершенно не была демократической.

Итак, несмотря на десятилетия усилий, политологам не удалось найти более «глубинной» или «основательной» причины, следствием которой является как процесс демократизации, так и любое связанное с ним изменение в метафорах, чего можно было бы ожидать, если бы исследование было проведено на широком ряде примеров. Конечно, если демократизация связана с трансформацией политических метафор, найти такую более «глубинную» или «основательную» причину не представляется возможным. Это объясняет тщетность политологических поисков. Согласно определению, метафора выражает свой предмет путем упоминания какого-либо другого предмета, предполагаемого схожим, но и обладающим отличиями. Если авторитарные руководители метафорически возвышают себя и свою деятельность по отношению к управляемому ими населению или метафорически сравнивают себя с влиятельными правителями, а население – с воинскими званиями и колоннами, эти метафоры значимы, так как в реальности правители *не больше*, чем население, и население *не стоит смирно*. Другими словами, производство метафоры – это самостоятельный творческий акт, не производный от какой-либо другой физической или социальной реальности, кроме метафорической. Следовательно, причиной изменения ме-

тафорической модели в связи с политическими изменениями является не что иное, как сама метафора. И, безусловно, понимание каузальности как «глубинной» или «основательной», а также «приблизительной» и «конечной», является одной из пространственных метафор, при помощи которых люди понимают именно каузальность, а не фактическое качество причины. Таким образом, такое искусственное и непостоянное понятие как метафора вполне может обладать свойством причинности.

Каким образом метафоры обладают каузальной силой в отношении процесса демократизации: преодолевая нелогичность коллективного действия. Хотя процесс демократизации является изменением как институциональным, так и поведенческим, теоретики сконцентрировались на институциональности, игнорируя поведение, что отчасти привело к заблуждениям. Хотя процесс демократизации означает введение многопартийных выборов, этот институт не имеет смысла, если люди (не обязательно все) не перейдут от политической пассивности, характерной для недемократических режимов, к политической активности, характерной для демократии. До этого не допускавшиеся до борьбы за власть, сейчас люди должны стать на ту или иную сторону в политике. Поначалу их активистская деятельность может принимать формы восстания, мятежей или протестов; эти формы поведения время от времени возникают и в устоявшихся демократиях, но обычно сменяются гораздо менее затратной деятельностью голосования. Неоспоримая теория демократии отсутствует частично потому, что, несмотря на десятилетия эмпирических исследований и солидный объем накопленных данных, у политологов все еще нет теории голосования. Эмпирические корреляты голосования – возраст, образование, доход, политическая приверженность, политическая активность – уже являются общепризнанными, но они не образуют теорию. Единственная вразумительная теория голосования – анализ рационального выбора – к сожалению, довольно недвусмысленно и твердо предсказывает, что почти все воздерживаются от голосования.

Чтобы объяснить, почему люди массово участвуют в голосовании, требуется найти причины, по которым люди идут на затраты голосования, не получая никакой внешней выгоды, равнозначной этим затратам. Тот же самый вопрос является центральным для изучения других форм коллективного политического действия, такого как протест, мятеж или восстание. Как и голосование, эти формы поведения являются затратными по времени, усилиям и риску. Люди могут достичь цели без личного участия в этих формах протеста, при вовлеченности достаточного количества других людей. Но они могут и не достичь цели, несмотря на личное участие, при вовлечении недостаточного количества других людей. Хотя парадоксальность этих действий широко известна как «логика коллективного действия» (что должно, скорее, называться *нелогичность*

коллективного действия), менее известны результаты индивидуалистического анализа затрат и результатов для подавления, являющегося определяющей характеристикой недемократических режимов. Если все перейдут от размышлений о затратах и результатах действия к размышлениям о самих себе, подавление становится как ненужным, так и невозможным. Оно становится ненужным, так как подавление стремится препятствовать формам поведения (напр., принятию чьей-либо стороны в политике), которым уже воспрепятствовала нелогичность коллективного действия. Оно становится невозможным, так как само подавление является формой коллективного действия. Оно требует затратной поддержки со стороны полиции, солдат, знати и руководства, из которых никто не сможет поддерживать политический порядок собственными силами, а может благополучно уклониться от поддержки, продолжая при этом получать жалование.

Хотя иногда случается, что авторитарные руководители, предвидя народные потрясения, предотвращают протесты, заранее соглашаясь на создание института выборов, процесс демократизации – это переход от одной формы управления к другой форме. При изучении коллективного действия оказывается, что оно близко связано с понятием *идентичность*. Десятилетия эмпирических исследований показали, что голосование в наибольшей степени связано с партийной идентификацией, т.е. с утверждением голосующего, что он или она идентифицирует себя с той или иной политической партией. Партийная идентификация является, в свою очередь, особой политической формой общего процесса формирования социальной идентичности. Лабораторные исследования, проведенные социальными психологами, обнаружили три характеристики социальной идентичности, которые объясняют ее связь с голосованием и вероятность ее связи с политическим подавлением и его спутниками – восстаниями, мятежами и протестами. Первая характеристика касается принятия затрат. В лабораторных экспериментах, когда люди получают сигнал общей с другими социальной идентичности, они добровольно оплачивают свои затраты и налагают те же затраты на членов своей социальной идентичности. Это происходит, *если* принятие затрат своей группы налагает большие затраты на членов какой-либо противостоящей группы – т.е. проводит дискриминацию в отношении противостоящей группы. Вторая характеристика касается восприятий. Люди, получающие сигнал общей социальной идентичности, стереотипизируют противостоящие группы. Третья характеристика касается способности дискурса сигнализировать людям общую социальную идентичность. Чтобы вызвать затратные дискриминацию и стереотипизацию, ему достаточно дать сигнал субъектам эксперимента, что они являются членами одной группы, противостоящей другой группе. Ни одной из групп даже нет необходимости существовать на самом деле. Эти три характеристи-

ки социальной идентичности – затратная дискриминация, стереотипизация и дискурсивная сигнализация делают возможным факт объяснения метафорами процесса демократизации.

Метафоры советского авторитарного дискурса установили интересную модель социальной идентификации, типичную для недемократической формы правления. Когда советские руководители описывали себя и свои действия как высокие или большие, этим они подразумевали, что те, которыми они руководят, являются низкими или маленькими. Руководители усилили это послание, описывая себя как высокие чины, как дающих задания, как воспитывающих, в то же время подразумевая подчиненность и покорность тех, кем они руководят. Эти сигналы разделили советский народ на противостоящие социальные идентичности руководителей и руководимых. Но ключевым моментом является то, что только представители руководства получали метафорические сигналы позитивной социальной идентичности. Руководители называли себя «высокими», но они никогда не упоминаются как «низкие». Как сказал И. Сталин, который определил характерные для советского авторитаризма институты: «Или вы ничто в глазах партии, или вы полноправный член партии». Стандартная советская терминология повторила это определение, разграничив положительную идентичность *коммунист* и остаточно идентичность *беспартийный* – отрицательное значение которого выражается как в русском, так и в английском языках («non-party person») отрицательным префиксом. Получая сигналы положительной политической идентификации, руководители режима мотивировались на дискриминацию массы беспартийных; лишенное таких сигналов, управляемое население оставалось коллективно пассивным, хотя некоторые личности протестовали публично, а многие приняли скрытые формы протеста, такие как мелкое воровство и вандализм. Дискриминация населения приняла форму идентификации и изоляции через заключение в тюрьму, депортацию или помещение в психиатрические лечебницы всех, кто мог послать населению положительные сигналы другой политической идентичности, что могло бы спровоцировать коллективное действие, направленное против режима.

Когда Политбюро во главе с М. Горбачевым прекратило посылать прежние сигналы и перешло к новым метафорам, официальное подавление стало разобщенным, а смельчаки стали понимать новые сигналы, то это сделало возможным коллективное участие в диалоге, к которому призывало руководство. Так как постоянное сравнение Партии и общества, проводимое Политбюро, сохранило разделение социальных идентичностей, чувства народа к органам государственной власти были по большей части оппозиционными. Новые общественные движения, появившиеся в период 1985-1991 гг., ставили своей целью отстранить существующие полномочные органы от власти. Будучи еще слабыми, все

еще находясь под страхом подавления, время которого уже подходило к концу. Лидеры этих движений могли первоначально скрывать свои мотивы за слоганами в поддержку М. Горбачева и его Перестройки, но по мере того, как подавление дезорганизовалось все больше и больше, движения переродились в уличные протесты, требующие конца авторитарной власти и установления полной демократии.

По мере того как в период между 1991 и 1993 гг. новая политика набирала силу, и исчезали старые метафорические сигналы горизонтального раскола, разделяющего руководителей и руководимых, люди постепенно перестали рассматривать политическую элиту как носителей отдельной социальной идентичности. Те люди, которые ранее стереотипизировали Политбюро и его членов, начали получать от политиков сигналы, вошедшие в их собственную повседневную речь. Сигналы общей социальной идентичности, связывающие политиков и общество, дали людям возможность увидеть разницу между соперниками, борющимися за политическую власть. Видя различия, они начали присоединяться к политику, которого находили похожим на себя. Новые политические деятели стимулировали это различие путем введения метафоры сторон. Это привело к установлению в обществе вертикального раскола, отделяющего группы политических деятелей с их сторонниками от групп соперников. Эти новые метафоры сторон и цветов употреблялись менее регулярно, чем концентрированные метафоры размера и превосходства, характерные для авторитарной формы правления. Соответственно новые партийные идентичности в демократической России были менее прочными, чем концентрированная, бескомпромиссная идентичность коммунистического авторитаризма. Вместо того чтобы мотивировать подавление политических оппонентов, удалось только мотивировать голосование. Даже уличные демонстрации и другие формы протеста уже не собирали столько народа и не были столь частыми, несмотря на сокращение подавления, которое продолжалось в ослабленных формах почти до конца Горбачевской эры. Это правда, что в конце первого этапа современного периода в Москве между 21 сентября и 4 октября 1993 года произошло короткое, бурное восстание и его подавление, но даже в этом волнении участвовало очень небольшое количество человек, по несколько тысяч с каждой стороны, и оно было быстро и легко подавлено.

Метафоры могут объяснить процесс демократизации с помощью своей способности посылать сигналы социальной идентичности. Метафоры недемократического типа посылают сигналы разделения общества на верха и низы, высокие чины и подчиненных, родителя и ребенка, дающего и получающего задания. Эти метафоры показывают различия между активной группой, которая получает положительные сигналы своей идентичности и пассивной группой, которой сигналы идентично-

сти не посылаются. Результатом этого является тот факт, что первая группа дискриминирует в форме подавления, в то время как вторая группа воздерживается от коллективного противодействия. Отказ от таких метафор приводит подавление к концу путем прекращения подачи сигналов особой социальной идентичности руководителей, и трансформирует поведение народа. По мере того, как люди начинают различать соперников в борьбе за власть, они начинают принимать стороны, которые как им говорят политики, неожиданно появились. Не получая сигналы высокой интенсивности, люди принимают участие только в низкозатратной деятельности, особенности в голосовании.

Заключение. Хотя изменение в метафорах во время процесса демократизации было продемонстрировано только на примере России, можно считать, что количество примеров можно увеличить. Если это так, то политическая каузальность метафор полностью подтверждается. Во-первых, как метафоры, так и политика способны к систематическим изменениям. Во-вторых, изменение в метафорах связано с политическими переменами. В-третьих, если метафоры изменяются первыми, их можно будет идентифицировать как экспланаторные переменные, так как их способность сигнализировать общую социальную идентичность объясняет переход от подавления через протест к голосованию, что является процессом демократизации. Безусловно, теорию, которая видит причину изменения в метафорах, легко опровергнуть. Первым способом опровержения будет обнаружение примера процесса демократизации, которому не предшествует изменение в политических метафорах. Вторым способом будет обнаружение третьего фактора, предшествующего как изменению в метафорах, так и процессу демократизации. Несмотря на пять или более десятилетий напряженных усилий, социологи не смогли найти такой фактор. Независимость от экстралингвистических условий, которая входит в определение метафоры, объясняет невозможность нахождения такого фактора.

Перевод С.С. Чащиной и Т.А. Шабановой

Глава 8. ОКСИМОРОН ИЛИ НЕДОПОНИМАНИЕ? УНИВЕРСАЛИСТСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО МЕТАЯЗЫКА АННЫ ВЕЖБИЦКОЙ

[Тетради Фердинанда де Соссюра, № 57, 2004, С. 23–43]

Гуманитарные науки, к счастью или нет, очень отличаются от точных наук. Так, у Томаса Куна, как только новая парадигма сменяла прежнюю парадигму, у прежней не было никакого шанса на существование в «стандартной науке». Всем известно, что гелиоцентрическая модель Коперника уступила место геоцентрической модели Птолемея.

В лингвистике, напротив, ничего подобного не происходит. Новая теория никогда не «фальсифицировала» прежнюю теорию. Существуют скорее появление центров различных интересов, но не ниспровержение внутреннего устройства унифицированной науки. Генеративная грамматика Хомского не уступала сравнительно-исторической грамматике, обе грамматики могли сосуществовать беспрепятственно на одном и том же факультете общей лингвистики в одном и том же университете. Совместные исследования, будут иметь в качестве объекта, например, сферы применения, а не признание научной *истины*, вовлекая согласованность всего научного сообщества.

Так, можно было предположить, что совместное изучение языка, датируемое эпохой немецкого романтизма, начнет устаревать. Но ничего подобного не произошло: возрождение неогумбольдтианства является явлением всеобъемлющим в Восточной Европе и в особенности в России.

То, что в XXI веке мы все еще верим в «национальный характер людей» поразительно. Для его изучения чаще всего опираются на систему универсальных смысловых атомов или «Алфавит человеческих мыслей» Лейбница («Alphabetum Cogitationum humanorum»). Способ изучения такого рода приобретает огромный успех в Восточной Европе, не только у широкой публики, но и в научном дискурсе заслуженных и признанных лингвистов, вот что заслуживает внимания.

В течение тридцати лет Анна Вежбицка, лингвист польского происхождения, работающая в Австралии, пытается установить связь между Лейбницом и Гумбольдтом, разрабатывая «естественный семантический метаязык», способный описать «мир семантики» всех языков мира. Абсолютный универсализм на службе крайнего релятивизма, эта поразительная затея составит объект анализа ее эпистемологических основ, в рамках более общей перспективы выявления предполагаемого научного и идеологического *дискурса в языке* в Восточной Европе.

В рамках этого особого количества универсальных языков будет представлен главным образом *универсальный естественный семанти-*

ческий метаязык Анны Вежбицкой, размышляющей над приемом, который станет способом интерпретации, и пытающейся сформулировать теоретические предпосылки.

1. То, что может говорить, может рассказать: релятивизм

В работе *Понимание культур через ключевые слова (Английский, Русский, Польский, Немецкий и Японский)* (*Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, Japanese*)¹, А. Вежбицка опирается на «возрожденную популярность» Гумбольдта и гипотезы Сепира-Уорфа для того, чтобы подкрепить свою программу исследования «взаимосвязи между языком и мышлением» через слова как особые ключи к каждой культуре, этот последний термин понимается как абсолютный эквивалент «языка». Ее рабочая программа строится на следующих принципах².

Каждый язык отражает черты экстралингвистической реальности, которые являющиеся «оправданными и уместными» для носителей культуры, которые использует этот язык. Осваивая язык, и в особенности, смысл слов носитель языка начинает «видеть мир» под углом зрения, который ему навязал родной язык: он приобрел концептуализацию мира, характерную для этой культуры. Слова, которые содержат «лингво-специфические концепты» вместе *отражают* и *создают* форму мысли носителя языка. В качестве примера, она приводит гастрономическую лексику: *щи* (суп из капусты) и *кефир* для русского языка, это также совокупность привычек, социальных институтов и системы личных ценностей в культуре, которая использует «соответствующий язык». «Лингво-специфические слова», таким образом, являются «бесценными ключами» (*priceless clues*) для того, чтобы интерпретировать и понять ценности и идеалы «людей» (*people*), их манеру видеть мир и их жизнь в мире. Так, А. Вежбицка утверждает, что три особых (характерных) лингвистических понятия могут только сами себе дать ключ к русскому лингвистическому видению мира: *душа, тоска, судьба*³.

Немного раньше, в работе *Прагматика культурного взаимодействия (Cross-cultural pragmatics: the semantics of human interaction)*⁴, она изложила свою программу *нереферентной семантики*. Явно возражая разделению, которое производит Ч. Моррис между синтаксисом, семантикой и прагматикой, она утверждает, что значение элементов естественного языка не может быть вычтено из взаимосвязи между знаками и миром:

¹ Wierzbicka, 1997.

² Речь идет о *принципах*, в рамках, определенных ранее, а не о гипотезах, придерживаемых в процессе исследования.

³ Wierzbicka, 1990.

⁴ Wierzbicka, 1991.

«Сама природа естественного языка такова, что он не отличает экстралингвистической реальности от психологической и от социального мира носителей языка» (Вежбицка, 1991, с.16).⁵

Для нее, значение является:

1) «антропоцентрическим»: оно отражает общие приоритеты человеческой природы, оно предназначено для человека, и вся лингвистическая категоризация объектов и событий мира направлена на человека: это общая черта для всех языков;

2) «этноцентрическим»: оно направлено на определенную этническую группу, и каждый язык имеет свою национальную специфичность.

Таким образом, для А. Вежбицкой невозможно написать о естественном языке «мир такой, каким он является»: каждый язык *навязывает* носителям образ обусловленного мира.

Наконец, в семантике одного языка нельзя отличить, что части предопределены в структуре этого самого языка. Таким образом, «абстрактные понятия, такие как обещание или порядок, стыд или отвращение» зависят от языка, в котором они выражены, они определены «интересом и отношением говорящих», сами созданы языком, в котором они употребляются.⁶

А. Вежбицка пренебрегает границами между подразделами лингвистики, которые считает ложными и искусственными. Так,

«никакая граница не может быть проведена между ‘денотативным значением’ и ‘прагматическим значением’, никакая граница не может быть установлена между ними и грамматикой. Разница между активными и пассивными предложениями, между подлежащим и дополнением, между прямым и косвенным дополнением, и т.д., является главным образом прагматической, так сказать обусловленной, в значительной степени, интересом и отношением носителей языка».⁷

В заключении, подлинная структура языка содержит тесную связь с другим измерением, психологическим: «национальный характер» носителей языка может быть выделен из языка, и в свою очередь разница концептуализации мира между языками может быть объяснена национальным характером. В особенности не только мысли не могут стать мыслями только как в рамках отдельного языка, но еще и сами эмоции не могут быть прочувствованы, при условии выражения в языке, в «особом языковом сознании».

⁵ «... тот тезис постоянно повторяется в трудах А. Вежбицкой. Ср., например, Wierzbicka, 1988.

⁶ Wierzbicka, 1998, с. 2.

⁷ Там же.

2. То, что может говорить, хочет сказать: универсальный ключ

Недавно изложенная культуралистская программа была бы удивительно похожа на всю линию неогумбольдтианства, если бы А. Вежбицка не добавила совершенно новый и отличительный элемент. В самом деле, если в гипотезе Сепира-Уорфа лингвистические системы видения мира являются несовместимыми и всегда несовместимы между собой, для А. Вежбицкой, напротив, «культурно-специфические понятия» хорошо сопоставимы, потому что их можно перевести на универсальный язык, который преодолевает эти различия: язык *семантических примитивов*, или *естественный семантический метаязык*.

В *Семантических Примитивах* (1972), опираясь на тот факт что, для Витгенштейна,

«философия – не теория, а деятельность. Философская работа состоит по существу из разъяснений»⁸

она изложила, таким образом, свой рабочий принцип:

«Семантика представляет собой деятельность, которая заключается в разъяснении смысла человеческих высказываний»⁹.

В отличие от того, что она называет «традиционной семантикой», Вежбицка отстаивает для «современной» семантики цель моделировать и представлять значения в виде «эксплицитных формул». Она идет гораздо дальше логических представлений, утверждая, как единственную приемлемую модель представления значений, которая была бы в то же время их *толкованием*. Вежбицка предлагает для этого создать *семантический метаязык*, который будучи «объяснительным», должен быть «настолько ясным и непосредственно понятным», который не требует в свою очередь никаких разъяснений. По этой причине она отвергает формулы символической логики и матрицы дифференциальных признаков, которые не могут рассматриваться в качестве *экспликаций*. Таким образом, универсальный язык станет *сразу* метаязыком и частью естественного языка.

А. Вежбицка опирается на логическую ошибку:

«Если семантика, описывая содержание производимых людьми высказываний, призвана воспроизвести структуру человеческого сознания, то она не может использовать аппарат, чуждый таковому сознанию. Семантический язык, претендующий на объяснительную силу, должен делать сложное простым, запутанное — понятным, неясное — самоочевидным». (Вежбицка, 1972, Введение.)

⁸ Wittgenstein, 1921, афоризм 4.112.

⁹ Wierzbicka, 1972, Введение.

Так объясняется ее отказ от *искусственного языка*, парадоксальное следствие ее проекта *универсального семантического языка*. Вот над чем основывается потрясающая оригинальность рабочей программы А. Вежбицкой, которую мы собираемся сейчас представить.

Универсальный язык А. Вежбицкой не находит места в типологии Кутюра и Ле (1903), потому что он имеет особенность быть *произнесенным на всех языках мира*. Более простой чем любой «естественный» язык, он создан из частей языка, таким образом, он сам является частью языка. Но в то же самое время, он единственный может передавать смысл всех языков, которые он превосходит. Он также является внутренней, нежели внешней частью человеческой речи.

В отличие от «классического» неогумбольдтианства, А. Вежбицка постулирует *общую основу* для всех разновидностей способов концептуализации мира во всех языках мира. Согласно этой основе любое понятие¹⁰, сложное или странное, каким бы ни было, «закодировано» в лексической единице естественного языка, оно может быть представлено в форме особой конфигурации *элементарных смыслов*, неразложимых и универсальных, в тех смыслах, в которых они лексически зафиксированы во всех языках. Это следствие действует в двух направлениях:

- любая единица семантически неразложимая должна быть универсальной;
- любая универсальная единица (т.е. представленная в лексике всех языков) предполагается семантически неразложимой.

Таким образом, имеется связь между неразложимым и универсальным: любое понятие семантически не элементарное (т.е. не универсальное) может быть представлено в форме особой конфигурации элементарных смыслов (или концептов семантически элементарных и универсальных).

Список семантических универсалий, названных «семантическими примитивами», очень изменился в ходе развития работы А. Вежбицкой, варьируясь между пятнадцатью и шестнадцатью, но принцип остался неизменным: объяснение всякого «лингвоспецифичного понятия» заключается в *переводе* на естественный семантический метаязык, лексика которого состоит из универсальных семантических *элементов*. Эти элементы объединены в большой *системе*, которая связана с очень древним замыслом каталонского теолога Раймунда Луллия (или Рамона Луллия), с идеей Дж. Свифта, об универсальном языке, которую он в шутку описал в своей третьей книге Путешествий Гулливера.

Сущность работы А. Вежбицкой состоит в разработке, или точнее, *открытии* метаязыка описания значений всех естественных языков.

¹⁰ А. Вежбицка всегда использует в своих текстах на английском языке слово ‘concept’ (концепт), не делая различия между *понятиями* и *концептами*.

Первый этап этого языка назывался *lingua mentalis* в ее книге 1980 года¹¹. Затем, понемногу, конечная цель поменялась: больше не говорится о системе отдельных слов, но об *истинном языке*, снабженном не только лексикой, но также и синтаксисом.

Необходимо подчеркнуть два основных пункта:

1) Семантический метаязык должен быть *сам по себе языком естественным*, или точнее *частью* естественного языка. Это то, что она называет *принципом естественности*. В отличие от языка дерева зависимостей или семантических сетей (как в модели И. Мельчука «смысл <-> текст»), языка семантических маркеров (Катц и Фодор, 1964), язык интенциональной логики Монтегю, семантический язык А. Вежбицкой «высечен» из существующего языка. Если логика позволяет использовать символы, смыслы слов семантического языка напротив должны быть *сами по себе понятными*, а не только для носителей конкретного языка.

2) Один и тот же семантический язык должен быть способен служить для описания значений как лексических, так и грамматических и прагматических (иллокутивных).

Последний пункт очень важен. Для А. Вежбицкой не существует никакого чисто грамматического значения, есть только конкретные значения, которые имеют грамматически обязательную черту. Важность заключается в том, что грамматические и лексические значения взаимозменяемы: что является лексическим значением в одном языке может в другом быть передано только как грамматическое.

Этот принцип единства семантического метаязыка распространен на иллокутивные значения. Так, *спрашивать* и *приказывать* являются лексическими единицами, в одном случае вопрос, в другом приказание, как иллокутивные акты. Но значение этих единиц языка составлено из *одних и тех же элементов*.

Пример:

- элемент (или «составляющая») «я хочу» (I WANT) входит в обязательную семантику императива также как в описание слов со значением просьбы и приказа;

- элемент (или «составляющая») «я знаю» (I KNOW) играет важную роль в толковании декларативной и вопросительной модальностей, так же как в лексемах со значением «информировать», «спрашивать».

¹¹ Отмечаем, что использование терминологии Уильяма Оккама А. Вежбицкой является всего лишь недоразумением. Для Оккама значение терминов текущего языка (письменного или устного) всецело является условным и может быть *модифицировано* (то, что по-английски называется «dog» может быть сказано по-латыни *canis*). Напротив, значение терминов (или концептов) в книге *Lingua mentalis* такое, как его понимает Оккам, основано на естественности. Концепты «имеют значение по своей природе», поэтому они и являются концептами. Это «естественное значение» является отражением мира, основанным на том факте, что концепты являются в какой-то степени «по своей природе схожими» в своем предмете.

Семантическая разработка А. Вежбицкой очень близка Московской семантической школе (А. Жолковский, И. Мельчук, Ю. Апресян). Но в упомянутой школе не рассматривают взаимное выражение семантических примитивов в различных языках, для А. Вежбицкой семантический метаязык является действительно *универсальным*. Однако, существенная разница заключается в том, что для московских специалистов по семантике система семантических примитивов является спонтанной, как совокупность обязательных составляющих, которые повторяются, для А. Вежбицкой семантический метаязык является результатом труда по тщательной обработке, которая, как она утверждает, является *эмпирической*: примитивы, по ее мнению, не являются результатом созидания или изобретения, а открытием. Они предшествуют изучению исследователя, ожидая, словно грибы в лесу, когда они будут *обнаружены*. Не существует *реализации смысла*, потому что смысл *дается* в начале.

Гипотеза (или скорее неоднократно повторенное утверждение) существования универсального естественного семантического метаязыка состоит в возможности найти совокупность слов одного языка (например, английского), которые будут удовлетворять следующим условиям:

1) эти слова семантически неразложимы (это «первичный» смысл в английском языке), но при помощи них можно *разделить на части* другие слова того же языка;

2) эти слова имеют выражение во всех других языках, и во всех языках это выражение может играть роль семантического примитива этого языка.

Существует два критерия, по которым можно узнать может ли слово быть включено в семантические примитивы, так сказать, для того, чтобы узнать станет ли оно частью естественного семантического метаязыка:

1) внутренняя семантическая простота, или «самопонимание»: *то, что понятно само по себе*. А. Вежбицка настаивает на том факте, что сложность и невозможность найти для данного слова адекватное толкование не является доказательством того, что слово элементарно: можно доказать, что слово разложимо, но нельзя доказать обратное.

2) переводимость на другие языки то, что является гарантией универсальности естественного семантического метаязыка и в то же время хорошим фильтром для того, чтобы узнать, что слово действительно является семантическим примитивом.

Например, А. Вежбицка ставит под сомнение интерпретацию, которую дает Грамматика Порт Рояля глаголу *существовать*, это относится к известному высказыванию, что «слова настолько ясны, что нет никакой необходимости их объяснять». Для А. Вежбицкой, напротив, если этого глагола не существует во всех языках, значит он не является первичным элементом. Она предполагает, что его можно заменить оборотом THERE IS, который, как она утверждает, существует во всех языках.

Эмпирический принцип А. Вежбицкой проявляется в ее терминологии, которая присутствует в поиске «кандидатов» в качестве примитивов. Так, определенные слова (или скорее «концепты») были бы «хорошими кандидатами» по причине своей межпереводимости, такие как глаголы SEE, HEAR, которые, согласно ей, имеются во всех языках. Вежбицка не предполагает то, что это утверждение не поддается проверке.

Тот же самый принцип, представленный как эмпирический, позволяет ей сделать выбор между «кандидатами» от имени психологии очевидности: целью которого является нахождение слов, которые были бы «сами по себе понятны» и самыми переводимыми на другие языки. Таким образом, согласно Вежбицкой, в паре слов можно всегда решить, какое слово более понятно: то, которое является самым конкретным. Вот почему существительное *мужчина* более понятно чем прилагательное *одушевленный*, указательное местоимение *этот* – более понятно чем *дейксис*, глагол *делать* понятней чем *агентив*, глагол *говорить* чем *локатив*. Таким же образом, слова, выражающие параметры объекта ситуации, такие как *расстояние*, *величина*, *количество*, *качество* и т.д., передаются на универсальном естественном семантическом языке по их крайним точкам: *большой/маленький*, а не *величина*, потому что «для сознания носителей языка» идея параметра *более сложна*, чем крайние точки на масштабе значений. Дальше можно увидеть, такие понятия, как «контроль» и «мастерство», являющиеся опорами ее теории и которые она применяет постоянно, но которые никогда не объяснялись.

Вот еще один метод эмпирического поиска «кандидатов», который объясняет непрерывные изменения избранных в списке. Например, прежний примитив BECOME (в книге от 1972 года) в 1988 году был объяснен с помощью примитива HAPPEN:

X became Y =

- (a) at some time X was not Y
- (b) after that something happened to X
- (c) after that X was Y
- (d) I say this after that time.

Что более любопытно, прежнее слово стало разложимым, согласно последующей версии. Так, KNOW, изначально интерпретировалось при помощи CAN SAY, ставшее примитивом, то же самое с MOVE, интерпретируемое сначала с помощью CHANGE PLACE, стало в свою очередь примитивом.

3. Какой объект исследования в работе А. Вежбицкой?

Успех – и крайняя неоднозначность – книг А. Вежбицкой в англосаксонском мире и в России объясняется, по моему мнению, деятельно-

стью, в которой она представляет две различные традиции, или линии мысли, в которых философские предпосылки в начале очень разные: англо-саксонская аналитическая философия и гегельянство в ее «восточной» интерпретации (теория формы, ср. 3.1.2.)

Отказ разделения между синтаксисом и грамматикой А. Вежбицкой это только отдельное явление. Но он включает двоякую первопричину: спор относительно независимости синтаксиса у противников Блумфилда, Хомского и Харриса в 60-х годах в Соединенных Штатах (с помощью компонентного анализа и логического атомизма) и утверждение «неразрывной» линии между языком и мыслью в немецкой гумбольдтской традиции, нашедшей крайне благоприятную почву в России, как до большевистской революции, так и в советскую эпоху, а затем постсоветскую. Столкновение этих двух течений мысли хватило, чтобы породить некоторое непонимание. А. Вежбицка ставит на двух лошадей сразу: универсализм логического атомизма и релятивизм, или «культурализм» неогумбольдтианства. Эта вторая тенденция, которая, по видимому преобладает в принятии ее работы в современной России, не взирая на неясность между «антропоцентризмом» и «этноцентризмом». В недавней монографии «Философия языка в России»¹² упоминается антропоцентризм, отстаиваемый А. Вежбицкой, в связи с тем, что «язык навязывает носителям видение мира», используя русское выражение «картина мира», при этом ни разу не упоминая, что речь идет о дословном переводе немецкого *Weltbild*, часто употребляемого в немецкой лингвистике 30-х годов 20 века, затем в послевоенные годы (Ср. Вайсгербер, 1939, 1950). В этом образце мысли, антропология основывается на этнографии: считается, что индивидуум существует не иначе как благодаря этнической группе, которой он принадлежит.

3.1. Совершенный язык или язык ангелов?

Универсальный естественный семантический метаязык А. Вежбицкой, как язык ангелов в раю, является языком со знаками прозрачными до такой степени, что они «понятными непосредственно и интуитивно»¹³. Знаки этого языка не возвращаются в мир вещей, а заключены в «видении мира» людей, в непроходимых границах. И благодаря постоянному движению знаков между этими двумя несовместимыми позициями культурные отличия в семантике естественного языка превращаются в свою противоположность: тот прозрачный смысл, полностью постигаемый и совершенно не двусмысленный.

¹² Безлепки, 2001, с. 6.

¹³ Под этим подразумевается «говорить на языке ангелов» и вообще, библейская лингвистика, ср. де Серто, 1985.

3.1.1. Мысль о совокупности

Для А. Вежбицкой, все то, что есть в лингвистике, не может ускользнуть от семантики. Семантика всеобъемлюща, она не оставляет ничего без внимания.

Семантика уникальна. Она объединяет лексику, грамматику и иллокутивную структуру. Крайне важно, что мы можем выделить основное единство, и что, независимо от части задачи, на которую мы ориентируемся в данный момент, мы всегда помним нашу основную цель: описание комплексной семантики естественных языков.¹⁴

3.1.2. В начале был Смысл

Основная идея А. Вежбицкой - *всякая форма передает смысл*. Таким образом, каждая грамматическая конструкция «кодирует» определенное значение, которое может быть «фиксировано» и строго установлено, так чтобы значения различных структур могли быть «сравнимы точным и ясным способом, как внутри языка, так и между языками.»¹⁵ Следствием этой основной идеи является положение, которое можно назвать оруэлловским: кто не имеет в своем языке слова (*формы*), чтобы сказать что-либо, не может ни думать на нем, ни чувствовать.

Понятие *произвольный* берет здесь чрезвычайно негативную оценку:

Грамматика не является семантически произвольной. Напротив, грамматические различия являются обоснованными (в синхронистическом смысле) посредством семантических различий; любая грамматическая конструкция это средство определенной семантической структуры, это его разумное основание и критерий, который определяет употребление (там же).

Непримиримое следствие того факта, что все семантическое есть положение об упорядоченной несостоятельности за *исключением*, предположения, что ничего в языке не ускользает от порядка и гармонии, основанных на смысле.

Существуют источники, которые А. Вежбицка не приводит, и которые будут, тем не менее, освещены для понимания ее интеллектуального пути. В первую очередь необходимо вспомнить о Якобсоне, который в своей статье 1932 года о структуре русского глагола, высказывает тот, кто позади «случайных и частных употреблений» глагольных форм умеет распознать «основное значение» (*Gesamtbedeutung*) и избегает формулировать поспешные правила, которые порождают бесчисленные исключения.¹⁶ Второй источник более интересный, даже если он и игнорируется А. Вежбицкой, потому что он почти слово в слово соответст-

¹⁴ Wierzbicka, 1998, с. 2-3.

¹⁵ Wierzbicka, 1998, с. 3.

¹⁶ Jakobson, 1932 (1985, с. 211-212).

вует упомянутому тексту, в нем говорится о Константине Аксакове (1817-1860), грамматисте-славянофиле и убежденном гегельянце, для которого почти все сводится к правилу, в языке не может существовать исключений:

Часто случается, что глагол образует уникальный пример употребления, который покажется для близорукого взгляда исключением из правила, но [...], когда понимаешь подлинное значение этого глагола, оказывается, что на самом деле он является обычным (Аксаков, 1855, с. 17).¹⁷

Необходимо подчеркнуть один пункт, делает ли А. Вежбицка постоянно ссылку на философские языки, о которых мечтали теоретики *Универсальной Характеристики* в XVII-XVIII веках, перед тем как признать невозможным выражение ложной или нелогичной идеи (в особенности, интерпретируется Лейбниц), она придает своему семантическому языку совершенно отличительную цель, где понятие *истины* исключено. Вместо того, чтобы создавать язык для адекватного общения на нем, она ищет язык, чтобы выделить внедренный в самих языках смысл. В самом деле, невозможно всегда иметь несоответствие по отношению к словам, если его там уже нет. В теории, где невозможно узнать, что следует знать, неизбежен риск топтаться на одном месте.

Независимый синтаксис не может передать все значения, и он не пытается это делать. Он не передает и число всех дистрибуций, потому что дистрибутивные случаи являются зависимыми от значения. Семантический подход к синтаксису позволяет нам находить решение двух проблем одновременно: он позволяет нам передавать дистрибутивные различия; он передает частные условия смысла закрытых и бездоказательных правил и исключения к этим правилам закрытые и бездоказательные, и наконец, он позволяет увидеть, как синтаксис создает смысл (Wierzbicka, 1998, с. 7).

Пример, проясняющий практическое применение этого принципа – это пример придаточных дополнительных предложений в английском и чешском языках.

Например, можно сказать

- (a1) Mary started TO work
- (a2) Mary started working

но только

- (b1) Mary finished typing the letters

и неправильно

- (b2) *Mary finished TO type the letters.

¹⁷ Положением правила и исключения у Аксакова, лингвиста, гегельянца, ср. Sério, 2003.

Для А. Вежбицкой, выбор между примерами (a1) и (a2) объясняется ситуацией, в которой есть возможность *контроля* над действием, отсутствующий в примере (b): это никому не принадлежащая семантическая структура (так сказать «замысел значения»), который определяет синтаксические возможности.

Так же, она полностью отвергает идею, что выбор между дополнением и инфинитивом может иметь наименьшую связь с формальной ситуацией как соотношение подлежащих, как это объясняется в учебниках по языку.

3.1.3. Каждый язык это Большой Текст

Следствие обобщающей теории А. Вежбицкой заключается в том, что язык, речь, дискурс являются равнообъемными. Так как существует основная эквивалентность между тем, что говорится и то, что можно сказать в языке, между потенциалом и численностью, любой язык это гигантский текст, который сводится к своему «семантическому миру». Все что известно под Текстом иллюстрируется в нескольких примерах, взятых у предпочтительных для нее авторов русской литературы, главным образом у двух поэтесс: Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, которые считаются представительницами русского лингвистического видения мира. Имеется характерный пример *типа* мысли: (имплицитно) принятый случай, что тип – это матрица всех возможных формирований внутри языка, достаточно взять любой пример, который дает достаточную иллюстрацию для первоначального тезиса. В этом действующем дискурсе одновременно влиятельными доводами (цитатами философов и писателей) и прибегая к интуитивной очевидности, не предлагается никакой контрпример, никакая процедура обнаружения не предусмотрена. Речь идет о мысли в высшей степени эссенциалистской, в полном противоречии с предубеждением эмпиризма проверки «кандидатов» на роль универсального семантического атома.

Как сказать что-нибудь новое, когда всё уже сказано, когда целостность смысла уже представлена в лексике и грамматике? Ничего больше не остается, как повториться Большой Текст – совокупность всех возможных текстов, в которых язык единственный штамп, устраняющий идею, что формирование значения может быть действием дискурсивных *практик*. Язык – это фильтр и энциклопедия, он, как у философов Романтизма, является совокупностью знаний о людях.

Помимо альтернативы между *тезисом* и *физисом*, смысл у А. Вежбицкой не обоснован ни естественностью, ни согласованностью. Он является внутренним одновременно в языке вообще и в каждом языке в частности.

Одно примечание должно быть сделано по поводу понятия «естественность»: универсальный семантический метаязык, может ли он быть

естественным? Фактически, несмотря на очевидность, произносимые высказывания в семантическом метаязыке не являются высказываниями в естественном языке, потому что они не могут более противопоставляться и взаимозаменяться с другими высказываниями. Язык, благодаря им, освобожден от своих двусмысленностей, все полностью эксплицитно, новизна всегда определена данными в начале элементами и правилами, которые их составляют. Семантический метаязык не является «естественным», потому что он выражает все имплицитное, он отбирает из двусмысленного.¹⁸ Он является гигиеной мысли.

Мир А. Вежбицкой, лишенный всякого диалогизма, всякого значения социального взаимодействия, это мир застывший и замороженный, закрытый перечень культурных отображений, «лингвоспецифических терминов-ключей», мир, где смысл пленник. Там нет больше монологизма, потому что это язык, который говорит за нас. Есть только частное независимое означающее по отношению к означаемому, больше нет места для игры слов, поэзии, метафоры, ляпсуса или бессознательного. Больше нет подлежащего, потому что нет больше высказывания, больше нет места для личной ответственности носителя языка за свое высказывание, нет больше описания сюжета в истории, нет конфликта, нет разногласия.

Благодаря химере непосредственно значащего слова, А. Вежбицка старается занять господствующее положение, единственная способная вылечивать нарциссическую рану, которая всегда есть в языке, что-то, что ускользает от нас. Для нее любой закоулочек языка не должен быть недоступным; все должно быть контролируемым, переводимым из имплицитного в эксплицитное, из запутанного в понятное, в этом семантическом метаязыке, который судит все на свой аршин, который мог бы стать Нагорной проповедью¹⁹ или языком грубой политической пропаганды польской Коммунистической партии. Это старая надежда восстановить уверенное основание истинного смысла без случайностей узуса и множества языков, устранить недосказанное и невыразимое, является противоположностью основного качества отсутствия целостности, несовпадения языка самому себе то, что мы находим у А. Кюльоли и Ж. Лакана: «метаязыка не существует»...

3.2. Психология народов

У А. Вежбицкой не найти причинную гипотезу похожую на теорию климата: единственная действительность – это язык. Язык не допускает ничего кроме самопознания. Но иногда он является ключом толкования для того, чтобы понимать и интерпретировать общие характеристики,

¹⁸ Ср. по этому вопросу, Borel, 1975, с. 10.

¹⁹ Wierzbicka, 2001.

или усилить самые обычные стереотипы психологии людей, которые менее всего поддаются проверке.

Если, как говорят все неогумбольдтианцы начиная с 30-х годов XX века, язык народа – это его мысли, а его мысль – это его язык, в таком случае мы очень быстро попадаем в известную апорию. Любое «лингвистическое сообщество» заключено в картине мира. «Картина мира» – это исчисляемая, закрытая, обособленная реальность.

Каждое языковое сообщество живет во всеобъемлющей лингвистической автаркии, без контакта с другими, без заимствования, без воздействия. Эта мысль совершенно глубоко неупорядоченная является эссенциалистской мыслью, мыслью *типа*, иначе говоря, мысль платоновская, где смысл не имеет истории. Смысл наслаивается в коллективной психологии, но не в мире.

В этом иренистском представлении о языковом сообществе, А. Вежбицка постоянно разрабатывает антропологию, которая состоит в том, что вся социология отвергнута в пользу унанимистской этнографии. В противоположность работам М. Пешо и П. Бурдые, она никогда не колеблется какими общественными и идеологическими способами можно прийти к согласию в значении слов. У нее, никогда нет спорных моментов по поводу значений слов, никогда взаимодействия, никогда общественного произведения значения: значение *есть*, и у нее есть ключ. Не говорится, как значения появляются в словах, но они там есть и остаются там, застывшие в вечности. Это *бесплотность*, которая создает то, что Вежбицка, не подозревая, называет *людьми*, прежде всего, являются *агенсами*, вовлеченными в соотношение силы системы символов (ср. П. Бурдые).

Образ говорящего коллектива очень прост: достаточно говорить на одном и том же языке, чтобы понимать друг друга. Этот постулат не опирается ни на какие доказательства, простая логическая ошибка, он основывается на обеспечении очевидности. Предположение непосредственного понимания влечет за собой то, что никогда не было бы недоразумений, непонимания в сообществе, точно описанного в связи с его единством в «образе мира». Здесь говорится о сильном редукционизме в человеческой группе (например, «русские», «американцы») в одном говорящем сообществе, устойчивом и однородном, без какого-либо конфликта по поводу значений слов.

Унанимистское предположение являющееся причиной того, что общество видится как неразделенная общность, не описываемое только как при помощи своего единственного понимания грамматической и лексической семантики, и без какого-либо деления на значения слов. Там можно узнать очень древнюю систему ценностей немецкого романтизма, широко представленном в доминантной консервативной мысли в советской и постсоветской России, а именно, *Gemeinschaft* (единство

мысли и языка) более истинно, более реально, более подлинно, чем *Gesellschaft* (общество, чисто механическое объединение). Поэтому существует путаница между антропологией и этнографией, полное затуманивание социологического значения (значимости).

Полное усвоение «культуры» в языке (и в литературе) держится на унитаристском предположении никогда не выражаемым ясно: *все люди, говорящие на одном и том же языке, мыслят одинаково*. Можно было рассчитывать на то, что любая настолько сильная гипотеза была бы проверена начиная с гипотетико-дедуктивного метода, направленного на то, чтобы проверить гипотезу в ходе исследования вместо того, чтобы создавать первоначальную аксиому, которая, в свою очередь, отбирает результаты. Риск заключается в том, что циркулярное умозаключение, в котором не найти в конце того, что было положено в начале.

В свою очередь это следствие влечет за собой другие. Так, предполагается, что все франкоязычные мыслят одинаково, имеют тот же «образ наивной языковой картины мира», зависят от «культурной традиции», которая «сформирована в 'обыденном' сознании отдельного человеческого сообщества», проявляющих «национальный характер» языка. Предполагается воспроизведение «языковой картины мира нации» или «культурной традиции», не говоря о том, что французские швейцарцы составляют часть той же «нации», что и французы или валлонские бельгийцы, не говоря о франкоязычных канадцах (однако говорящие на диалекте корсиканцы имеют ли они в таком случае ту же картину мира, что и «французы»), имеют тот же «менталитет» и этим отличаются от немецким швейцарцев. А «менталитет» упомянутый последним, меняется ли он, когда носители языка переходят на верхненемецкий диалект и наоборот?

Другие трудности появляются с проблемой изобретательности. Если целостность значения предшествует в лексике и грамматике, так сказать в языковых *формах*, как это можно выразить, чтобы не оказаться в числе новичков? Как научный или философский труд возможен, обреченный на повторение значения уже навязанного языком?

Путаница между *понятиями* и *концептами* относится к тому же плану слов повседневной жизни и концептуальных средств философии. Если русские и французские «концепты» по разному показывают семантическое пространство, как объяснить, что философские школы могут противиться всему, говоря на одном и том же языке? Борьба между материализмом и идеализмом в истории русской философии беспощадна, но она происходит на *одном и том же языке*. Если бы работа концептов была бы только определена рабочим языком, возможно, не было бы философии.

3.3. Востоковедческий миф: антропологическая полярность

Часто в рамках риторики научности текста благодаря специальному инструментарию и сложной критике, в очевидном тексте выявляется другой текст, скрытый, гораздо более ценный, по причине того, что он раскрывает структуру научного мифа. Этот миф у А. Вежбицкой появляется в форме вечной оппозиции между Востоком и Западом, под маской другого, еще более основательно скрытого в архетипических представлениях, который не безынтересно выявить.

Повсюду благодаря научному инструментарию, обнажается мифическое основание. Фантазматическая структура, которую П. Бурдьё выявляет в «теории климата» Монтестье (северные люди активны и энергичны, южные люди пассивны и «изнежены») ²⁰, А. Вежбицка переносит это на Восток / Запад. Направление основных точек повернулось на 90°, но термины противопоставления идентичны: мир состоит из соотношения мужское / женское, которое проявляется в оппозиции «агентивность» и «пациентивность». Вежбицка очарована понятием «контроль», метатермином, который упоминается довольно регулярно в большей части ее анализов, ассоциируемый с агентивностью, и конечно бесконтрольностью (который называет себя в естественном семантическом метаязыке, «not because I want it»).

«Данные синтаксической типологии показывают, что существует *два подхода к жизни*, которые играют разные роли в разных языках: точка зрения на 'то, что я делаю', так сказать *агентивная направленность*, и другая 'то, что со мной происходит', часто это *пациентивная направленность*, или пассивная, связанная с объектом воздействия. Агентивный подход – это особый каузативный случай (ср. Балли, 1920), и выявляет ярко выраженное внимание по отношению к действию или акту желания ('я делаю', 'я хочу'). В пациентивной направленности, которая, в свою очередь, является особым случаем феноменологической направленности, акцент переносится на бессилие и пациентивность ('я не могу ничего сделать', 'со мной происходят всякого рода вещи').

Агентивность связана обычно с номинативными и номинативоподобными конструкциями, а бессилие и пациентивность – с дативными и дативоподобными конструкциями. Агентивность и пациентивность находятся в неравных ситуациях: действия представлены во всех языках, однако не имеется в виду чувство бессилия. Однако, языки сильно отличаются в связи с ролью, которую играет бессилие. Определенные языки им пренебрегают, и берут агентивный тип предложения в качестве модели для всех или большинства предложений, имеющих отношение к людям: номинативный тип, который базируется на агентивной модели, и дативный тип, в котором представлены люди как лица, которые *не контролируют события* ²¹ (Wierzbicka, 1992 [1996, с. 55-56]).

²⁰ Bourdieu, 2001, с. 335.

²¹ Выделено автором, П.С.

В такой же манере Ш. Балли противопоставляет французский язык немецкому языку, как язык разума и язык эмоциональности²², А. Вежбицка обнаружила, более удачная пара языков способная представить идеальную пару: английский и русский, которая очень быстро оказывается перемещенной в пару двух народов: «американцы» и «русские».

Оттого что в английском говорят *he succeeded* и в русском говорят *ему это удалось*, А. Вежбицка заключает, что

Английская номинативная конструкция сообщает информацию успеха или неудачи действия, совершаемого человеком, а дативная конструкция в русском языке дает полностью проявится личности в определенном действии, которое имеет конечным результатом: что бы ни было бы то, что случается, хорошее или плохое, это не является результатом наших истинных действий (Wierzbicka, 1992 [1996, с. 72])

и она добавляет, что этот тип примеров позволяет подвести «хороший итог описанию разницы между этнофилософиями, выраженными в этих языках» (*там же*, с.73), потому что русская грамматика изобилует конструкциями, в которых реальный мир представлен как «противостоящий желанием и стремлениям человека, или не особенно независимый от этих желаний и стремлений, тогда как английский этого почти не представляет» (*там же*). Это именно дативные конструкции в русском (в безличных предложениях) раскрывают «особую направленность русского семантического мира и русской культуры» (*там же*, с. 75).

Объяснение значения показывает, что предложения такого типа являются неагентивными: загадочные и непонятные события проявляются помимо нас, не потому что кто-то этого хочет, и события, которые проявляются в нас и не зависят от нашего желания. В агентивности, напротив, нет ничего таинственного: если кто-то что-то делает и по этой причине проявляются события, все ясно. Загадочные и непонятные – это события, которые происходят в действии загадочных сил природы. В русском предложения по агентивной модели имеют более ограниченную сферу применения, чем в других европейских языках (в особенности английском). Язык отражает и способствует тенденции, доминирующей в русской культуре, принимать во внимание мир как совокупность неконтролируемых и непонятных событий. Эти события чаще плохие чем хорошие (*там же*, с. 76).

Необходимо ли давать критические замечания такой проницательности, чтобы завершить изучение старых шаблонов по активным и пассивным принципам о мире? Идея о том, что неагентивные конструкции, или эргативные, соответствуют «пассивной» мысли, можно увидеть у К. Уленбека (1866-1951)²³, который объясняет, что люди, говорящие на языках эргативной конструкции, думают, что человек – пассивное ору-

²² Bally, 1994, с. 359.

²³ Ср. Sapir, 1917.

дие в руках божественной силы, идея, которая соответствует религиозному фатализму людей «отсталых» или сознанию всеобщего бессилия человека перед тотемом, или природой (народы Кавказа, индейцы Северной Америки и т.д.), в отличие от людей, говорящих на индоевропейских языках, «активная» конструкция которых зависит от факта, что подлежащее всегда употребляется в номинативе.

Закончится ли современная эпоха дискурса о «славянской душе»? «Новые русские», которые катаются на лыжах в Куршевеле, или олигархи, которые инвестируют в нефть, являются ли они пассивными или «пациентивными» перед жизнью? Если в разговорах на террасе кафе мы узнаем, что все шотландцы скупы или корсиканцы ленивы, прекратится ли эпоха, в которой лингвистика настойчиво побуждается служить поруководительством фантазмам, которые являются орудием психоанализа?

Заключение

Как и в XVI веке, ностальгия по единству порождает мечту восстановления уникального языка (здесь универсальный естественный семантический метаязык)²⁴. Но как в веке романтизма, очарование различием (более чем разнообразие) языков заставило создать науку частности, определяемого, лингвистически принужденную. Тридцать лет работы А. Вежбицкой позволяет нам пройти путь нескольких веков истории лингвистических фантазмов, в одном труде, эклектическом и разорванном. Оксюморон, противоречие, эклектицизм или недоразумение, этот труд ставит перед нами вопросы своим пылким отказом зияющего разлома, который живет в языке, благодаря своим поискам господства и всеобщности. Возможно, в этом чарующем отношении есть гуманитарные науки, которые нам выявляют больше человеческого благодаря их стремлениям, чем своим научным дискурсом.

Библиография

Bally Ch. Linguistique générale et linguistique française. 2-e éd., – Berne: Francke, 1944.

Bezlepkin N.I. Filosofija jazyka v Rossii. – Sankt-Peterburg: Izd. S-P-go univ., 2001. [Безлепкин Н.И. Философия языка в России. – СПб.: Изд. СПбГУ, 2001]

Borel M-J. Schématisation discursive et enunciation // Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques de Neuchâtel. 1975. N°23.

Bourdieu P. La rhétorique de la scientificité // P. Bourdieu. Langage et pouvoir symbolique. – Paris: Seuil, 2001. P. 331-342.

Certeau de M. Le parler angélique. Figures pour une politique de la langue // S. Auroux (éd.). La linguistique fantastique. – Paris: Denoël, 1985.

Couturat L., Leau L. Histoire de la langue universelle. – Paris: Hachette, 1903.

Dubois C-G. Mythe et langage au XVIème siècle. – Bordeaux: Ducros, 1970.

²⁴ Ср. Dubois, 1970.

Jakobson R. Zum Struktur der russischen Verbums // *Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis...*, 1932. P. 74-84 (trad. russe: O structure russkogo glagola // R. Jakobson. *Izbrannye raboty*. – Moskva: Progress, 1985).

Katz J.J. & Fodor J.A. *The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language*. – Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall.

Sapir E. Review of C.C. Uhlenbeck: *Het passive karakter van het verbum transitivum of van het verbum actionis in talen van Noordamerika* // *International Journal of American Linguistics* 1. 1917. P. 82-86.

Seriot P. Une identité déchirée: K.S. Aksakov, linguiste slavophile ou hégélien? // P. Sériot (éd.). *Contributions suisses au XIII^e congrès mondial des slavistes à Ljubljana*. – Bern: Peter Lang, 2003. P. 269-292.

Weisgerber L. *Die volkhaften Kräfte der Muttersprache* // *Beiträge zum neuen Deutschunterricht*. – Herausgegeben von Ministerialrat Dr. Huhnhäuser, Frankfurt am Main: Diesterweg, 1939. N°1.

Weisgerber L. *Vom Weltbild der deutschen Sprache*. – Düsseldorf: Schwann, 1950.

Wierzbicka A. *Semantic Primitives*. – Frankfurt a/Main: Athenaeum, 1972; trad. fr: *Les primitifs sémantiques*. – Paris: Larousse, 1993.

Wierzbicka A. *Lingua Mentalis: the Semantics of Natural Language*. – Sydney – New-York: Academic Press, 1980.

Wierzbicka A. *The Semantics of Grammar*. – Amsterdam – Philadelphia: J. Benjamins, 1988.

Wierzbicka A. Dusha (=Soul), Toska (=Yearning), Sud'ba (=Fate): Three key concepts in Russian language and Russian culture // Zygmunt S. (ed.). *Metody formalne w opisie jezykow slowianskich*. – Bialystok: Bialystok University Press, 1990. P. 13-36.

Wierzbicka A. *Cross-cultural Pragmatics: the Semantics of Human Interaction*. – Berlin – New-York: De Gruyter. 1991.

Wierzbicka A. *The Russian Language* // A. Wierzbicka. *Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations*. – New-York: Oxford University Press, 1992. Chap. 12. P. 395-441 (Вежбицка А. *Русский язык* // Вежбицка А. *Язык, Культура, Познание*. – М.: Русские словари, 1996).

Wierzbicka A. *Understanding Cultures through their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese*. – New-York: Oxford University Press, 1997.

Wierzbicka A. *What Did Jesus Mean? Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Concepts*. – Oxford: Oxford University Press, 2001.

Wittgenstein L. *Tractatus logico-philosophicus*. – 1921 (trad. fr.: Paris: Gallimard, 1972).

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Подписано в печать 13.10.2009. Формат 60x84/16.
Бумага для множительных аппаратов. Печать на ризографе.
Усл. печ. л. – 18,25. Тираж 500 экз. Заказ 2921.
Оригинал макет отпечатан в отделе множительной техники
Уральского государственного педагогического университета
620017 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26
E-mail: uspu@uspu.ru